ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

16+

2015

1

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР

“ПЕРЕД ЛИЦОМ ОКЕАНА”

СОВРЕМЕННАЯ КУБИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основан в 1955 году

Этот номер
редакция журнала
посвящает

Борису Дубину

Принято считать, что Куба близка россиянину и по ряду исторических причин россиянин испытывает к Кубе особые чувства, более теплые, чем к Латинской Америке в целом.

В течение трех десятилетий (60-е, 70-е, 80-е) Куба и СССР находились в близких отношениях: это касалось политики, экономики, общественной жизни, образования, культуры, быта и сферы человеческих привязанностей и ценностей. При этом та кубинская литература, которая доходила до советского читателя, составляла лишь часть — сравнительно небольшую — общего поля национальной словесности. Заявив в речи 1961 года "Слова к интеллектуалам": "В Революции — все; вне Революции — ничего", Фидель Кастро разом "умножил на ноль" не только обширную эмигрантскую литературу, но и ту, что продолжала создаваться внутри страны неангажированными авторами. В СССР переводились — почти исключительно — кубинские тексты, попадавшие в зону "в Революции".

К концу 80 — началу 90-х отношения Кубы и СССР приняли иной характер. Кубинские власти (в отличие от народа) крайне настороженно отнеслись к новым русизмам *perestroika* и *glasnost* и объявили о начале периода "исправления ошибок и отрицательных тенденций", оберегая островной социализм от неоднозначных веяний с братского Востока. А чуть позже распад Советского Союза и вообще социалистического блока вверг Кубу в тяжелейший кризис, обозначенный Фиделем Кастро в 1990 году как "Особый период в мирное время" и отмеченный резким падением и без того невысокого уровня жизни, ростом преступности и новой волной массовой нелегальной эмиграции. По эту сторону океана положение дел также не располагало к расцвету культурных связей. Куба для нас "умолкла". На излете 80-х успел появиться составленный Борисом Дубиным и Синтио Витьером том Хосе Лесамы Лимы, в 90-е доносились отголоски испанского "кубинского бума" — романы Зое Вальдес, — но общая картина стала еще менее полной, чем в советскую эпоху. Показательно, что в журнале "Иностранная литература" с 1988го по 2002 год не было опубликовано ни одного кубинского произведения.

Тем временем многоликая кубинская литература бурно развивается как на острове, так и за его пределами, осмысляя последние полвека истории страны — несостоявшуюся утопию, непревращение кубинца в Нового Человека, тупики "интернациональных миссий", выживание 90-х, — время от времени впадая в "Остальгию" (немецкий термин, обозначающий ностальгию по социалистическому — "восточному" — прошлому, который можно экстраполировать на кубинскую действительность), перекраивая национальный литературный канон, иногда заговаривая по-английски, преклоняясь перед гениями, забытыми официальной культурной политикой, или не преклоняясь ни перед кем, задаваясь вопросами. В постсоветском литературном процессе Кубы успели обозначиться поколения, течения (например, так называемый грязный реализм), прагматические позиции авторов, ориентирующихся на внутренний или международный издательский мир, и все это движение крайне интересно и в какой-то мере поучительно для постсоветского читателя, в том числе и русскоязычного.

Разумеется, невозможно представить в одной журнальной книжке все разнообразие новой кубинской литературы. Впрочем, если чему-то и учит кубинский опыт постреволюционной эпохи, так это тому, что пространство (художественное в том числе) бесконечно глубоко в своей ог-

раниченности. Одного столика в кафе-мороженом достаточно для свершения судеб, а путешествие из центра в пригород можно откладывать всю жизнь — и прожить ее с шиком. Персонажи романа и почти всех рассказов, составляющих номер, живут в Гаване по соседству друг с другом, но в совершенно разных мирах — это заметно даже по тому, как в каждом произведении решается проблема борьбы с тотальным дефицитом. С другой стороны, особенность постреволюционного кубинского мировидения — ощущение себя частью бывшей "империи": этой проблематики касается, например, книга Мигеля Анхеля Фраги о СПИДе на Кубе: командировки интернациональных миссий помощи борющимся народам Африки имели и такие последствия, как описанный в документальном расследовании санаторий для ВИЧ-инфицированных.

Публикуемый сегодня номер "Иностранной литературы" состоит, в основном, из произведений, увидевших свет в 90 и 2000-е годы, но также включает тексты безусловных классиков XX века, некоторые из которых оказались вне официального первого ряда кубинской литературы из-за политической позиции или жизненных убеждений, в частности, нежелания участвовать в Революции (если, вслед за кубинцами, мы будем понимать под Революцией не процесс смены власти, а всю действительность острова с 1959 года). Эмигранты — поэт Гастон Бакеро, заново открытый молодым поколением кубинских литературоведов уже в начале нового столетия; непревзойденная исследовательница афрокубинской культуры Лидиа Кабрера; языкотворец, один из важнейших авторов "нового" латиноамериканского романа Гильермо Кабрера Инфанте — или "внутренние эмигранты" — подвергавшийся преследованиям культовый писатель Вирхилио Пиньера; главный теоретик кубинской идентичности Фернандо Ортис; признанная всем испаноязычным миром поэтесса Дульсе Мария Лойнас — эти авторы, составляющие канон современной кубинской литературы, находясь "вне Революции", были неизвестны или малоизвестны у нас во времена, когда ангажированных кубинцев переводили много. На Кубе не так давно начали "вспоминать" их и возвращать в официальную сокровищницу национальной культуры, но, даже если бы этого не произошло, необходимость появления или умножения их текстов на русском языке не пропала бы.

Получившийся в результате смешения более знакомых и менее знакомых читателю имен номер вряд ли сравнится с архетипическим креольским пиром из романа Хосе Лесамы Лимы "Рай" (рассказ Сенеля Паса). Зато принцип объединения многих разнородных элементов в целое отдаленно напоминает традиционный кубинский суп ахьяко, состоящий из индейских, африканских, испанских и китайских ингредиентов. В статье "Человеческие факторы кубинского начала" антрополог Фернандо Ортис использует образ ахьяко для описания национальной культуры: "Густое цивилизационное варево, кипящее на карибском огне". Возможно, мы не улучшим вкуса этой похлебки, но, по крайней мере, ей совершенно точно трудно навредить.

Дарья Синицына, *составитель номера*

[1]
2015

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

“Перед лицом океана”

Современная кубинская литература

5 Элисео Альберто *Эстер где-то там, или Роман Лино и Ларри По.* Роман. Перевод Дарьи Синицыной

“В нашем подзвездном раю”

125 Лайди Фернандес де Хуан *С чт по вскр.* Перевод Марии Непомнящей

133 Педро Хуан Гутьеррес *Из книги “Гаванская грязная трилогия”.* Переводы Якова Подольного, Александра Лебедева

144 Сенель Пас *Волк, лес и новый человек.* Перевод Дарьи Синицыной

170 Анхель Сантиэстебан *Волки в ночи.* Перевод Светланы Силаковой

181 Давид Митрани *Возврата нет, Джонни.* Перевод Светланы Силаковой

195 Мария Элена Льяна *Пятьсот лет выдержки.* Перевод Светланы Силаковой

“На подвижной лестнице Ламарка / я займу последнюю ступень”

207 Наталья Ванханен *На большой глубине*

209 Гастон Бакеро Переводы Ирины Черновой, Натальи Ванханен. Вступление Ирины Черновой

216 Дульсе Мария Лойнас Перевод и вступление Натальи Ванханен

221 Синтио Витьер *Из “Записок Хасинто Финале”.* Переводы Бориса Дубина, Натальи Ванханен. Вступление Натальи Ванханен

229 Рейна Мария Родригес Перевод и вступление Натальи Ванханен

“Плавать посуху”
Из классики XX века

233 Вирхилио Пиньера *Рассказы.* Перевод Александра Казачкова

Школа жизни

241 Мигель Анхель Фрага *В уголке у самого неба.* Перевод Дарьи Синицыной

Похвала городу

253 Гильермо Кабрера Инфанте *Из “Книги городов”.* Перевод Бориса Дубина, Дарьи Синицыной

“Куба! Здесь одно сплошное колдовство!”

259 Лидия Кабрера *Лес.* Перевод Ольги Светлаковой

267 Фернандо Ортис *Кубинский контрапункт табака и сахара.* Перевод Юрия Гирина

Библиография

274 *Кубинская литература на страницах “ИЛ”*

Авторы номера

279

© “Иностранная литература”, 2015

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Ю. П. Гусев
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
Г. М. Кружков
А. В. Михеев
М. Л. Рудницкий
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

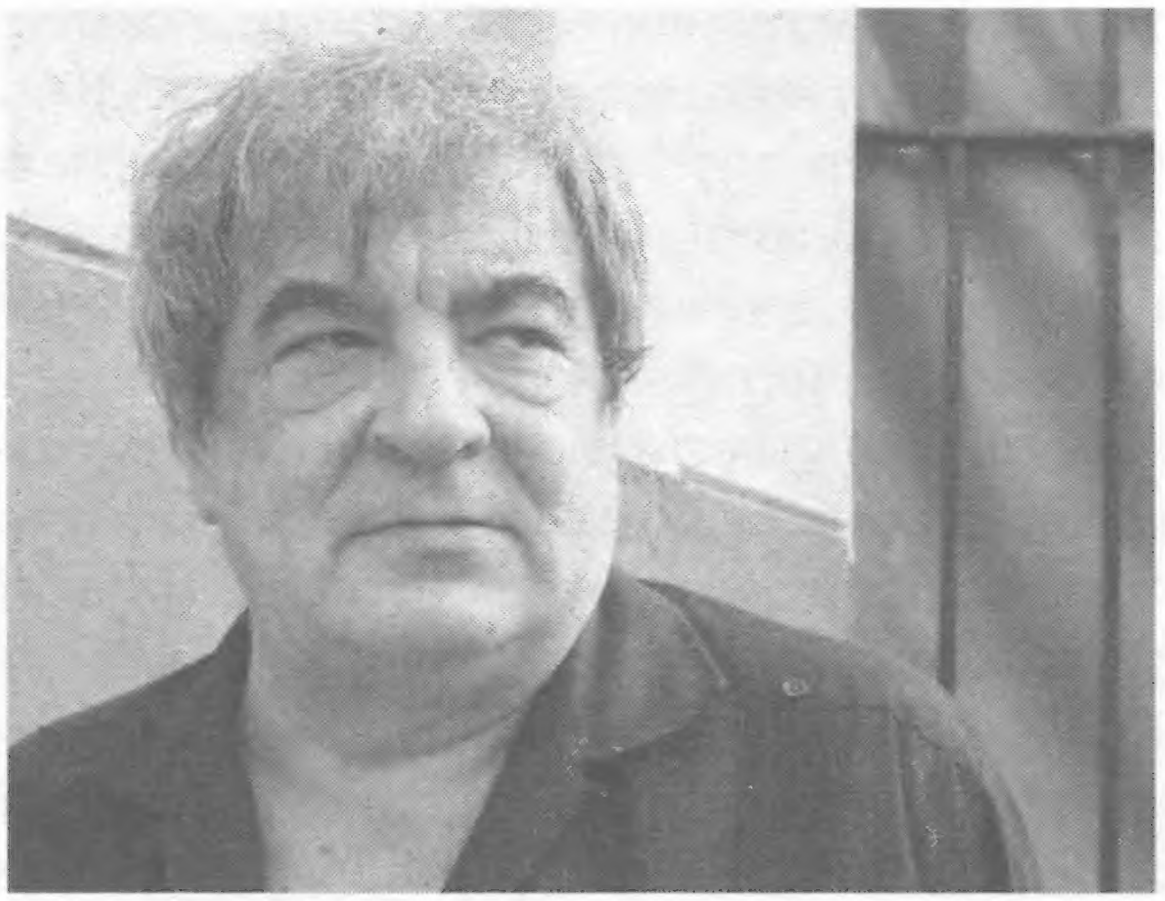
Ван Мэн
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Милан Кундера
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Е. И. Леенсон
М. А. Липко
М. С. Соколова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Элисео Альберто



Эстер где-то там, или Роман Лино и Ларри По

Роман

Перевод Дарьи Синицыной

Моим старым друзьям:
Прекрасной Эстер, Рапи, Фефе, Исмаэлю и Марии Хосе

Ты смерть впустил беспечно?
Не это ли — безумье:
прильнуть к теням былого
и так уснуть навечно?

Элисео Диего

Акт первый

...и сердце, словно старая опустелая гостиная.

Вирхилио Пиньера

ЛИНО Каталá так любил Маруху Санчес, что ему нравилось смотреть, даже как она стареет. Впервые он заявил об этом 23 ноября 1953 года в номере отеля “Севилья”, где им предстояло провести первую брачную ночь, и выглядело

© Eliseo Alberto, 2010
© Дарья Синицына. Перевод, 2015

это признание, по меньшей мере, преждевременным, поскольку обоим едва сровнялось по двадцать три. Впоследствии он повторял его за каждым рождественским ужином, в каждом поздравлении с днем рождения, на каждую годовщину свадьбы. И лишь в достопамятный вечер 1978 года, когда они отмечали двадцать пять лет совместной жизни в той самой квартире, где жили с самого начала, она призналась, что, наконец-то, это объяснение в любви начинает обретать смысл: "Опять завел свою пластинку. Радуйся: сегодня я чувствую себя древней старухой". Затем Маруха продолжила расставлять пластинки в шкафу, но теперь уже с решимостью человека, взявшегося за совершенно неотложное дело. Она выглядела совсем маленькой, сидя на полу, на бархатной подушке, расставив ноги, ссутулившись и всем своим видом выражая безразличие, но он, зная ее гордость, вернее прочел позу: это было отвращение.

Лино двинулся к жене, стараясь ступать на линии между мозаичными плитками. Ему нужно было за что-то держаться — хотя бы слабенько, хотя бы за прямую на поверхности пола. Упрек Марухи осел у него на лице, как паутина, всегда подстерегающая, когда мы на ощупь бредем по темному подвалу; на миг мы в отчаянии понимаем, что нам никак, никогда не удастся сорвать ее со щек. От скулы до скулы, от линии роста волос до оврага подбородка пиявка страха подчиняет тебя своей прихоти и не дает кинуться обратно к входу — или скорее к выходу. Неизбежно нелепое положение. Лино остановился в пяди от жены и благостно уставился на ее костлявые предплечья, заскорузлые локти, два седых завитка, упрятанные за левое ухо; учуял за запахом ацетона и лака для ногтей этот прогорклый, как от старого медальона, душок, который источают женщины, уставшие быть уставшими, смирившиеся, нелюбимые. Не задумываясь о возможных последствиях, он отважился ласково потрепать ее по затылку — это имело успех, когда они еще только встречались и ходили в кинотеатр "Негрете" на премьеру недели, а со временем превратилось в тайный сигнал, подаваемый обоими, если требовалось попросить прощения или простить другого.

— Прости меня, — сказал он.

Маруха привела в движение шейные позвонки в знак согласия, чтобы не пришлось сварливо отвечать: наверняка раскается, как только встанет на ноги. Она ощущала и свою вину за то, сколько усталости в них накопилось. Неохотно прошла в комнату и достала из шкафа розовое платье с круглым вырезом, чтобы красивее смотрелось пластмассовое жемчужное ожерелье, которое Лино только что преподнес ей в холщовом мешочке, замотанном проволокой; он выбрал синюю гуайяберу с глубокими карманами, отлично подходящими для подарка

супруги: двух чешских ручек — шариковой и перьевой. Маруха наводила красоту в ванной. Лино ждал ее в гостиной и что-то смотрел в словаре. Она легонько ущипнула его за плечо.

— У меня голова побаливает. Пойдем скорее, прочь из этой мышеловки.

— А куда мы идем? — спросил Лино, ступив на тротуар.

Тротуар. Улица. Угол. Вечер. В Гаване в семидесятые годы особо нечем было заняться, разве что гулять, исхаживать ее. Так они и поступили. Имелось четыре возможных направления: посиделки в старом кафе "Буэнос-Айрес", Рампа, Малекон и бульвар Прадо — единственные стороны света на сложном гаванском компасе, влекущие их. Они выбрали последнее. В эту памятную дату они обычно совершали бросок по местам своей любви, ноябрь за ноябрем подвергаясь рискованной церемонии, хотя прежний опыт разочарований учил, что паломничество к таким святилищам порой заводит в вымощенный горечью переулок. Они прошли по улице Сан-Ласаро, взявшись за руки, и поднялись на охраняемый львами бульвар, ни словом не упрекнув друг друга. "Закрыто на ремонт" — было написано на маркизе кинотеатра "Негрете". Лино и Маруха присели на скамейку, как на насест, возвышаясь над парапетом бульвара. Стены отеля "Севилья" блестели от морской соли. Из старого дворца напротив, поделенного на коммунальные клетушки, доносилось пение Мораймы Секады. Голос Мавританки неровно бил им в нос.

— Я тебе никогда не говорила, Лино, но я мечтала петь в баре. В маленьком, элегантном баре. Вот я стою, облокотившись на рояль, и в руках у меня рюмка мятного ликера. Лакированный рояль мерцает огнями. Я набросила шаль, потому что кондиционеры включены на полную катушку. Болеро. Я многого не прошу, Лино: маленькое болеро. *Прости меня, о совесть, подруга дорогая...*

— Любимая, ты обалденно поешь.

Маруха скрестила руки на затылке, запорхала локтями.

— Слышишь? Это ведь она? Морайма Секада, Мавританка! Слушай, Лино, слушай: вот ведь дает жару! Аж жжет!

Маруха закрыла глаза. Повела головой, как маятником, в такт музыке — "нет".

— Что нет, Маруха?

— Я не пою.

— Еще как поешь... Я каждое утро слышу из комнаты.

— Да нет же. Не придуривайся. Петь в баре — это совсем другое дело.

— Как это?

— Как раздеться догола на людях, наверно.

Вдалеке волны налетали на парапет Малекона громадными мимолетными веерами.

— Похолодало, что ли? Мне холодно. Обними меня. Нужно было шаль взять. Голова никак не проходит.

Лино приобнял ее. Голос Мавританки умолк, затерялся в грохоте моря. Маруха дунула в ночной воздух и запела не слишком переливчато: *"Прости, прости мне, совесть. Ты верно мне шептала, но я в минуту страсти была у чувств во власти; тебе я не внимала... Нет, тебе я не внимала... Нет, нет, нет, нет, тебе я не внимала..."* И затихла.

— Маруха, ты была счастлива со мной?

Она ответила ему через два часа, сидя на краешке постели.

Маруха Санчес перебирала жемчужное ожерелье, словно четки, словно бы тихонько читая покаянную молитву. Потом убрала его в тумбочку и взбила подушки, надувшиеся под ее руками. Она уже распустила волосы и облачилась в широкий халат с желтыми цветочками, застегивающийся на пуговицы. Халатики Марухи составляли тайный код поведения, принятый обоими: белый, с кружевом на груди говорил: *люби меня, если хочешь*; зеленый — *меня ноги не держат, и все же*, а тот, что с желтыми цветочками, — категорическое *до завтра*, поэтому Лино решил, что двадцать пять лет совместной жизни завершатся тихо-мирно, как часто бывало той фальшивой, скудной на любовь осенью. Он аккуратно развесил на плечиках брюки и гуайяберу. В майке он казался хрупким, жердь жердью, — а без ботинок вообще почти сходил на нет. Он уже собирался натянуть на голову чулок, которым смирял кудрявые волосы, и тут Маруха заговорила, не глядя ему в глаза:

— Ты спрашиваешь, была ли я счастлива с тобой? Некоторым, Лино, в тягость, что жизнь все никак не заканчивается... — Маруха на минуту замолчала и попыталась улыбнуться. Лино увидел кончик улыбки, отразившийся в зеркале комода. — Единственное, чего я всегда боялась, — спать одной. Не надо все так запутывать. Мы столько лет прожили, что пора бы тебе понять: счастье — это миф.

Лино и Маруха укрылись в дружественном молчании. Они дышали в унисон, одинаково глубоко, отчего волнение другого становилось заметнее — хотя волнения, несомненно, имели разную природу: он силился забыть слова Марухи, а Маруха, наоборот, чувствовала облегчение, оттого что смогла высказаться и при этом не оговорить себя. Выдох за выдохом, злость убаюкала их. Около полуночи Лино встал закрыть окно и услышал, как ругаются соседи — Эдуардо и Мойсес, братья. Первый, таксист, сыпал плохо различимыми проклятьями; второй, сту-

дент-медик, в ответ едва привсхлипывал. “Боже праведный, того и гляди поубивают друг друга”, – подумал Лино. И задвинул занавески.

– Бедняга Мойсес, – сказал он.

Той ночью у Марухи был чуткий сон, хотя обычно она спала спокойно и крепко. Она сворачивалась калачиком и вновь разметывалась, не зная, куда деть подушку – под затылок, на грудь или между ног. Бормотала. Лино попробовал укрыть ее простыней, но она ухватила его за плечо и швырнула на себя. И они вступили в неслыханно исступленный поединок, потому что Маруха желала его немедля, галопом, будто полуночный сон, из которого ей все не удавалось выбраться, испустил свой морок в душную зачарованную явь.

– Это ты? – неистово стонала Маруха. – Это ты, зверюга, это ты!

Лино и Маруха, должно быть, поняли, что переживают нечто неповторимое, окончательное: в полном единодушии с содроганиями их тел, раскалившись до предела, воздух в комнате загустел и превратился в пар хлебной печи, так что пот лил с них ручьем; ветер внезапно распахнул окно и тронул их лбы свежим порывом, как раз в миг глубокого взрыва оргазма. Лино повременил с ним, держался минут на восемь-девять дольше обычного, и это была считай что победа. Когда Маруха разлепила веки, все еще сомневаясь, а не было ли произошедшее продолжением ее бреда, она углядела в глазах мужа умиротворенный блеск, объяснимый разве что любовью, такой чистый, прозрачный и ясный, что ей явилось ее собственное лицо в зеркалах водянистых зрачков; она сползла с Лино и быстро поцеловала его, а потом провалилась в забытье, укрощенная яростью схватки. Ее мужчина только что исполнил одну из самых потаенных ее фантазий: любить, не зная, кого любишь.

Ни он, ни она не поняли толком, почему на рассвете им снова послышался голос Мораймы Секады, поющий а капелла: *Прости меня, о совесть, подруга дорогая, упрек я заслужила и голову склонила я, от стыда сгорая...* и не обеспокоились, когда по всей комнате запахло кипяченым молоком, из церкви на улице Инфанты в неурочный час донеслись колокола, а последнее сплетение их тел затопил сине-зеленый свет – тайнописные осколки истины, которую потом будет не опровергнуть: Лино Катала и Маруха Санчес прощались, не обвиняя друг друга в том, что трусливо прожили бок о бок четверть века, прячась друг от друга за ужасом посредственности, и, расставаясь, не таили злобу, потому что сообща выбрали этот горький совместный путь: он – чтобы жить спокойно; она – чтобы умереть в мире.

На следующий день, не очень рано, Лино обнаружил Маруху за кухонным столом; она уронила голову на правую руку и казалась скорее спящей, чем мертвой, сидя перед соковыжималкой, полной грейпфрутового сока. Он слышал, как она с самого утра напевает песню "Синко-Латинос": *Как и раньше, даже больше, я влюблен...* — и решил, что она готовит завтрак. *В моем мире, в целом мире, только ты...* Потом злокозненная тишина проникла в дом, нависла над кварталом. Слышен был лишь бег туч по небу да трепыхание непослушных платьев, танцующих на веревках. В гостиной пахло ацетоном. Маруха Санчес была далеко. Правильнее сказать, на безопасном расстоянии.

Лино сел подле и стал гладить ее руки. Он в своей панике никогда раньше не обращал внимания на эти мягкие девчачьи ногти, всегда выкрашенные в красный цвет, ни на круглые суставы, ни на морщины, прорезавшие плоть пейзажем, который он должен был бы узнать и все же видел будто впервые. Он уделил время каждому пальцу. Пересчитал несколько раз, словно придавая большое значение тому факту, что их десять. На левом указательном сдувался свежий волдырь. На подушечках больших он обнаружил следы старых кухонных порезов, а между первыми фалангами указательного и среднего — легкое никотиновое пятно. Он иногда видел ее курящей на вечеринках у соседей и подозревал, что она курит и в одиночку, тайком. От образа Марухи, затягивающейся сигаретой на заднем дворе, его бросило в дрожь. Как это он не заметил? Такую привычку не больно скроешь. Почему она ему не сказала? Он бы понял. О каких еще обманах молчала? Кто знает! Больше всего его встревожили следы трех крестообразных швов поверх едва заметного шрама на левом запястье.

— Черт, а я где был?!

На плечо покойнице села муха. Лино неожиданно яростно напустился на нее с газетой, жалобно выкрикивая ругательства, будто желал отпугнуть мысль о попытке самоубийства. Муха исчезла в окне. Его грызло беспокойство. "Всякое сомнение — муха", — сказал он себе. Вернулся к Марухе и расправил манжеты ее кофточки. Прикрыл рану. В трудную минуту, когда потолок обрушивается на нас, ангелы или демоны всегда что-нибудь да придумают, чтобы утолить муки теряющих веру: таков закон. Улица стала оживать. Нещадно пекло. Когда включался насос бачка, слышно было, как переливается вода в цистернах на крыше.

По улице прошла сеньора, громогласно оповещая, что в продуктовый завезли пиво, приехал грузовик Народной Власти собирать старье, а в мясной поступила курица для диабетиков на этот месяц, пришли вестовые из военкомата со срочны-

ми повестками, пришли окуривать от комаров, пришли эти, которые делают перепись населения и жилищ, пришли делать прививки от полиомиелита, пришел мороженщик на автобусную остановку у парка на углу улиц О и Инфанты. Все в тот день приходило вовремя. Даже грусть пригвождала вовремя.

Лино прождал час. Два. Отчаялся ждать. Где-то, самым нутром, он надеялся, что уснул он, а не Маруха. Ветерки, доносившие внутрь дома запахи и голоса улицы, убедили его, что, даже если ему снится кошмар, проснуться он все равно не сможет, поскольку всякий мертвец есть неопровержимое доказательство того, что реальность тоже может легко порваться, как папиросная бумага. Лино выбросил кожуру от грейпфрута в помойное ведро; он собирался вымыть соковыжималку, обмести шваброй потолки во всей квартире и начистить серебряную сахарницу, свадебный подарок, который они всегда хранили на удачу, а еще можно закончить с расстановкой в шкафу пластинок, так и рассыпанных по полу, лишь бы отдалить минуту, когда придется сказать близким, что его жена ушла, не попрощавшись ни с кем и с ним тоже.

— Вот же блин, Маруха, — сказал он.

Лино подумал, что надо бы надеть чистую рубашку, ведь рано или поздно потянутся родственники и соседи, и приедет "скорая", и всех придется встречать торжественно, как подобает. В ванной он глянул в зеркало и остался раздосадован увиденным. Умываясь, опять услышал муху, но на сей раз не стал за ней гоняться: только прислушивался к вибрациям жужжания, пока оно не растворилось в опустелой комнате. Когда он вытирал руки, всем его существом завладела плотная ясная мысль: его "хозяйство", как он говорил, все еще выпачкано вагинальными соками Марухи. Он закрыл глаза и почувствовал, как кожа нежится в сливках вчерашней любви. Влез в ванну, словно взошел на эшафот, сосчитал до десяти и открыл кран на полную мощность.

— Черт, старушка, может, счастье и миф, зато несчастье — никакой не миф! — прокричал он под душем.

Вода смыла то, что оставалось от Марухи Санчес.

Только тогда, совсем сникнув, он раскаялся в тягчайшей ошибке: он был плохим любовником. С тех самых пор, когда перед свадьбой ослушался друзей и прибыл к началу медового месяца, не обучившись заранее у проститутки из местного борделя (одной из специалисток по сексуальным инициациям, что сдавали внаем свои грехи в квартале Пахарито), которую они пригласили ему на дом. Измена целомудренного жениха помогла бы ему не проиграть столько сражений впоследствии, ведь на первом же уроке учат, что на полях близости, где идет

битва с одиночеством, тело обязано командовать духом и насаждать свое превосходство, чего бы это ни стоило.

— Граждане, нечего тут окуривать, у меня аллергия на этот ваш дым! — заорал где-то Эдуардо, таксист.

Лино оставался ужасным любовником все двадцать пять лет, что они делили постель, кроме как в редких случаях, когда им удавалось наслаждаться друг другом без утайки под воздействием мятного ликера, которым его жена баловалась на посиделках в кафе "Буэнос-Айрес" или Бог ее знает где. Раз или два в месяц Маруха принимала ванну с фиалковой водой, забирала волосы в высокий узел и отправлялась на гулянку с какой-нибудь подружкой. Так она и говорила: "Пойду пройдусь с такой-то. Меня ждет эта ненормальная такая-то. Сегодня день рождения у такой-то". Она возвращалась из этих загулов в пепельной предрассветной мгле, и Лино знал, что конец ночи пройдет очумительно. Чтобы унять зуд ожидания, он часами простаивал под душем и натирался мочалкой, пока не вымывал из кожи всякий след страха. Потом, едва обсохнув, ложился в кровать и, как в засаду, уходил в чтение какой-нибудь книги, прислушиваясь к любому шороху. Когда раздавалось щелканье шестеренок в замке, а потом стук каблуков Марухи в гостиной, он притворялся спящим — зная, что она, распаленная и устыдившаяся, станет шептать ему на ухо мольбы о прощении. "Накажи меня, любимый, накажи меня. Я потаскуха, дешевая шлюха. Скажи, что я тебя не достойна. Избей меня, если хочешь", — говорила Маруха, мешая слова со смиренными болеро. *Я ненависти жду неумолимой...* — Еще. Сильнее, чтобы мне больно было. — *Я ненависти жажду и презренья...* — Вот, вот так я люблю. — *Злись, но не забывай меня, любимый, ведь злоба ранит меньше, чем забвенье,* — напевала она, подставляя шею под укусы Лино.

Прежде чем пойти к соседям за помощью, Лино попросил у нее прощения за все невыполненные обещания, за несбывшиеся мечты из отеля "Севилья", за пошлые перебранки, не годные даже на то, чтобы возненавидеть друг друга. Если правда то, что рассказывают избежавшие смерти, если правда, что в считаные секунды агонии они вспоминают главные мгновения жизни и на экране памяти видят себя плавающими в материнской утробе и слышат, как они сами ревут и из теплого вкусного соска снова брызжет молоко им в рот, а в окно падает свет; если правда, что эпизод за эпизодом они восстанавливают в памяти все от первой любви юности до последнего зуба в десне; если в самом деле все случается заново, снова пахнет, снова смакуется, и это нагромождение мгновений — единственный багаж при отправке в мир иной, то он, Лино Катала, медленно-медленно умирал, потому что медленно-медленно на

него наваливались его промахи, как будто Маруха запускала в него камнями, желая схоронить под грудой обломков. Одиночество станет его адом.

– Мороженщик приехал! Говорят, шоколадные эскимо есть. Подходи, я тебе очередь займу, Маруха, – прокричал Мойсес с лестницы.

– Старушка, мороженщик приехал, – пробормотал Лино сквозь зубы. Он не знал, как справиться с дрожью в коленках.

Дым от окуривания просочился в дверную щель, от химикатов у Лино засаднило в глазах, и это был хороший предлог, чтобы обмякнуть и заплакать.

ПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА. Так значит, Лино, уже двадцать пять лет, как умерла Маруха? Да не может быть такого, надо же: как время летит! Мы с тобой познакомились на посиделках в кафе "Буэнос-Айрес". Помнишь? Я так тебя и вижу: лаковые ботинки, гамаши, брюки со стрелками, двубортный пиджак и испанский берет, светлый. Курам на смех. Я думал: в каком музее его откопали? Нас представила Роса Росалес. Говорили мы в тот вечер о каких-то пустяках. Я тебе чего-то наплел, ты мне чего-то навешал. А потом тара-рам, тара-рам, все уходят по домам. Я ушел, а вы тогда остались. Маруха танцевала с этой Росалес. И позже мы пересекались не сосчитать сколько раз. От моего дома до твоего шагов восемьсот будет, а навстречу друг другу мы ни одного не сделали. А почему? Все из-за внешности, я так думаю. Меня прямо воротило от твоей старомодной правильности, от этих синих и зеленых рубашек, всегда чистых, хоть и мятых, от начищенных ботинок. А тебе наверняка был противен мой шутовской наряд. Разве не забавные у меня штаны в черно-белый ромбик? А веревочные сандалии, желтая рубашка, флуоресцентные подтяжки, ни на йоту не растянутые? Зацени бейсболку "Янкиз". Шик, скажи? Ну да проходи, Лино, проходи: что ты там застыл, будто покойника увидал? Пускай твой внучок играет на барабане: я ему его дарю. Забирай, Тото, твой теперь барабан. Я обожаю порядок и гигиену. А вот красота меня угнетает. Оглядись: если найдешь грязную вазу, подарю тебе своего племянника Исмаэля Мендеса Антунеса, дороже у меня ничего нет. Я имею в виду не только то, что большая часть человечества понимает под красотой. Я равняю отвратительное и великолепное, вульгарное и возвышенное, пустое и изысканное, поверхностное и глубокое, нескладное и гениальное. У меня перед тобой преимущество, ведь я актер и то и дело меняю кожу. С юности я живу бок о бок с моими диковинными альтер эго, персонажами, носящими странные имена, а они при малейшей возможности но-

ровят вселиться в меня, как духи. Мы так часто выступали вместе, что я успел точнехонько отладить их воображаемые истории, как часовщик подгоняет зубчатые колесики. Имя, данное мне при рождении, — Аристидес Антунес, но я так же был и есть Абдул Симбель, Бенито О'Доннел, Пьер Мериме, Эдуардо Санпедро, Лукас Васальо, Пласидо Гутьеррес, Элизабет Брюль и Ларри По. И все мы в общей сложности любили 68 женщин и одного дантиста. Эта тетрадь в красной обложке — протокол моего помешательства. Здесь я фиксирую точные данные обо всех моих любимых, чтобы не забыть, кому принадлежал. Это мой реквием по мне же. Местом действия я избрал наш город, Гавану, мою бархатистую Гавану, Гавану карманную, прогулочную, и здесь я сотворил фарс своей жизни и чихал, что другие скажут. Счастливый конец пьесы состоится по моей кончине. Я человек мягкий, мягче клоуна. Я было задумался однажды, а не вернуться ли к исходной точке, дому с четырехскатной крышей в моем родном Арройо-Наранхо, но потом решил, что это было бы ошибкой, ведь в одной реке дважды не искупаешься. Стоит вернуться в поселок — и конец мне придет: тамошние развалины и меня превратят в развалину. Я столько лет давал частные представления и всегда нуждался в ком-то, кто похлопал бы, в зрителе, в очевидце. В ком-то вроде тебя. В друге. За этим и нужны друзья.

— А мы друзья? Мы только познакомились, Ларри.

— Да брось ты, старикан, бывает дружба с первого взгляда. Дай-ка я прочту тебе кое-что из тетради.

— Валяй, только сначала до уборной дойду.

На самом деле я, Аристидес Антунес, незадачливый актер, артист массовки на телевидении, чистокровный донжуан, старый пошляк. Я родился и вырос в поселке Арройо-Наранхо, в пригороде Гаваны, где мой отец обжигал кирпичи на кирпичном заводике XIX века постройки. Сын Хосе Исмаэля и Габриэлы, брат Габриэлы, дядя Исмаэля, вот уже три четверти века я копчу небо. Я считаю, мне повезло: люди смотрят на меня, но не видят. Я мечтал сыграть Электру, Анхелито, Чачу, Агамемнона, Тоту, Табо, Мефистофеля, Чайный Цветок – все это персонажи Вирхилио Пиньеры, – а вынужден был довольствоваться третьестепенными ролями: Голос из Громкоговорителя, Хор, Мужчина № 2, Голос № 3. Я не выношу ни возмутительной тишины одиночества, ни дробной развязности толп. Я бывал анахоретом, отшельником, кающимся грешником, но бывал и спесив, надменен, пренебрежителен. После нескончаемых пируэтов, после забега, где я больше спотыкался, чем летел, после того, как успел ухлестнуть за двумя сотнями женщин и раздеть сотню из них и овладеть примерно семьюдесятью, из которых поныне живы шесть или семь, хоть и любил я всего одну, у нее были косы, после того, как я выпил пятьсот бу-

тылок рома и выучил наизусть пятьдесят пьес, итог моей жизни предстает чудовищно запутанным: в этом буйном дворце, где я обитаю, в окружении толпы призраков, я вверил свое сердце развязности, и вот он я, спесивый анахорет, надменный отшельник, пренебрежительный грешник. Я люблю румбу и рок-н-ролл, Фрэнка Синатру и Бени Море. Я весь соткан из противоречий. "Приходите с пустой", – писали на досочках в кубинских лавках, чтобы покупатели приносили свою тару под постное масло и свою кастрюльку – под жир. Я пришел со своей пустотой: я не занят. Когда подойдет моя очередь, когда я услышу: "Следующий, товарищ", – я упорхну отсюда. Человек рождается уже в очереди. Я оставлю дом прибранным, кухню чистой, постель заправленной, бумаги в порядке и выкурю на балконе последнюю сигарету, до самого хабарика. Все на сцену! Абдул Симбель, Бенито О'Доннел, Пьер Мериме, Эдуардо Санпедро, Лукас Васальо, Пласидо Гутьеррес, Элизабет Брюль, Ларри По, все за мной, гуськом. Оставляю вас здесь, в бессмертии этой страницы. Оставайтесь, если пожелаете. Маски, маски, я вас знаю. Я всегда думал, я ваш Джепетто, но не тутто было: это вы дергали за мои ниточки в полутемной вышине. Вы заслужили свободу слова. Будьте счастливы. Играйте. Резвитесь. Насмехайтесь надо мной. И не скучайте обо мне, прошу вас. Не хочу, чтобы мне носили цветы. Все на Площадь! Врежьте на моей могиле Тюремный рок. Тоска – ненужная морока, ностальгия – жуткая дрянь. Если отыщете ее, передайте той, с косами, что я ухожу, не переставая любить ее. Последний пусть погасит свет. Я оттягиваю подтяжки и нахлобучиваю кепку до бровей. На счет раз, на счет два, на счет три: выхожу в пустоту! Чао. P. S. Все что угодно ради такого конца.

Будь как дома, Лино. Приходи ко мне обедать завтра или послезавтра. Без ложной скромности: я неплохо готовлю. Посмотрим, что найдется на базарчике. Вчера давали маниок и бананы, зеленые, как лягухи. Мой племяш Исмаэль нет-нет да раздобудет пару долларов и покупает мне в магазинчике в "Фоксе" туалетную бумагу, порошок, мыло. Как сказала бы Тота своему Табо в пьесе Вирхилио Пиньеры "Два старых паникера": "Я не что иное, как труп, не страшащийся последствий". Обещаю тебе суп из воздуха. Не смотри на меня так, Колдун: мы ведь близкие друзья. Повторюсь: разве не бывает дружбы с первого взгляда? Дружба — это роман. Я тебе в общих чертах зачитал свое прощальное письмо, финал недоигранного фарса. Написал сто лет назад — пусть найдут на следующее утро после моей смерти. Что ты говоришь? Кто есть кто?

— Кто эта, с косами?

— Соль на рану. Ее зовут Эстер Роденас.

Я знал, такая красота дорого мне обойдется. Наши пути пересеклись в четырнадцать лет, в четверг, 5 июня 1947 года, день памяти блаженного Фердинанда Португальского. Пом-

ню, светило солнце, и дождь моросил, и отец сказал: дьявол женится. Жизнь — игра, Лино: нужно играть. Делать ставки. Развлекаться. Нет искусства без риска, поверь. Кто не играет — проигрывает. Переучет нашей мимолетной связи безупречен, в нем нет ни трещинки: на месте даже мандариновый привкус ее губ, а это доказывает, что время не так разрушительно, упорно и вероломно, как его малюют, иначе что-нибудь да поросло бы ржавчиной за пятьдесят семь лет, прошедших с тех пор, как я потерял ее тем невыносимо серым утром, когда семейство Роденас погрузилось в черное авто и скрылось за мостом, и последний образ Эстер растворился в эфире. Обо всем этом я пишу в тетрадке. Прочти. По мере того как я старею, она становится все более юной — прямо пропорционально моему одряхлению, и ночи не проходит, чтобы мне не приснились ее глаза.

Лино, жизнь — мираж. Да, я любил 68 женщин с допуском к телу, не считая Эстер. Половина умерли, половина от половины уехали из страны, а половина от половины от половины затерялись или знать меня не желают, так что, если подсчитать (шестьдесят с чем-то на два да на два да на два, столько-то на столько-то, пополам напополам напополам — бздюлька выходит), едва наберется шесть потенциальных, настоящих, полноценных, на которых можно рассчитывать, а поди еще знай — какая из них согласится взвалить на себя меня, после того как дурно я с ними поступил. Учительница Руис, Рафаэла, Барбара, Сивая, Хулиета, Бетанкур Косточка? Для одних я был инженером О'Доннелом или акварелистом Мериме, для других — доктором Санпедро или бизнесменом Симбелем. Аристидесом я чувствую себя, только вспоминая Эстер, а такое со мной все реже и реже случается. На прошлой неделе я ходил на обследование, так докторша сказала, что сердце у меня — никотиновый свинарник. *Однажды в тюряге забабахали вечеруху, арестантский бэнд вышел на сцену, они вдарили рок-н-ролл, так что все ожило...*

На заре артистической карьеры я вернулся к настоящему имени, дабы удостоверять свою личность официальными документами, но вне работы по-прежнему менял кожу — так мне было уютнее. Я выучился этому у хамелеонов. Некоторым я известен как Лукас Васальо (еще один псевдоним для артистических дел). Однажды я очертя голову воплотился в бедрах Элизабет Брюль, девицы бельгийского происхождения, у которой завязался роман по переписке со стоматологом из Санта-Клары, много старше ее. Серьезно. Страстность романа да не заставит нас усомниться в его подлинности. Мне хотелось узнать на собственной шкуре, каково это, когда тебя соблазняет мужчина, и

заодно померяться мужской харизмой. Я думал, если быть начеку, я даже смогу открыть в себе женское начало, которое мы всегда стараемся закопать поглубже, ведь настоящие мужчины не вздыхают и не хлопают ресницами. Ухажер Элизабет оказался сексуальным маньяком. Он до того дошел, что предлагал ей четыре золотых зуба, лишь бы она подарила ему сладостный вечер на его дантистском троне. А по правде — по крайней мере, это ближе всего к правде — я был комедиантом Аристидесом Антунесом с рождения и до вечера, когда мне выпало играть носильщика в одной телевизионной пьесе: *Кто убил Ларри По?* Я не выбирал Ларри: это он похитил меня. В начале пьесы меня находили мертвым в захудалой гостинице, я лежал у кровати и в этой позе оставался пятьдесят минут кряду, стараясь дышать мелкими глотками. Росита Форнес прохаживалась надо мной, а я краем глаза оценивал ее формы, будто так и надо. Призрак Ларри так крепко засел во мне, что никто впредь не называл меня моим настоящим именем, на смену ему пришло имя этого загадочного азиата, о котором лишь немногие знали хоть что-нибудь наверняка, даже персонажи пьесы, а скудные слухи были так противоречивы, что детектив, расследовавший убийство, решил, что покойный являлся множеством личностей разом, причем ни одна из них не представляла интереса. В день съемок — отбросим скромность — я был великолепен. Ларри завладел местом Санпедро, О'Доннела, Мериме, Симбеля, доктора Гутьерреса и девицы Брюль. Он мне не мешает. В каком-то смысле, напротив, дополняет меня. Со временем мы стали одним человеком.

— А как же Лукас?

— Я убрал его, Лино.

На актере Лукасе Васальо лежит груз всех моих провалов. У меня не самые приятные воспоминания о нем. Четыре года назад я похоронил его на Малеконе, напротив отеля "Националь". Признаюсь, нелегко хоронить самого себя. Я отыскал в кладовке все вырезки, где он упоминался, портфолио, сценарии и сжег на террасе, чтобы и соседи полюбовались на мое собственное убийство. В тот же вечер я развеял пепел над морем, не сообразив, куда дует ветер, и весь измарался. Лукас отказывался покидать мое тело, цеплялся за меня ногтями: он хотел забрать меня с собой. Сучил ногами. На миг я раскаялся в содеянном. Мною двигала жажда мести. Я ожидал испытать легкость, когда положу конец его бесцветному существованию. Размазанный по мне пепел показал, что и Лукас Васальо меня терпеть не мог. Ох, да не уходи же. Тото может поспать на диване, если хочет. Посиди еще. Я тебе первому рассказываю о своих похождениях — ты первый,

олух, сидишь и слушаешь. Я дам тебе тетрадку. Читатель мне тоже не помешает.

— Постой, Ларри... А узнали, кто убил носильщика?

— Да. Сука его убила.

— Какая сука?

— Жизнь-сука, Лино, воющая черепушка.

Двадцать пять лет без Марухи! Чертовщина. Какой ветрило дул, когда ее хоронили! Помнишь, как в кафе "Буэнос-Айрес" пахло бисквитами? Помнишь Росу Росалес? Вот было времечко. *Прости меня, о совесть, подруга дорогая...*

Прости меня, о совесть, подруга дорогая... Теперь, после смерти Марухи, Лино задался вопросом: почему она оставалась ему верна девять тысяч сто пятьдесят ночей подряд, с того ноября 1953 года до этого, в 1978-м, и в тишине ему явилась возможная истина, которую Маруха опровергла бы, даже втайне с ней соглашаясь: потому что она была женщиной, способной предать лишь однажды, наотмашь, и не желала терять время на поиски второго идеального мужчины, зыбкого счастья. Лино был ее синицей в руке. Страх объясняет почти все — а остальное объясняет привычка.

Маруха не изменяла ему? А никотиновые пятна между указательным и средним? А ночные гулянки после ванн с фиалковой водой? А таинственные подруги — такая-то, такая-то и такая-то? Его с ними так и не познакомили. А тот вечер в кафе "Буэнос-Айрес", когда Маруха вывела на танец Росу Росалес? А мятное дыхание? А шрам на левом запястье? И что, если счастье и вправду — миф? Что было для нее счастьем? Что было счастьем для него? К чему эти бессмысленные вопросы: несчастье у всех одинаково. Ответы, которые он выуживал из прошлого, вовсе не рассеивали сомнения, а оказывались куда их запутаннее.

Лино, к примеру, так и не оправился от удара, низведшего его до состояния блохи, когда на третьем году брака Маруха захотела узнать, почему никак не беременеет, и анализы показали, что расстройством, возможно, вызывающим бесплодие, страдает муж. И он не мог понять — как это Маруха по дороге из больницы просто умолкла и, казалось, смирилась. Она больше словом об этом не обмолвилась, будто ее не интересовал окончательный диагноз, а ведь сильнее всего на свете она любила воображать себе сумасшедший дом, до отказа набитый орущими разновозрастными детьми — и у каждого свой характер. Лино знал об этом, потому что еще до свадьбы у них была такая игра — придумывать звучные имена будущим отпрыскам, и Маруха выбрала три цветочных име-

ни для девочек, а двух мальчиков назвала бы в честь знаменитых певцов; она наделяла их прозвищами, талантами, университетскими дипломами и начинала так обожать, что вот уже представляла себя юной бабушкой с целым выводком внучат. Лино пытался поднять эту тему, но она с непробиваемой изворотливостью уходила от разговора, и ему ничего не оставалось, как записать себя в неудачники. Им бы поплакать тогда, но у них не принято было плакать.

Два раза в неделю по заведенной привычке они отдавали супружеский долг, всегда слегка отстраненно, даже не целуясь, чтобы ненароком не озадачить другого необходимостью разнообразить действо. После каждого провала рот Лино, по-мужски уязвленного, полнился горечью, известной всем малодушным, подозревающим, что они не заслуживают таких горячих женщин; он додумался даже до того, что неплохо было бы Марухе найти жеребца и родить от него: сотворение этой истинной иллюзии вернет им вкус к жизни. Ей он об этом не сказал, хотя однажды — всего однажды — во время сиесты увидел во сне нерожденного сына. Тот смотрел из рамы маленького окна, как на фото для документов.

— Мне очень жаль, дон Лино, — сказал Мойсес. Он неуклюже старался спрятать налитые кровью глаза, но на правой брови все равно отчетливо виднелся синяк. У него было сопрано и губы кларнетиста. — Если хотите, я могу вызвать "скорую". Всем займусь, соседушка.

Лино дошел с Мойсесом до первого этажа. Свет ослепил его. Четверо ребятишек, увлеченных каким-то жарким и громким спором, гоняли на роликах по тротуару. Изыматели старья волокли матрас с ослабшими пружинами. Улица вибрировала. Зелень арек была чересчур зеленой, синева неба — чересчур синей, а белизна домов — чересчур яростной для сухих зрачков Лино Катала, новоиспеченного вдовца. И его правая рука больше не была его правой рукой: когда студент-медик сжал ее в порыве искреннего сочувствия, на манер прощания, кости хрустнули, словно цыплячьи хрящики.

— Она ведь не мучилась, правда?

— Думаю, нет.

Лино отворил дверь. То и дело она билась головой о дерево, каждый удар сильнее предыдущего.

— Вот ты и уходишь, Маруха.

Лино выбрал для супруги розовое платье, которое она надевала накануне, и вложил в руки пластмассовое жемчужное ожерелье, как амулет. От боли он стал внимательнее к мелочам, все равно что двадцать пять лет назад, когда с тщательнейшей одержимостью готовил свадьбу. Перед выходом в по-

хоронное бюро не забыл отыскать в комоде Марухину косметику, чтобы гример трупов нарумянила ей щеки ее любимыми оттенками; стоя у каталки, попросил служащую надеть жене теплые носки: “В могилах холодно”. Еще он выбрал фотокарточку Элоисы Санчес, Марухиной сестры, и сунул покойнице за пазуху: так она быстро найдется, когда ангел на небесах спросит ее о близких. Лино оделся в сорочку, костюм и галстук; строгий траур; начистил ботинки до искр и опустил в карман чешские ручки — обновит на свидетельстве о смерти. Трижды выбрился.

Первыми пришли выразить соболезнования его племянница Офелия и ее жених Тони, добродушный толстяк, повар в ресторане “Анды”, потеющий, как проклятый, в своем единственном черном вельветовом костюме. Потом подтянулись три соседки, которым Маруха делала маникюр, а попозже — братья Эдуардо и Мойсес, на сей раз в черных очках. И, наконец, уже в похоронной конторе на углу улиц Санха и Беласкоаин, появилась Роса Росалес, хозяйка и главная вдохновительница посиделок в кафе “Буэнос-Айрес”. Она убрала волосы под тонкую сеточку, оставлявшую открытой длинную белую шею, охваченную золотой цепочкой на высоте ключиц. Росалес принесла манильскую шаль, незаметно заштопанную в ста местах.

— Кажется, эту ты просил. Она на ладан дышит.

— Твоя шаль, старушка, — сказал Лино и укрыл Марухе плечи, прежде чем гроб закрыли.

Девушка с рыжими косами заглянула Марухе в гроб, осенила ее крестным знамением и мягкой милосердной улыбкой, и Лино подумалось, что это ангел принял облик улыбчивой гаванки. В соседнем зале провожали в последний путь мулата-китайца, убитого в уличной драке, как пояснила Росе Росалес крестная (по сантерии) мать покойного, сухощавая морщинистая негритянка во всем белом и нескольких ожерельях из семян святой Иоанны на жирафьей шее: “А справа, говорят, лежит один из соцлагеря”, — сообщила сеньора. В третьем зале, где покоились останки иностранца, готовящегося отбыть в Европу, как только отыщется местечко в грузовом отсеке самолета, раскачивалась в кресле-качалке и читала журнал “Боэмия” девушка с косами.

— Красивые у меня гвоздики? — спросила она, когда Лино предложил ей чашку кофе. — Меня зовут Констанца. Я их на углу в цветочном купила.

— Да, очень милые.

— София ведь столица цветов? Он болгарин. Ну, был болгарин: Румен Благоев.

Констанца пришлась Лино по душе. Что-то в ее взгляде (или, может, овале лица, или огненных волосах — он не смог бы точно назвать причину) не давало оставить ее одну. За ночь рыжая успела рассказать ему несколько историй из своей жизни, не переставая заплетать и расплетать косу, отчего вся сцена преисполнялась особого простодушия. Констанца утверждала, что едва знакома с болгарином. Она обнаружила его в парке Мирамар, где ждала своего жениха, парня родом из Матансаса по имени Рикардо Пиментель: иностранец то ли пожаловался на боль, то ли с кем-то попрощался на непонятном языке, потом скорчился и умер на чужой земле, вцепившись в руку девушки. Вызванные Констанцей полицейские выяснили по паспорту, что звали его Румен Благоев и был он родом из Варны, куда и должен был вернуться через две недели, судя по билету на самолет. Болгарское посольство взяло на себя дальнейшие дела, но рыжая сочла своим долгом оставаться с покойным до конца: ее жених на свидание так и не явился. Патологоанатом заключил, что смерть наступила по естественным причинам, по всей видимости, от кровоизлияния в мозг, после чего консульские чиновники немедленно начали процедуры по репатриации трупа.

— Рикардо знает, что ты здесь? — спросил Лино.

Констанца откинула косу за спину.

— Уже неважно. Любовь тоже умирает, — загадочно ответила она. — У меня живот болит. Кофе перепила. Интересно, какая она, Болгария? В стране цветов, наверное, тысячи садовников в пурпурных комбинезонах колдуют над каждым розовым кустом. Ох, бедный мой живот. А сеньора в шали — ваша жена?

— Да.

— Такая молодая! Вот научусь молиться и за нее молиться буду.

Процессия Марухи отбыла раньше, чем увезли болгарина. Эдуардо предоставил в распоряжение скорбящих свой автомобиль. Садясь в "шевроле", Лино обернулся и увидел Констанцу у входа в похоронное бюро. Она держала руку козырьком, словно высматривала кого-то. Увидев Лино, замахала руками, давая понять, что Румен Благоев вскоре выйдет на взлетную полосу.

Процессия двинулась сквозь вдруг образовавшуюся толпу азиатов с огромным портретом, перевязанным черной атласной лентой, с которого улыбался мулат-китаец. В окно машины Лино увидел, как Констанца сложила ладони в почтительном религиозном жесте. Знакомство с этой непосредственной девушкой осталось единственным приятным моментом дня, и

позже он вспоминал ее с преувеличенной, но искренней благодарностью, а когда решил, что больше им не суждено встретиться, что она так и застынет навечно на тротуаре у похоронного бюро, подумал, что Маруха была бы рада такой дочери, как Констанца, и почувствовал себя вдвойне покинутым.

Больше на похороны не пришел никто. Порывы северного ветра шугались по дорожкам кладбища, ввинчивались в лабиринты пантеонов, и все три венка завертело и унесло мимо могил, словно букеты невесты. Роса и Офелия вызвались проводить Лино.

— Приготовлю тебе поесть, — сказала Роса.

Лино попытался выдумать предлог, чтобы избежать западни.

— Меня довезут Эдуардо с Мойсесом, — ответил он. Он не умел врать.

У входа на кладбище они столкнулись с процессией мулата. Двое ребятишек лет семи прокладывали дорогу рою негров и китайцев: мальчик потрясал жаровенкой с ароматными углями, девочка била в металлический треугольник. Лино попросил Эдуардо выпустить его из машины, потому что захотел прогуляться до дома пешком. Мойсес следил за вдовцом в зеркало заднего вида, пока тот не исчез в пульсирующем сиянии вечера.

Лино прошел по улице Сапата до питомника на бульваре Пасео и там остановился передохнуть. У него болела селезенка. Тяжесть кольцом сомкнулась вокруг него, и тогда он начал пинать камушки под огромным деревом. Удар за ударом его ботинки прорыли почти идеально круглую канавку в перине палой листвы, а он так и не мог выбраться из этого искупительного круга. Все еще в плену горя он уселся верхом на ствол упавшей пальмы и попытался вызвать в памяти ускользающие мгновения, когда Маруха напевала над плитой *еще твои губы о любви не говорили, а я уже знала, а я уже знала* или когда они ездили на пляж в Гуанабо и Маруха ни за что не заходила в море (разве что по щиколотку), потому что боялась воды с тех пор, как ее сестра Элоиса утонула в прибойных волнах Бакуранао, *от твоего взгляда мне пришла телеграмма и все сказала, и все сказала*, но голова Лино Катала была пуста, и в редких гневных вспышках просветления он возвращался в ночь накануне, когда хотел прикрыть ее простыней, а она швырнула его на себя *ты и только ты осветишь мой одинокий дом*, ночь последней любви, запах кипяченого молока, и упрекал себя за то, что не понял, дурак, — они на краю пропасти, *я уже знала, я уже знала*, но лицо Марухи темнело, скрывалось в головокружительных спиралях, и пляж Гуанабо стирался из памяти, и деревья питомни-

ка вились, как воздушные змеи, потому что тем бесчеловечным вечером боль утраты была куда живее воспоминаний. Так он просидел час, устав от своей тени, устав от себя.

Вереница сердитых муравьев карабкалась по его ногам. Парочка подростков нашла убежище своей любви в кустах сырого сада: они горячо спорили, а в самый напряженный момент перебранки вдруг вцеплялись друг в друга и начинали целоваться. И смеяться. Лино подумал о Констанце, о китайском мулате, о болгарине Благоеве, встретившем смерть вдали от пляжей Варны. Три человека, которые знать друг друга не знали в этом мире, перестали дышать и смеяться в одном месте и почти что в одно время — совпадение, в котором, может, и нет никакого тайного смысла; учит оно разве только тому, что на каждом шагу нас ожидает распутье, загадка, которую приходится решать на ходу. Примем мы верное решение или нет, угадаем или промажем — все пути ведут в одну западню, и оттуда не выбраться. Вот что значит умереть: никто тебя больше не увидит. Лино принялся одного за другим давить муравьев.

Когда он пришел домой, пары ацетона, напоминавшие о Марухе, выветрились, и по всей комнате воняло керосином, словно полной безутешностью: если он не будет себя любить, кто еще его полюбит? Ну, так тому и быть, значит. Ночь растянулась до бесконечности. У него чесались ноги. Он раскровянил ногтями ляжку. Сидя в раскорячку посреди кровати в трусах и майке, уткнувшись подбородком в ключицу, он поклялся Господом Всемогущим, что ничегошеньки не сделает, чтобы вновь стать счастливым — если предположить, что до этого он все-таки был счастлив. Он отказывался от этого права.

— Я бы стоял у стойки и хлопал тебе, — прошептал он в подушку и натянул шелковый чулок на все лицо, как маску для фехтования. — Я тоже не любил спать без тебя, Маруха!

Уснул он сидя.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ 2003 ГОДА. Элизабет Брюль прислала дюжину крокетов из маланги. И это еще не все сюрпризы, Лино. Я тебе приготовил пир на весь мир: тамалес в горшочке, жареные бананы, белый рис и обещанный суп из воздуха, куда же без него. Поставил фужеры из тонкого хрусталя. Я купил их сто лет назад в "Тен-сенте" и обновил с Рафаэлой Томей, моей обожаемой медсестричкой, ночью, полной страсти и неги. Заходи. Я как раз заканчивал убираться. Каждое утро, или почти каждое, я, чтобы развеяться, навожу чистоту. Всегда есть надежда, что какая-нибудь из моих женщин поднимется по лестнице, постучит в мою дверь и скажет, что не может больше без меня; поэтому каждая ваза, каждая рамочка для

фотографий, каждая фарфоровая статуэтка должна блистать и переливаться на полках. Я предпочитаю обмахивать пыль без рубашки, в одних трусах. Потом прохожусь влажной тряпкой и пою. Такое поведение под стать мечтательной невесте, желающей поразить аккуратностью кавалера, который нынче вечером явится просить ее руки, а не такому старому пошляку, как я, который всю жизнь только и ищет, кто бы согласился взять его со всеми бзиками. Убирая в комнатах, я повторяю тексты Вирхилио. Я знаю диалоги наизусть. Всегда мечтал сыграть в его пьесе. Подожди, я оденусь. Не очень пахнет креолином?

— Пахнет, но приятно. Весь город воняет унитазами...

Кстати, об унитазах... *Прежние унитазы выше нынешних. Фабриканты выказывают решимость делать их все более приземистыми. В один прекрасный день их станут производить такими низкими, что нам придется чуть ли не садиться на землю с расставленными ногами,* — говорит дон Бенигно в картине четвертой первого акта "Холодного воздуха" тощего Пиньеры. У меня отличная память и бутылка самогона.

Мелочи важны, по крайней мере, для меня, ведь я написал либретто своего несбыточного счастья и ежедневно расставляю декорации на тот случай, если какая-нибудь принцесса с характером осмелится навестить этот театр абсурда. Театр без кресел и лож, без критиков и историков, где все пространство подчинено пьесе для двух комиков, которую я репетирую день за днем: мой жизненный идеал. Я прирожденный актер и мало что оставляю на волю случая, хотя признаю, что в начатом диалоге есть место импровизации. Сегодня под утро у меня болело в груди. Покалывало. Я вышел на балкон. Продышался. Негритянка напротив — вылитая Электра Гарриго. *Что за фурия гонится за мной, что за зверь, я не вижу, войди в мой сон и отважься увлечь меня на край света... О, свет! Или ты сам – тот чудной зверь?* И боль прошла. У соседки на голове был венец из бигуди. Как хорошо, что ты здесь, Лино Катала.

— Спасибо.

Я поставил три тарелки, потому что думал, что ты приведешь Тото. Имя как из пьесы Вирхилио. Толстый говорит: *Даром что акт поедания крокетов из маланги сам по себе не составляет трапезы, это все же приглашение к банкету,* — и умолкает, прежде чем добавить: — *Так и быть, отдам вам этот крокет.* Там есть мудрые наблюдения над рисом с курицей. Когда отоварюсь окорочками, сделаю тебе рис а-ля Пиньера. Тощий говорит: *Убавьте огонь до среднего и заложите следующие ингредиенты. Мытый, мелко нарезанный лук. Мытый зеленый перец без косточек, разрезанный вчетверо. Сладкую паприку, помидор, листик кориандра и веточки венериного волоса. Шесть оливок. Чайную ложку каперсов.*

Тогда Толстый вскакивает со стула и восклицает: *Браво, браво! Это возбуждает почище порнографического фильма,* — поддевает чуть-чуть риса на вилку и говорит своему другу: *Откройте рот.* Подожди, я оденусь. Оставляю тебя наедине с Фрэнком, великолепным Синатрой. Можешь рассказать ему все что душе угодно: всегда полагайся на тактичность мертвецов. Спокойно, не надо на меня так смотреть, черт ты этакий. Я не сумасшедший, просто притворяюсь.

— У меня есть девять пластинок Уго дель Карриля.

Наша Элизабет всем Элизабет Элизабет. Где-то тут бродит эта чокнутая. Если тебя вдруг прошибет озноб или тахикардия — это она, словно легкий ангел. Дуновение. Капля света. Отблеск. Холодная тень. Ветерок. Скажи что-нибудь Элизабет. В юности она была монахиней. Сделай ей комплимент, парень. *Если готовишь ты так же, как ходишь, я готов съесть даже сковородку.* Я признаю: Брюль постарела, подобно мне. Подобно всем. Время не даром сочится. Время наш враг. Уверяю тебя, она была чистый огонь. Королева бала. Первая красотка квартала. Она уже не останавливает движение на улице Инфанты, как в лучшие времена, но если ты всмотришься с чувством, не обращая внимания на вены, на целлюлит, будто ватой набивший ее коровий зад, если пренебрежешь грустной легковесностью ее грудей, некогда округлых, то увидишь, что моя обожаемая Элизабет все равно что забальзамировалась. Я был ее наперсником, пока они не позаводили интрижек между собой и не обзавелись относительной духовной самостоятельностью — такого я не ожидал. К примеру, она всегда предпочитала Пьера Мериме, невзирая на мою заботу. Я видел, как они сплетались в постели. Больше всего ей нравилось любить при открытых окнах, о, божественная эксгибиционистка! скольким грехам ты меня обучила. Я храню в шкафу письма от дантиста. Уже давно не перечитываю, чтобы не споткнуться о камень безумия. Когда Элизабет чует мужчину в доме, она усаживается на последней ступеньке лестницы с розой в зубах. Она лижет лепестки. Ласкает себя от лба до увлажнившейся промежности, заглядывая по пути, разумеется, в колодец пупка. У меня слюнки текут.

— Похолодало.

— Я пойду оденусь. Угощайся крокетами. Подуй сперва: они с пылу с жару. Я слышал по радио, сегодня вечером на Гавану надвигается холодный фронт. Холодный фронт. Холодный фронт. Будто название для пьесы Вирхилио... или строчка из танго Карриля.

Лино Катала носил траур, пока черный пиджак не рассыпался на вешалке. Однажды в воскресенье он обнаружил, что под-

стригать волоски в носу и подравнивать усы ему теперь нужно всего раз в три-четыре недели, потому что волосы перестали расти так быстро, как раньше, и расценил эту странность как ясный сигнал к началу подготовки в последний путь. "Конец говну подходит", — подумал он, стоя перед зеркалом в парах керосина. Под говном он подразумевал свою жизнь. К этому времени он уже согласился, чтобы Офелия переехала к нему, после того как она призналась, что беременна.

— Внук! Пора уже запустить малыша в этот мавзолей, чтобы писался на пол. Квартиру оставите себе, когда я отойду, — сказал ей Лино. — В гостиной опять запахнет ацетоном.

Офелия, дочь покойной Марухиной сестры, выучилась у тети рисовать цветочки на ногтях — прибыльное умение, если учесть, что немногие маникюрши отваживались на такие виртуозные подвиги. В октябре 1979-го Офелия вышла замуж за Тони, добрейшего малого, повара в ресторане "Анды", а в марте следующего года на свет появился ангел с синдромом Дауна: Антонио Мария, которого все звали просто Тото. Любящее сердце Тони помогло Офелии преодолеть стыд от того, что она родила ему неполноценного сына. Выйдя из такси с приданым для новорожденного, он взял младенчика на руки и, глядя в глаза удрученной жене, все еще сидящей в машине, произнес самое прекрасное признание в любви, которое когда-либо слышали в этом квартале:

— Благодарю тебя, Святая Дева, мой ребенок всю жизнь будет ребенком.

Это было не единственное прибавление потомства. В 1980 году родились близняшки Владимир и Валентина, дети тишайшей Долорес Мелендес, двоюродной сестры Тони и супруги лейтенанта Рохелио Чанга. Новые жильцы прибыли из провинции Лас-Тунас, с восточной окраины Острова, поприветствовали родню, робко склонив беззащитные головы, и попросились к Лино на постой.

— Это на время, — заверил Тони. — Недельки три и аривидерчи. Вы даже не переживайте. Я им буду готовить каннелони с печенкой.

— О чем речь, Тони: ты у себя дома.

Ситуация осложнилась, да еще как, когда ультразвук показал, что беременность крайне рискованная. Гости загостились, потому что ни престарелый Лино, ни Офелия, ни деликатный повар не могли придумать цивилизованный способ избавиться от них, к тому же у Тони случился первый инфаркт (он поругался с Чангом за обедом). Лейтенант отдал Долорес приказ "окопаться на позициях", готовый защищать свои владения в честном бою: он забрал телевизор из гостиной к себе

в комнату, провел телефонный кабель туда же, к тумбочке, и купил советскую стиральную машину, чтобы не стирать форму в том же корыте, где Офелия выкручивала стариковские тряпки, поварские фартуки и дебиловы пеленки, и тем самым дал понять, что отступать не намерен.

— Долорес, быть этому жилищу моим штабом, — сказал он.

— Дорогой, мне кажется, это нечестно...

— Брось эту дурость: даденного не воротишь. Лино — болван.

Еще до нашествия тунцов Лино уступил супружескую спальню Офелии в качестве свадебного подарка, а сам переехал во вторую комнату, откуда его попросили с приездом новой роженицы. В третьей комнате он перекантовался до апреля 1980 года, когда ее заняли под колыбельки близнецов. Лино наотрез отказался вернуться, как ни настаивал Тони, в собственную спальню и, в конечном итоге, перебрался в комнату прислуги, маленькую, зато с отдельной ванной. Кроме того, он сохранял право собственности на шкаф в гостиной, где выставлял два самых ценных своих сокровища: девять пластинок Уго дель Карриля, все в оригинальных обложках, и сотню книг, брошюр и журналов, над которыми успел поработать за годы блужданий по типографиям Гаваны.

Лино не сомневался, что умрет очень скоро, не позднее середины восьмидесятых, но его расчеты и раньше, бывало, страдали неточностью. У его сердца был еще такой запас хода, что 2003 год застал его на заднем дворе сворачивающим себе подгузник из газет в тени живой изгороди из квисквалиса. Заголовки газет славили сорок четвертую годовщину Кубинской революции.

— Какие мы старые! — воскликнул он, продевая сооружение между худосочных ног.

ЧЕТВЕРГ, 6 НОЯБРЯ 2003 ГОДА. Лино был знаком с Лесамой. Я тебе клянусь, Исмаэль. Он ведь линотипист, простите за тавтологию. После этой встречи за ним и осталось прозвище Колдун. Пересказываю историю, как он поведал мне ее за обедом. Слушай. В 1954-м Лино попросили поработать пару месяцев за одного типа в типографии "Укар и Гарсия", где печатался журнал "Орихенес". Спустя дней пять, говорит Лино, к ним пришел Лесама Лима. Он принес в коробке из-под конфет рукописи для следующего номера. Стал у порога цеха и наблюдал сквозь пары расплавленного свинца, с какой скоростью Лино передвигает клавиши, а потом сказал: "Вы Колдун, друг мой".

— Не верю, дядя. Ты такой выдумщик, каких поискать не найти.

Да, я выдумщик. Прошло много лет, но Лино все хранит экземпляр этого номера в целлофановой обложке на подставке из дерева, венчающей шкаф у него в гостиной, так он сам рассказывает. Он столько раз перечитывал его, что выучил статьи наизусть, как я — диалоги Вирхилио. Он очень гордится, что оказался на высоте и не наделал грубых опечаток. Со времен ученичества, когда он не щадил сетчатки и очков ради заглавных букв, у него осталась профессиональная мания: оценивать на глаз шрифты и знаки в объявлениях. "Такая уж я типографская крыса", — отвечал мне Лино, когда я усомнился, стоит ли все в этом мире оценивать по размеру шрифта.

На днях я показал ему тетрадку в красной обложке, где у меня тщательным образом, с дебетом и кредитом, подведен баланс шестидесяти восьми достопамятным женщинам. Имя. Фамилия. Прозвище. Возраст. Телефон. Особые приметы. Профессия/умения. Родня. Первый Отмеченный Адрес. Первая Встреча. Последняя Встреча. Первоначальный Любовник: *Антунес, О'Доннел, Мериме, Санпедро, Симбель, Пласидо Гутьеррес, Элизабет и Ларри.* Состояние либо Степень Испорченности Отношений в Настоящее Время: *Умерла, Уехала из страны, Ненавидит, Любит.* Заключительные Замечания. В коробке из-под сигар я храню письма от стоматолога из Санта-Клары к лишенной предрассудков Элизабет Брюль. Началось это еще в детстве. В одиннадцать лет я мнил себя нейрохирургом Пласидо Гутьерресом и оперировал ящерок бритвенными лезвиями. Пласидо — в честь хромого соседа, он всем чинил велосипеды в Арройо-Наранхо. Гутьеррес — моя вторая фамилия. В молодости долгое время я был дорожным инженером Бенито О'Доннелом, покорявшим женские сердца во всех заасфальтированных им деревнях. К примеру, у него была любовь с Магали Пеньялвер. Сюда занесены все ее данные: роскошная уроженка Пинар-дель-Рио, проживает в Гаване, на спине красноватая родинка. Первая Встреча: на карнавалах в Бехукале, в тот вечер, когда ливень погубил все веселье. Последняя Встреча: в ресторане "Кармело" на улице Кальсада. Морской окунь в сливочном соусе, картофельное пюре, клубничное мороженое. Я подвез ее до дому на мотороллере. Категория: вне всякого сомнения, ненавидит меня. Состояние либо Степень Испорченности Отношений в Настоящее Время: скончалась от астмы.

Я рассказывал Лино эти истории, как вдруг у него стали смежаться глаза. Он не дослушал мой панегирик Магали Пеньялвер, не узнал про ее красноватую родинку: уронил голову. Он спал с вилкой в руке. Я с уважением отнесся к его усталости. Вымыл посуду, до блеска отдраил кухню. Вернув-

шись в гостиную, я, однако, не обнаружил его на стуле. Подумал было, что он ушел, но нет, Исмаэль. Колдун лежал на диване, прижав руки к груди, скрестив ноги в щиколотках. Я укрыл его мексиканской накидкой, которую сто лет назад мне подарила Росита Форнес. Да я тебе рассказывал. Включил телевизор. Проснулся уже после полуночи под звуки Гимна, его всегда передают, когда кончается вещание. Накидка была аккуратно сложена на диване. А под ней он оставил мое первое издание "Двух старых паникеров". Немаловажная деталь.

Лино — загадка. Он не подпадает ни под одно из набивших оскомину определений *кубинца*. Он типограф по профессии, но при этом ни ура-патриот, ни мачист, ни барабанщик, ни танцор, ни жрец абакуа, ни бейсболист, ни вояка, ни сплетник, ни без царя в голове, ни пьяница, ни боксер, ни шутник, ни пропащий, ни подглядыватель, ни гулена, ни скандалист, ни пассивный голубой, ни активный, ни бабник. Он просто мне по душе. Отбрось комплексы и предубеждения. По лицу всегда видно, что человек хороший. Он обещал вернуться и вернулся. Кстати, мы ждали тебя к обеду. Лино застенчивый, молчаливый. У меня такое чувство, будто мы с детства знакомы. Я ему что-то рассказываю, а он тут же сам это вспоминает. Любопытно, правда? Мы слушали пластинки Гарделя. Он не числится в фан-клубе Синатры. Знает кучищу танго. Из разговора мы поняли, что, вероятно, встречались раньше, у нас есть общие друзья. Роса Росалес, например. Красотка, грешница, кто-то мне сказал, она уехала из страны во время мариэльской заварушки. Через нее я познакомился и с Марухитой, женой Лино. Она иногда пела в переулке Амеля. Бедняжка. Однажды она попыталась вскрыть себе вены куском стекла, мы с Росой срочно отвозили ее в больницу. Она была пьяна, мятный ликер переполнял ее до краев. Порез оказался неглубокий, вен не задел. В приемном ей наложили три шва на кожу, а я убедил полицейских не заводить дело: "чего по пьянке не бывает".

Лино — обалденный малый, а так сразу и не скажешь. Есть люди, сами на себя не похожие. Они прячутся в свою раковинку. Я думал: вот простофиля. Но снова ошибся. Что-то в нем есть. Он как-то все время пятится. Я ему сказал: ты убегай вперед, Лино. Наступай, а не отступай. После обеда я звал его глянуть тайком на негритянку с балкона напротив, груди у нее — что твои дыни. Тетрадка в красной обложке по ней плачет. За неимением данных я покуда зову ее Электра Гарриго. Лино не отваживался взглянуть. Ему стало не по себе. Я объяснил, что она любит, когда на нее смотрят, поэтому и расхаживает все время в трусах и лифчике. *А жена Антонио*

ходит вот так... Даже на базар так идет... Так мы вновь подобрались к теме эксгибиционизма, и пришлось мне признаться, что я опытный, но совершенно безобидный вуайерист, это среди актеров и актрис распространено, ведь персонажа, племянник, надо у кого-то подсмотреть.

Лино всю жизнь прожил в одном доме. Вот жуть-то: три четверти века под одним куском потолка, под одной и той же лампой, под одними и теми же лепными завитушками, под паутиной, которую плетет паук-прапрапраправнук пауков твоего детства! Глупость, да и только. Надо переезжать, племянник, менять пространство, менять кожу. Одеваться в новую шкурку поверх мяса. Наряжаться в кого-то лучшего или худшего, чем ты сам, неважно — лишь бы антураж и прошлое у вас были разные. В детстве я понял, что всякий дворец начинается с отвлечения от кирпича. Вот она, заковыка: кирпич лепится из глины, а ведь мы все обращаемся в прах и глину. Ты знаешь, сколько мертвецов в одном кирпиче? В какой межстенной перегородке покоятся мои родители? Где продлится мой прах, когда я стану земной корой? И все же, признаю, есть что-то, чего я никогда не смогу свершить, — не хочу, чтоб ты представлял меня этаким победителем, полностью состоявшимся человеком: ни разу в жизни я не летал на самолете, Исмаэль. Ни разу не покидал Кубы. Я так и не повидал Ливан Абдула, Париж Пьера Мериме, Брюссель моей Брюль. Помнишь? Я говорил тебе как-то: у Брюль бельгийские корни. Вот ведь черт, полечу тогда в следующей жизни. Я утомился, но мне покойно.

— Ты плохо себя чувствуешь, дядя?

— Прочь, печаль! *А жена Антонио ходит вот так...*

В ту пятницу, 31 октября, выбросив, как всегда по утрам, подгузник из газет, защищавший матрас, и не успев еще окатиться из ведра, Лино столкнулся с неизменно мучительным вседневным выбором: синюю рубашку надевать или зеленую, поскольку принял решение пореже носить кремовую гуайяберу, — третий предмет в его гардеробе, в котором не стыдно было людям показаться, — чтобы была как новенькая в день его похорон. А пока этот день не настал, он щеголял в ней только каждое второе воскресенье, тем самым уберегая от износа в условиях мирской суеты. Эта предосторожность, до безобразия, как могло показаться, преждевременная, открывала длинный список его навязчивых идей. Каждое второе воскресенье он отправлялся гулять по холодным тенистым галереям улицы Инфанты, где подбирал бумажки и картонки, а затем складывал в урны, пеняя сквозь зубы тем, кто и в ус не дует, пока весь город медленно, но верно зарастает му-

сором. Каждое первое воскресенье, когда Лино "ни за какие коврижки", по его собственным словам, не надевал кремовую гуайяберу, он также выходил, только уже под вечер, когда все кошки серы, и никто не вглядывается в лица призрачных стариков.

Тото, уже двадцатилетний крепкий приземистый малый, вцеплялся в его локоть и просил взять с собой на прогулку. Они выбирали нелюдные улицы: Сан-Франсиско, Валье, Окендо, Басаррате, Конкордия, Соледад. Дурачок дудел в свой рожок: три ноты, всегда одинаковые. Лино рассказывал, что под мостовой лежат берцовые и прочие кости, забытые рабочими, раскапывавшими старое, первое устроенное в городе кладбище Эспада, когда переносили могилы на новое, Колон, где лежит Маруха. Тото ударял себя по голове. Лино знал квартал, как свои пять пальцев. Он мог пройти его насквозь с завязанными глазами, перепрыгнув все выбоины на тротуарах. Ему нравился вид этих зданий времен Республики, упорно хранящих архитектурное благородство, хоть и рассыпающихся на глазах между Сциллой моря и Харибдой нищеты.

— Окна выпадают, как у тебя зубы, Тото, — говаривал Лино.

Он жил в Центральной Гаване с тех пор, как ему сровнялось семь, и там же в октябре, с разницей в год, потерял родителей. А еще в этих закоулках исчезло множество других Лино — Лино-малыш, Лино-печальный, Лино-друг, Лино-юнец, Лино-жених, Лино-упрямец, Лино-слабак, Лино-неудачник, Лино-лентяй, Лино-чокнутый, Лино-взрослый, Лино-послушный, Лино-вдовец, и все они перевоплотились в этого неуверенного, вечного, застарелого ходока, шагавшего по прошлому, словно дезертир с кладбища Эспада.

Пару раз Лино и Тото по ошибке выкатывались к кафе "Буэнос-Айрес" на углу улиц Конкордия и Арамбуро, но старик всегда отводил глаза, страшась меланхолии. Он старался не проходить там с тех пор, как Роса Росалес, не простившись, покинула Остров. После десяти или двенадцати лет молчания, в августе 1994 года Лино получил открытку из Майами. Послание на обороте оказалось немногословным: *"Тебя ждет твоя подруга. Не хочешь приехать? Можешь рассчитывать на меня. Решайся. Я открыла новое кафе – "Рио-де-Ла-Плата". Скучаю, Р. Р."* Лино так и не ответил. Собирался, да не донес конверт до почты. Первый черновик вышел таким безудержным, что он сам удивился, перечитав, что́ надиктовало ему одиночество — не лучший советчик; в каждом следующем он гасил исповедальный тон, пока окончательно не выполол из текста всю страстность, но и тогда не узнал себя

в обесцвеченных строках. И предпочел промолчать. Он знал, что Роса Росалес не выносит фальши.

В последний вечер, перед тем как жизнь его навсегда изменилась, 31 октября 2003 года, Лино отправился с Тото размять ноги, и прогулка затянулась; от нечего делать они добрели до крепости Ла-Пунта, охраняющей вход в бухту, где у кромки Малекона начинается или кончается бульвар Прадо. В сыром плотном воздухе пахло неотступным ливнем. Море качалось в развалку. Удар внезапно подхлынувшей волны не оставил сомнений: вот-вот припустит дождь, да такой, что берегись, и вопреки желанию внука, которому хотелось поозорничать с бурей, Лино решил отойти от берега вглубь города, где они всегда успеют спрятаться в какой-нибудь галерее. *Дождик, дождик поливает всех, кто без зонта гуляет*, совсем нестройно напевал он зачем-то — возможно, чтобы развлечь Тото новым времяпрепровождением: петь и танцевать в толпе. Вот уже много лет он по собственному решению обходил стороной церемониальный маршрут их с Марухой ночей любви или нелюбви (львы Прадо, кинотеатр "Негрете", отель "Севилья"), но решил, что сегодня присутствие Тото сгладит драматизм. Так и случилось, потому что на всем крестном пути он выкладывал внуку идиллическую версию своей жизни, историю, лишенную терзаний, напиравшую на мгновения счастья и гармонии, которые "твои бабушка с дедушкой" пережили вместе, когда им было столько же, сколько ему, глупышу, юных лет. Он рассказал, какие фильмы они смотрели молодыми в "Негрете" — особенно тот, в котором играл Уго дель Карриль, — и какая расчудесная у них была первая брачная ночь и медовый месяц, проведенный взаперти в "самом шикарном" номере отеля, и не стеснялся в выражениях, описывая выдуманные моменты накала эротических страстей, — ему на руку играло невинное сердце Тото, которого, надо полагать, совершенно или почти не волновало, что Маруха оседлала дедушку на целых двенадцать часов непрекращающихся буйных оргазмов. Парень, как завороженный, смотрел на молнии, сплетавшиеся огненным кружевом у него в голове. Врак линотиписта им достало, чтобы выйти с улыбкой от уха до уха на угол улицы Трокадеро, где жил и умер Лесама Лима, возлюбленный поэт, некогда даровавший Лино более чем заслуженное прозвище Колдун. "Храни вас Бог, Маэстро, — сказал он, проходя мимо дома писателя. — Я так и не поблагодарил вас, ну да скоро мне представится возможность". Под конец прогулки, на асфальте Инфанты, когда уже падали первые капли дождя и небо так опустилось, что можно было дотронуться до него кончиками пальцев, и люди срывали белье с веревок над утопающими в

цветах балконами и все “скорые” Гаваны будто сговорились и взвыли в унисон поверх гула ветра, Тото взгромоздил Лино на плечи, сомкнул руки засовом на икрах наездника и затрусил неуклюже, как медведь, по середине опустелой улицы.

— Но-о-о, Тото! — кричал старик, ухватив за шею своего тугоумного скакуна.

СУББОТА, 8 НОЯБРЯ 2003 ГОДА. Я тебя слышу будто издалека, Лино. Говори громче. Я туговат на ухо, парень. Стареть — такая фигня. Разве что поднакопишь воспоминаний, в лучшем случае. Абдул Симбель говорит, что жизнь в тягость, потому что никогда не заканчивается. По мере того как я превращаюсь в мумию, ледник моего прошлого тает, и в глубине глаз проступают видения, так похожие на явь, что я даже пугаюсь. Вот скажи мне, дорогой друг, какой прок вспоминать в семьдесят рубашку, которая тебе нравилась в семь. Никакого. Как тоскливо воскресить лицо пацана, с которым учился в третьем классе, косого, или близорукого, или лопоухого, и всю ночь напролет сидеть без сна, пытаясь подобрать имя к этому лицу, которому давно было пора сгинуть в гробницах памяти! Ты можешь вспомнить, как вы с ним играли в бейсбол на насыпи, как ты завидовал его аккордеону, как он однажды поделился с тобой мороженым, но, пока не назовешь его по имени, косой, или близорукий, или лопоухий не сотрется из твоей ужаснувшейся памяти. На кой ляд помнить сырость какой-то там стены или кудахтанье взъерепенившейся курицы, которая клюнула тебя в ногу, потому что инстинкт подсказывал ей, что ты вознамерился напасть на ее цыплят? Нет, Лино, Абдул Симбель правильно думал. Ливанской своей головой. А я своей.

Вещи меняются в зависимости от того, через какое стекло мы на них смотрим? Исмаэль говорит, у меня трудности с самоопределением. Я думаю, каждый имеет право быть, кем хочет. Если ты мне скажешь, что работал канатоходцем в цирке “Пять звезд” и сломал шею, выступая без страховки, я поверю. Какой мне резон не верить. Только друга потеряю. Тебе придется слегка сгорбиться и начать припадать на левую ногу, если желаешь достичь правдоподобия. Быть последовательным. Девиз всех лгунов. Или одиночек. Или изнывающих от скуки. Экелькуа.

— Одна моя подруга тоже говорила: некоторым в тягость, что жизнь все никак не заканчивается, — сказал Лино.

— Да что ты? Может, она была знакома с Абдулом.

Лино, я ведь тебе не рассказывал про Исмаэля? Он вся моя жизнь. Я его обожаю. Расскажу, пока он не пришел. Он не любит, когда я о нем говорю. Так вот, Исмаэлито изучал литера-

туру в Педагогическом институте и не вылезал из скандалов, потому как он страшный почемучка, а в этой стране стратегически неверно сомневаться: тут все ясно — или должно быть ясно — как день. И он возьми да брось учебу и давай беспризорничать. Представляешь себе: хотел до всего дойти своим умом. Конфликтный ребенок. Ночевал где попало — у друзей, в парке у Альмендареса, на автобусном вокзале. На трудности с учебой наложилось непонимание моей сестры Габриэлы. Его мать ненавидит всю солнечную систему до последней планетки и последнего спутничка. Ей на долю выпало счастливое детство, а за ним — черт знает какое отрочество и юность, которой и врагу не пожелаешь. Отчаяние ввергло ее в пучину фундаментализма. Лет десять назад ее прибило к храму подпольной секты Свидетели Света Божия, где ее научили, что ненависть — зачаточная обратная форма любви ("гниль плода таится в корне"). Она неверно истолковала этот тезис (и без того довольно путанный) и сосредоточила свою ненависть на двух людях, которых сильнее всего любила и которые ее сильнее всего любили на белом свете: Исмаэлито и мне. Одним махом она вычеркнула нас из жизни. Как-то утром, в апреле 1996 года, я нашел племянника спящим в подъезде этого дома. Он дрожал. Я привел его жить к себе. И отправил в душ. В тот день я сварил ему котелок черной фасоли. А увидев его сухие губы, поставил рядом с дымящейся миской кувшин умопомрачительно холодной чамполы. Какая радость на голодный желудок? Мы переставили мебель в маленькой комнате, чтобы уместилась кровать и тумбочка с лампой, и там он провел первую ночь. Исмаэль проспал девятнадцать часов подряд. Когда Габриэла от сына узнала о нашем союзе, она прокляла нас. Больше мы о ней не слыхали. Исмаэль спросил: "Почему она меня ненавидит?" И я ответил: "Потому что она ненавидит себя". Исмаэль — истинный Антунес, с ног до головы. Я счет потерял его девушкам. Последнюю зовут София. Она живет с матерью в Парраге, то есть у черта на рогах. Я люблю своего племянника. И он меня любит. Нынче у меня не очень много друзей осталось. Была пара недотеп, но я их стороной обхожу, Лино, изолируюсь. Если вижу их на улице, прячусь за газету, будто мне интересно читать про войну в Ираке. Поэтому я меняю личности. Это весело. И здорово помогает в личных вопросах. Не устаю повторять Исмаэлю: если не можешь решить проблему, закопай ее. Засыпь землей. Учись у страусов. Правда? Не ври. Ты прочел всю тетрадку? Ух ты, мне аж страшно. Да, я вырвал страницу. Сорок шестая? Ну, наверное, если ты так говоришь. Сорок шестая. Там я писал про одну гаванку, которая меня никогда не замечала. Нет, она не из нашего района. Але?

Лино, але? Лино. Лино. Мать-перемать. Вот поэтому не люблю говорить по телефону.

У Лино была на этот счет своя присказка: некоторые двери лучше не открывать, и не из страха перед неизвестностью, а совсем наоборот. Он пришел к такому заключению в возрасте, когда многие истины уже недорогого стоят, ведь смерти, даже запоздалой, не бывает интересно, чему мы научились у жизни. Вот уже довольно давно он страдал недугом, с которым разве что безответственные типы могут мириться без стеснения: недержанием мочи. Наедине с собой он сокрушался, что не умер, когда выпадала такая возможность, а выпадала она не раз на его невыносимом суровом веку. Лучше бы он сдох от меланхолии, схоронив Маруху, — теперь он даже не мог отыскать дорогу к ее могиле в лабиринте кладбища. После нескольких семейных подзахоронений у него все перепуталось, и он уже не помнил, покоится она в пантеоне семейства Катала или семейства Санчес, — тем более что в один из двух вселились почти триста фунтов Тони Чавеса, великана, мастера каннеллони, который в 1989 году не пережил второго инфаркта и умер, затачивая нож в кухне ресторана "Анды". Но жизнь не всегда справедлива к тем, кто справедлив, и подчас назначает жестокие наказания — вроде вечности.

Из всех его сфинктеров подрасслабился только мочевой пузырь. Он предпочел бы скоропостижную смерть от несчастного случая, кровоизлияние в мозжечок или тромбоэмболию легочной артерии, но вскоре понял, какое это страшное несчастье — крепкое здоровье. Он, беззубый, кривой, иссохнет по́ра за по́рой, и родственники узнают о его кончине, унюхав в коридоре, поверх аромата квисквалиса, колбасную вонь, какую источают старые псины. Через трое суток Офелия, или Долорес, или лейтенант Рохелио Чанг, или дурачок Тото, или близнецы Владимир и Валентина обнаружат, что в жалюзи тычутся два стервятника. Поэтому он питал слабость к квисквалису, забавному ползучему растению, скрутившему воедино канализационные трубы и телевизионную антенну; при убывающей луне оно полнило сад мятным запахом. Лино спал некрепким сном на краешке матраса в позе эмбриона. Сухая кожа обтягивала скелет, но местами собиралась в морщины, словно на дурно сделанном ковре. Его тело превратилось в комод, в расшатанное кресло-качалку. Так он и сказал Мойсесу, когда обратился к нему за каким-то медицинским советом:

— Мойсес, я расшатанная качалка. Маруха была права: некоторым жизнь в тягость, потому что все никак не заканчивается.

— Ты здоров как бык, соседушка.

— Как бык на бойне.

Однажды Лино отважился отпустить шутку о своих ключицах: сказал Валентине, что по нему кафедра анатомии плачет. "Вылитое чудо-юдо", — пожаловался он и расстегнул рубашку, чтобы показать свои кости. "Махатма Ганди и тот покрепче тебя", — сказала внучка, и его обдало стыдом. О сердце он знал меньше, чем о костях, потому что предсердия не подавали никаких признаков износа, кроме редких приступов тахикардии, в отличие от ребер, булавками вонзавшихся в печенку, и позвонков, скрипевших, словно дверные петли, когда прихватывало позвоночник и от колющей боли он кусал края матраса.

— Вот ведь блин! — воскликнул он, обнаружив, что подгузник из газет не сдержал половодья его почек.

Лино терпеть не мог пятницы, как, впрочем, и субботы с воскресеньями: если газеты не доставляли, он был вынужден ютиться на полу, на расстеленном покрывале, опасаясь, что во сне пустит струйку мочи. К тому же по выходным домашний улей так и гудел: четыре трутня, восточных земляка Чанга, слетались играть с "начальником" в домино, всюду вились шумные пчелки-подружки Валентины во главе с царицей Идалмис, своенравной невестой Владимира, и время от времени без предупреждения заявлялся какой-нибудь кадет Военной академии в полной уверенности, что ему здесь дадут стул, тарелку и вилку с ножом.

В ту пятницу, 31 октября, Лино выбрал гингемовую рубашку в белую клетку без одной пуговицы. Накануне вечером он обмакивал хлеб в молоко и капнул на лацкан синей рубашки; правда, тут же тщательно застирал и повесил сушиться за окном, но ветром ее унесло во двор. Косой дождь поливал без разбору. Комната Лино находилась в глубине квартиры; от двери до стены, граничившей с задней стенкой соседнего здания, в ней было от силы метра три, и гроза не отдавалась в ее вечном полумраке. Ураганные порывы все же освежали забродивший в четырех стенах, пахнущий уксусом воздух. Той ночью, уже не впервые, Лино, луковицей вросший в простыню, видел сон, делавший, если учесть его статус вдовца и вдобавок пуританина, честь его воображению. Он шагал по коридору роскошного отеля с хрустальными люстрами, открывал дверь за дверью, и за пятой его ожидала поистине величественная сцена: под полуденным солнцем атлетическая, умопомрачительная, обтекаемая Эстер Уильямс выделывала пируэты в бассейне, превосходящем небо сияющей синевой. Лино проснулся от икоты. Блуждающий, истерзанный и немощный, он

целую вечность не мог сообразить, что он не герой этой грезы, а букашка, угодившая в паутину. Ему не удавалось выпутаться из простыни. Кожа и ткань сплавились в студенистую слюну с примесями пота и мочи. Наконец, он тремя неверными шагами перешел комнату, распахнул окно, чтобы глотнуть свежего воздуха, и увидел синюю рубашку внизу, в грязи. Икнул. В зеркале лужи мелькнуло лицо Росы Росалес.

Лино и Маруха бывали на посиделках в кафе “Буэнос-Айрес” не реже раза в месяц, по воскресеньям. Кабачок представлял собой пахнущую бисквитами пещеру, украшенную гирляндой красных лампочек, гобеленами с нигерийскими львами и рядами синих и зеленых бокалов толстого стекла на полочках, по вкусу статной Росы Росалес, владелицы заведения. Маруху впервые привели в кафе подруги, в середине пятидесятых, и она предложила Лино отметить там вторую годовщину свадьбы. В те годы Лино мог похвастаться безошибочно креольской, хоть и слегка старомодной, элегантностью: лаковые ботинки, гамаши, брюки со стрелками, двубортный пиджак и испанский берет, предпочтительно светлый. С самого дня открытия “Буэнос-Айрес” окружала будоражащая аура подполья и преданная клиентура, иногда приносившая выпивку с собой под мышкой, потому что истинный смысл погребка заключался в веселье, а не в обогащении. Может, поэтому он и выстоял против национализации в шестидесятые и идеологических чисток, душивших частную инициативу на Острове. Никто из соседей не выдал бурлящую милонгами берлогу — зачем, если там с них не брали ни сентаво за мечты, которые, как известно, дело неприбыльное? Завсегдатаи принимали правила игры, начертанные над главным входом, и составляли своего рода братство — не требовавшее, впрочем, даже здороваться в дверях кафе. Каждый по-своему толковал принцип не напрашиваться в чужие компании, но хранить общие тайны. Роса подавала пирожки со шпинатом и отменно поджаренные пшеничные крокеты. “Хорошо, что тебе все едино — что полицейский, что вор”, — говорила Маруха, отмачивая Росины кутикулы в кастрюльке с теплой водой. Росалес протягивала ей свой стакан рома, потом отпивала сама и рассказывала про бывших любовников. Они доверяли друг другу. Перемывали косточки мужикам.

Лино постарался выветрить из памяти августовский вечер 1958 года, когда Маруха с Росой танцевали под танго Карлоса Гарделя, но отобрал и сохранил пару самых ярких моментов, потому что вся сцена представляла собой одно из считанных доказательств независимости или отваги, когда-

либо выказанных каждым из них двоих, и могла пригодиться, чтобы восхищаться друг другом в воспоминаниях. В кафе никого уже не оставалось, и Маруха сама выбрала пластинку, сдвинула столы, чтобы освободить побольше места на танцплощадке, и горделиво обняла подругу за талию:

— Потанцуем?

Роса ждала ее, закутавшись в манильскую шаль. Она приняла вызов. Они сцепились в дуэли дерзких, мужских взглядов, переплетались ногами, вламывались бедром меж бедер, и вела их уже не музыка, а биение костного мозга, которое они ощутили, сойдясь грудь к груди. Они не отпрянули друг от друга, когда пластинка умолкла и их пропотевшие тела попали под свет синей лампы, зажженной Лино в наивной попытке спугнуть чары, и длили объятие в такт мелодичной тишине, мешая страх со сладостью запретного наслаждения. Лино сказал жене, что пора идти. На долю секунды Маруха оторвала взгляд от губ Росы и ответила, что лучше останется. Она запустила слова дугой, будто разбрасывала золотой песок с утеса. Тон голоса выдавал единодушие, не обещавшее ничего хорошего.

— Ты иди, — сказала она.

Лино опустил глаза.

Маруха вновь вперила зрачки в рот Росы. И сказала:

— Потанцуем?

Улица Арамбуро словно вымерла, а Конкордия вела к кварталу Пахарито. Лино избрал путь мести. Прямо на южной границе района борделей, в начале вереницы баров, где слепой Техедор пел болеро о несчастной любви из каждого проигрывателя, сутенеры рисовались в кабриолетах, а карманники играли с полицейскими в кости на спертые нынче же вечером бумажники, дешевая китаяночка подцепила Лино на крючок и затащила в кабину раздолбанного грузовика неподалеку.

— Я сегодня первый день, — пояснила она, расстегивая ему ширинку неумелыми пальцами.

— Я тоже, — ответил Лино.

— Уж извини, но нет у меня лучше места для минета.

Китаяночка справилась с работой на славу.

Дома Лино принял душ. Улегшись на диване в гостиной, он стал погружаться в воспоминания о медвяных восточных вишнях, все еще приторно отдававшихся у него в горле, но удовольствия в этом мире редко оказываются незамутненными — часть вторая вышла неудачной: только китаяночка раскинула ноги и с грехом пополам устроилась в памяти, чтобы быть вылизанной, у Лино началась жуткая, невыносимая икота. Он бросил мечтать и принялся листать журнал. Гвоздем номера был фоторепортаж о приезде Эстер Уильямс, красавицы-плов-

чихи, начинающей на днях выступления с программой водного балета в гаванском отеле “Хилтон”. Лино незаметно убаюкался, мечтая, как пойдет туда. Оскорбленная ярость пьянит сильнее горькой обиды. В новом сне Эстер Уильямс с китаяночкой плавали голышом, а он тем временем мчал на кабриолете вдоль призрачного Малекона. Поздним утром Маруха Санчес явилась с сумкой продуктов, занялась рисом к обеду, не чувствуя за собой вины, и так подмигнула мужу, что жизнь разом стала на место.

Все разыгралось еще раз, через далеких сорок четыре года, в зеркале лужи, оставленной дождем под окошком. Лино взбаламутил поверхность упавшей синей рубашкой и дождался, чтобы улеглись круги игрушечных волн. Снова отразившись в воде, он понял, что и на сей раз перебирание грехов не означало приближение смерти, потому что лужа со всей ясностью показала его пронзительную физиономию. “Надо сходить за газетой”, — вспомнил он. Вдруг разом прошла икота. Разом или чудом.

— Ганди, скажет тоже! — фыркнул он.

ВТОРНИК, 11 НОЯБРЯ 2003 ГОДА. *Внутри ночи есть ночь*, пишет Вирхилио Пиньера. Внутри родины тоже есть другая родина, внутри города — город, внутри человека — человек. Гавана раскрывается в свинцовом молчании кварталов. У многих гаванцев и гаванок вся жизнь проходит в ханжеском равнодушии. Им не под силу нарушить ни одной границы, Исмаэль: это те самые люди, что усаживаются на балконах и смотрят сверху вниз, как идет голубка-грешница, петух-задира, бродячий пес-нахал, гордая кобылица-негритянка. Точно тебе говорю: они спят на усталых простынях, свернувшись в клубок, не снимая носков. Им даже сны не снятся, и каяться им не в чем. Незавидная участь! Весь город стал прибежищем сборищу неудачников: это пустые существа, плененные в лабиринте квартала, угла, сквера на соседней улице и в доме — четыре высокие стены с засохшей лепниной: на северной стене — лебедь; на южной — два бенгальских тигра; на восточной — образ отца-основателя в кедровой рамке; на оставшейся — пантеон портретов, где круг света режет головы хорошо причесанным покойным родственникам. Бумажные розы в банке из-под майонеза — наши бессмертники, безжизники. У фарфоровой балерины не хватает ноги или трех пальцев на руке или дюжины ягод малины, которые она когда-то в молодости собрала в корзинку. На эту улицу сладострастие и не заглядывало. Это самоудовлетворенное царство той Кубы, которая тоже — Куба, хоть ей и нечем похвастаться, кроме медленных кресел-кача-

лок: на том свете духи не изменяют привычке качаться — скрип-скрип, скрип-скрип, — пока не уснут. Мертвые тоже умирают, племянник. Виновата жара. Чесотка апатии, неизлечимая проказа безволия. Все откладывается на завтра. Завтра, лучше завтра. Завтра. Мы, кубинцы, довольствуемся полуложью, скрытой в каждой полуправде. Как пагубна наша страсть к внешнему благополучию. С детства нас выдрессировали, что грязное белье не стирают на людях. У меня болят суставы. Мужчин в этой стране в ужас приводит нежность, хуже скорпиона или волосатого паука. Им невмоготу чувствовать себя хрупкими, слабыми. В этом городе никто никого не прощает: каждый варится в своем котле, в своем хлеву.

Настоящий мужчина не лазает в колодец. Настоящий мужчина не ест сердца и супа (если только суп не с порохом). Настоящий мужчина не плачет. Настоящий мужчина не дрожит. У настоящего мужчины не потеют руки. Настоящий мужчина не натирается мочалкой. Настоящий мужчина не идет на попятный. Настоящий мужчина ни в чем не раскаивается. Настоящий мужчина не грызет ногти. Настоящий мужчина не боится тюрьмы. Настоящий мужчина не покупает цветы и не принимает в подарок. Настоящий мужчина не душится. Настоящий мужчина не ссучивается. Настоящий мужчина не предает. Настоящий мужчина наставляет рога, и хули. Настоящий мужчина не играет в домино с бабами. Настоящий мужчина чешет пальцы на ногах. У настоящего мужчины там грибок. Настоящий мужчина харкает вдаль. У настоящего мужчины большой. Настоящий мужчина не лижет леденцы. Настоящий мужчина не ест конфеты, разве только зубодробильные. Настоящий мужчина никому не дает хватать себя за зад. Настоящий мужчина не позволяет бабе быть сверху. Настоящий мужчина сам всегда сверху. Настоящий мужчина не боится нагнуться за мылом. Настоящий мужчина носит майку. Настоящий мужчина не гладит. Настоящий мужчина ненавидит салаты. Настоящий мужчина не носит обручальное кольцо. Настоящий мужчина не поворачивается спиной. Настоящий мужчина не мочится сидя, настоящий мужчина вообще не мочится, он отливает. Настоящий мужчина не дает себя облапошить. Настоящий мужчина не смотрит бразильских сериалов. Настоящий мужчина не ходит на балет и не слушает классическую музыку. Настоящий мужчина носит семейные трусы. Настоящий мужчина не спит в пижаме. Настоящий мужчина не исповедуется. Настоящий мужчина не стает на колени в церкви. Настоящий мужчина не страдает геморроем. Настоящий мужчина не пьет холодное молоко. Настоящий мужчина не пьет джин. Настоящий мужчина не ходит на цыпочках. На-

стоящий мужчина не купается в бассейне. Настоящий мужчина не любуется закатами. Настоящий мужчина не танцует рок-н-ролл. Настоящий мужчина не читает стихов ни себе и никому. Настоящий мужчина не красит волосы. Настоящий мужчина не покупает желтые рубашки. Настоящий мужчина не носит мокасины и белые носки. Настоящий мужчина не мажет подмышки дезодорантом, только содой. Настоящий мужчина не милый и не смешной. Настоящий мужчина не носит серьги. Настоящий мужчина рыгает. Настоящий мужчина не говорит тостов, только поминает покойников. Настоящий мужчина не прощает врагов. Настоящий мужчина ненавидит парчис. Настоящий мужчина мухлюет в кости. Настоящий мужчина не придуривается и не носит челку. Настоящий мужчина не мажется бриллиантином. Настоящий мужчина не дает себя колоть в зад, только в предплечье. Настоящий мужчина не слушает радио "Народная энциклопедия". Настоящий мужчина не слушает и радио "Часы". Настоящий мужчина не играет с детьми. Настоящий мужчина ходит козырем. Настоящий мужчина не смотрит искоса. У настоящего мужчины нет талии. Настоящий мужчина не моет локти. Настоящий мужчина не ест яйца вкрутую. Настоящий мужчина не прикрывает рот, когда зевает. Настоящий мужчина ни за что не сожжет фасоль. Настоящий мужчина стряхивает два раза. Настоящий мужчина сам не пакует чемоданы. Настоящий мужчина не ходит с папкой. Настоящий мужчина не ест варенье. Настоящий мужчина глотает, не прожевывая. Настоящий мужчина накалывает русалок с титьками. Настоящий мужчина не подмигивает. Настоящий мужчина не качается в плетеном гамаке. Настоящий мужчина любит только свою мать, святую, пречистую. Настоящий мужчина не моется под дождем. Настоящий мужчина защищает свою сестру. Настоящий мужчина не носит контактные линзы и бифокальные очки. Настоящий мужчина не медбрат. Настоящий мужчина не массажист. Настоящий мужчина не психиатр. Настоящий мужчина не официант. Настоящий мужчина не стюард, не денщик, не бортпроводник. Настоящий мужчина не танцует один. Настоящий мужчина не пачкает обувь. Настоящий мужчина не бреет другого настоящего мужчину. Настоящий мужчина ест ложкой. Настоящий мужчина режет складным ножом. Настоящий мужчина не выносит вставных челюстей. У настоящего мужчины золотой зуб. Настоящий мужчина ест все, потому что кто ест все — ест дважды. Настоящий мужчина не вздыхает. Настоящий мужчина не жалуется. Настоящий мужчина — настоящий мужчина.

Глупцы! Почему им ненавистна мягкость этого потрясающего чувства, что твои кости тают, этой кисло-сладкой дрожи,

от которой начинаются мурашки и легкое сердцебиение? Послушай меня, Исмаэль. Я серьезно. Я точно знаю — каких бы крутых мерзавцев они из себя ни строили, оставшись в одиночестве, в ванной или в курятнике, когда никто не смотрит, многие такие дрочат, вспоминая бабочку, или закат, или далекий пейзаж, или садовника, который на их глазах полол клумбу роскошных подсолнухов. И заметь, я ничего не имею против дрочил. От Настоящих мужчин у меня сыпь. Они меня раздражают. Меня раздражает эта поверхностная, обязательно чувственная Куба, где имеет значение только видимость, только кто что скажет, эта знаменитая, соблазнительная Гавана, ослепившая многих, кто не знает, что за просоленными стенами она скрывает муравейник предрассудков и бессмыслиц, кусок говна — Настоящего мужчину. Мне не стыдно так говорить. Я вовремя спасся, еще ребенком. Мой ангел-хранитель — нищий, полоумный оборванец, научивший меня ценить нежность. Мудрость рядится в лохмотья. Сегодня отключили электричество. Сумасшедшего сбил поезд. Эстер подарила мне свою скакалку. Я выпустил из рук черепаху, когда перепрыгивал перила, она, бедняжка, должно быть, разбилась о шпалы. Что? Несу невесть что? Что слышно о Габриэле?

— Она примирилась с Богом.

— Я сказал, чтобы заходила в гости, я ведь не кусаюсь.

— Она даже трубку не берет, когда я звоню.

— С тех пор как она связалась со Свидетелями Света Божия, с ней никакого сладу. Папа бы всыпал ей по первое число.

Поселки, которые не на море, застряли в прошлом, Исмаэль. Я много лет не езжу в Арройо-Наранхо. Он меня в тоску вгоняет. Его фантасмагорическое бытие, его некрасивые домишки, его мертвецкий дух. Разве только цветы родителям свезу, они там лежат, неподалеку от кирпичного заводика. Не оставляй меня, не самому же мне с собой опять говорить. Что ты, что ты. Я пойду на улицу. Сяду в парке, надвину на лицо козырек палаткой и не буду грезить об Эстер Роденас. Нет. Сегодня буду грезить о самом себе. Уеду в Брюссель с Элизабет Брюль. Я устал обливаться Кубой. Сам себе опротивел. За моей ночью есть ночь. Вот возьму и пойду.

Владимир тягал гири во дворе. Это был немногословный юноша, которого, казалось, не занимало ничто на свете, кроме укрепления мышц. По наводке лейтенанта Чанга он получал военно-инженерную специальность. Все в семье гордились его блестящими успехами в учебе, но в то же время волновались. Владимир почти не приводил в гости друзей, а редких девушек, в основном не отличавшихся красотой, и вовсе старался скры-

вать. Сколько бы отец за ужином ни пытался вызвать его на разговор по душам, молодой человек благоразумно не выдавал своих привязанностей, известных только его верной наперснице Валентине. Эти строжайше хранимые секреты стали мотивом ожесточенных баталий между двумя враждующими сторонами: близнецами, сплотившимися на почве защиты неприкосновенности личной жизни, и лейтенантом Рохелио Чангом, человеком, чье сердце обычно скрывалось под панцирем догматических принципов. Долорес, Офелия и Лино, не говоря уже о Тото, воздерживались от полемики, чтя отцовский авторитет, но, безусловно, склонялись на сторону близнецов, о чем и сообщали им тайком. С тех пор как в марте 1996 года Рохелио Чанг вышел в вынужденную отставку, принятую им смиренно и с некоторыми угрызениями совести, он направил свой командирский талант на стратегически важный пост — домашний очаг, который, по его разумению, управлялся абы как — во многом по его собственной вине. По его вине Долорес Мелендес стала скрытной и молчаливой, и глаза ее загорались счастьем, только когда она рассказывала детям о годах, прожитых в Лас-Тунас, лучших и самых веселых в ее жизни. Вранье. Все вранье. "В Лас-Тунас, жена, не веселее, чем на погосте". После опасных родов она возненавидела жару, пот, пауков, переменчивую погоду и микробов. По его вине Долорес мыла руки по десять раз на дню с тщанием ипохондрички и по его вине не встречала в дверях его однополчан, когда те приходили играть в домино. По его вине она отдавалась ему с видимой неохотой, будто платила хозяину за оказанную услугу. По его вине Валентина бросила учебу в Гаванском университете и устроилась в косметический магазин для туристов, чего Чанг не одобрял, поскольку эта работа обеспечивала дочери финансовое положение, о котором он со своей ежемесячной пенсией не мог и мечтать. Валентина приводила сокрушительные доводы, когда отец осмеливался сделать ей замечание: затыкала ему рот пятидесятидолларовой купюрой. Ты ей, негодяйке, слово, а она тебе десять. По его вине дочка пропадала ночами; вернувшись, вяло чмокала его (он ждал в гостиной, окопавшись в кресле), причем иногда от нее несло спиртным, и уходила в комнату, не объяснив причин опоздания. В довершение всех бед по его вине от него уплывал Владимир, его надежда, солдат, призванный завоевать все славные награды, каких он сам не добился, несмотря на отчаянные усилия сделать с одобрения начальства крепкую военную карьеру. По его вине, по его величайшей вине.

— День добрый, Владимир, — сказал Лино.

— Привет, Лино. Я тебя разбудил?

— Нет, сынок. Я мало сплю. Как дела у Идалмис?

— Хорошо, дядя, не жалуется.
— Я жду не дождусь внуков. Сильный дождь шел, да?
— Да.
— Ты Тото видел?
— Нет.
— Спасибо.
— За что, дядя?
— Да так, не бери в голову.
— О'кей.

Своевольный, как отец, Владимир унаследовал и окутывавшую Долорес ауру грусти; это смешение таких, на первый взгляд, противоречивых черт вызывало у Лино особую симпатию и жалость, поскольку он подозревал, что молодой человек разрывается между требованиями строгого, мужского, даже мачистского кодекса поведения и велениями мягкой и тихой духовности. В детстве Владимир много времени проводил с Лино: тот каждую субботу водил их с Валентиной и Тото в мороженицу "Коппелия" под открытым небом лакомиться шоколадно-клубнично-ванильным мороженым "Три грации" или в детский кинотеатр "Пионер". Перед сном, в девять часов вечера, он читал им рассказы Доры Алонсо. Валентина очень быстро, едва повзрослев, наобум кинулась искать свой путь, не прося ни у кого совета, желая самостоятельно добраться до сверкающего мира ее мечты. Пока они с братом устанавливали новые границы, третий внук все сильнее привязывался к Лино. Как и предсказывал его отец, Тото навечно застрял в возрасте семи лет, что касалось умственного развития, хотя тело, где обитало такое простодушие, благополучно достигло никчемной зрелости. И все же, думал Лино, что-то, наверное, случилось с Владимиром, когда он шагнул в круги отрочества, что-то скрытое, невыразимое, и так сильно ударило по их отношениям, что они совсем отдалились друг от друга и ни один не предпринял попытки к новой дружбе; осталась только элементарная вежливость да нормы общежития, которые лейтенант Чанг попытался внедрить, чтобы вновь взять на себя командование плывущим без руля и без ветрил домом, где под одной крышей уживались молодая вдова, неказистый дурачок, проблематичные брат с сестрой, молчунья, командир без войска и ни на что не годный старик.

— Который час, не знаешь? — спросил Лино Владимира. — Что-то я заспался, по-моему. Какой-то странный день, правда?

— Часов десять, — ответил Владимир и навесил кольца на стальной турник. Тренировки во дворе составляли его единственную страсть.

Лино закрыл окно.

— Ты тут, дедушка? — услышал он голос Офелии.

Лино улыбнулся. Племянница всегда называла его дедушкой, если ей что-то было нужно. Он убрал газеты под койку.

— Не входи, дочка.

— Не вхожу.

По коридору прошел Тото, дудя в рожок: три ноты, всегда одинаковые.

— Что я говорила? Что дождь будет, как третьего дня, помнишь? С десяти вечера до пяти утра поливало, просто потоп. На улице какое-то болото, чтоб меня, — сказала Офелия.

— Люки засорились?

— Засорились.

Лино почесал под мышками. Под ногтями осталась стружка от фурункулов.

— Офелия, который час? Владимир говорит, около десяти...

— За газетой пора, за "Гранмой". Возьмешь с собой Тото?

— Без рожка.

— С рожком. И давайте быстрее, дедушка. Ты проспал.

Лино услышал ее смех.

— Сегодня не бывать тебе первым в очереди.

— О'кей, — сказал Лино.

Владимир состроил смешную рожицу.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 НОЯБРЯ 2003 ГОДА. Мы все забываем свои роли. Сегодня я должен был облечься в шкуру Эдуардо Санпедро. Вот то, что я искал. Страница 41. Какая прелесть. Имя: *Рафаэла.* Фамилия: *Томей де ла Фуэнте.* Прозвище: *Мамочка* (личное). Возраст: *тридцать девять лет (в 1987 году).* Телефон: *не имеет.* Особые приметы: *горячая и без предубеждений; любит брать инициативу на себя в какой-то момент перепихона, но, в конечном итоге, внезапно и с наслаждением подчиняется мужчине.* Профессия и/или умения: *секретарша зама по АХЧ больницы имени Мануэля Фахардо. В постели совершенно слетает с катушек. Прилично играет в домино.* Родня: *часто говорит о двоюродной сестре, которая была Звездой Карнавала в Ольгине в 1967 году, имеет белого кота, живет одна.* Последний Отмеченный Адрес: *Арамбуро, 126, вход со двора, № 9, последняя дверь.* Первая Встреча: *Площадь Революции, первое мая, под палящим солнцем. Международный день труда. Познакомились у киоска Профсоюза Строителей, где торговали самыми холодными мальтами. На ней была пропотевшая блузка.* Последняя Встреча: *у меня дома, в сентябре 1987 года, долгая ночь с дождем и градом. Мы слушали пластинку Бола-де-Ньеве.* Первый Любовник: *Доктор Эдуардо Санпедро, для нее вдовец с тремя детьми – одиннадцати, девяти и двух лет от роду.* Состояние либо Степень Испорченности Отношений в Настоящее Время: *Любит (?). Не знаю.* Заключительные замечания: *помнить, что она боится щекотки и являет-*

ся поклонницей исполнителя болеро Ньико Мембьелы. У меня аж слюнки текут. Две тысячи три минус тысяча девятьсот восемьдесят семь будет шестнадцать. Тридцать девять плюс шестнадцать будет пятьдесят пять. Отличный возраст!

Крылышки каждого носа бьются о воздух, ища цветок невидимый; ночь тысячи лепестков перемалывает, ночь перечеркнута параллелями и меридианами запахов, тела встречаются в запахе... Ночь – это манго, это ананас, это жасмин, ночь – дерево напротив другого дерева с неподвижными ветвями, ночь – ароматная пощечина... Ах, Вирхилио, такой тощенький и такой мудрый... Я закуриваю "Популар" без фильтра. Говорю сам с собой через Эдуардо Санпедро. Пусть спичка обожжет мне пальцы, и тогда я выкину ее в пустоту. Вот что я сделаю, делаю. Представляю себе падение. Жду взрыва. Тишина. Табак отдает древесиной. Плохо горит. Искрит. Я вынес стул на балкон. Никто не звонит, не предлагает работу. В последний раз я играл заинтересованную аудиторию на круглом столе, где обсуждали опасность *Глобализации развивающихся экономик третьего мира*, и уснул, когда говорили про талибов и падение башен-близнецов в Нью-Йорке. Меня уволили. У меня нет ни песо. Лают собаки. Далеко лают. Лала, Лола и Лула скребутся в стену кухни.

Кто горюет обо мне, кроме тебя, Аристидес Антунес? Я убежден, что мебель видит. Глаза есть у кресел в гостиной и у тумбочек в спальне, у холодильника и унитаза, у стен в столовой и у мозаики на полу, у дивана и у лестничных перил. За мной наблюдают две Цыганки Тропиков Виктора Мануэля, Флора Рене Портокарреро, маленькая репродукция Михареса. Меня видят мои фотографии. Я вижу себя в них. Где эти ребята, О'Доннел, Симбель, Элизабет, Мериме? Я хочу свинтить отсюда, исчезнуть. Мне несколько раз снилась моя смерть. Соседка с балкона напротив раздевается для меня и дрожащими пальцами манит лететь к ней, искусительнице. Когда я протягиваю руку, мои ноги отрываются от пола. Я парю. Взлетаю. Кружу над крышами Гаваны, сидя, словно факир, на невидимом ковре. Аристидес Антунес, сын Хосе Исмаэля и Габриэлы, скажи, что это не поезд на полпятого так гудит, скажи, что я жив, что я жесткий, непотопляемый мерзавец, скажи, прошу тебя, *целуй меня, целуй меня крепче, будто эта наша последняя ночь.* Выкурю-ка я еще одну. Я дую на спичку. Зарываю ее в цветочный горшок. Хватаю тряпку и начинаю протирать фарфоровую статуэтку на полке. Жестко. Протираю фоторамки. Вазы протираю. Протираю пол на лестничной площадке. Протираю железную дверь, кресло, книжный шкаф. Я знаю, сейчас начнется представление. Я должен присутствовать на премьере. Я автор.

Ларри уже на сцене. Он берет пластинку Анхелито Диаса, ставит на старый проигрыватель “РСА Виктор” и подпевает “Увядшей розе”. Он знает, что скоро грянет ужасный пир его одиночества. Беззащитно обнимает швабру. Они приближаются. Я их вижу. Инженер О’Доннел приглашает на танец Элизабет Брюль. Она жалуется на артрит. Ноги не слушаются. Элизабет выглядит потасканной, хуже розы, которую она прикрепила к декольте. Танец — жалкое зрелище. Абдул Симбель рассказывает Пьеру Мериме о последних крушениях его ливанской флотилии: в урагане на Ямайке он потерял четыре торговых судна. Абдул Симбель ползает по кругу. Абдул уменьшается, истаивает. А Пьер Мериме греет руки над плитой в кухне. Кричит, что хочет есть. Просит хлеба. Я сказала, хлеба нет, говорит Элизабет Брюль и падает навзничь.

Эдуардо Санпедро плачет на диване. Пласидо Гутьеррес приносит ему чашку липового чая. Он голый. Он хромает. Нейрохирург пепельного цвета. У него на плече сидит ящерка, она достает платок в горошек и мягко сметает с него пыль. Это не ром, а крысиный яд какой-то. Я пью. Мне надлежит пить. Пить до смерти. Вирхилио говорит из моей глотки: *Все забывают свои роли: какое счастье, что сегодня не нужно играть! Публика возмущается, и начинается соитие русалок...* Как там дальше? *Мне нужна любовь, полотенца, памятники. Осьминог испускает чернила и плачет.* Я оставляю свои другие “я” в гостиной, возвращаюсь на балкон и кричу луне, что она разжирела. Эхо стирает сцену божественным дуновением. Я обезвкусил. Плохой день. Завтра я проведаю Рафаэлу. Позвонить учительнице Руис? Сивой? Барбаре! Хулиета и Мерседес Косточка в преимуществе, потому что живут рядом. Бедняжка Мерседес: всегда была у меня последней картой в колоде. Попрошу Лино со мной поехать.

— Это ты, Исмаэль?

— Привет. Слушай, дядя, там на лестнице София, моя девушка.

— Я тебе приготовил густую чамполу, сладострастную, как воробьево семя. Или выпьешь рома?

— Она стесняется зайти. А мне жалко отправлять ее обратно в Паррагу.

— *Ночь – это манго, это ананас, это жасмин, ночь – дерево напротив другого дерева с неподвижными ветвями...*

— Можно, София сегодня переночует у меня?

— У тебя и у меня, если тебя ей не хватит. Ты плохо питаешься, а это аукается в постели...

— Постыдился бы, дядя... Только послушайте его... Она же тут, на лестнице...

— Пусть все слышат: у всего в этой жизни есть предел и цена, даже у нелюбви. Лола, Лала, Лула, старые мышовки! *Утро вечера мудренее, Тота? Да, Табо, утро, а потом еще утро... И еще вечер... И еще вечер... И еще вечер и еще утро... И еще утро и еще вечер... И когда Табо произносит "еще утро", занавес начинает очень медленно опускаться. Ночь – ароматная пощечина...* Попроси Софию переехать к тебе насовсем. Не упускай ее. Привяжи ее к ножке кровати. Возьми мой ремень: угрожай, если захочет бросить тебя. Бей ее.

— Иди к себе. Не хочу, чтобы София тебя видела в таком состоянии.

— Я позвоню Элене Руис. Здравствуйте, учительница, это я, доктор Санпедро... Занавес, Исмаэль, опускай занавес...

— Давай уже, дядя, кончай болтать и исчезни. От тебя техническим спиртом разит.

— Подумаешь!.. *А жена Антонио ходит вот так... Арривидерчи, Рома...* София, София, угораздило же тебя жить в Парраге! Я пьяный. Очень.

Все мы забываем свои роли.

Тем утром в очереди за газетой Лино стал за хвастливым разговорчивым стариком, громко честившим муниципальных бюрократов бестолочами за то, что они вовремя не прочистили уличные люки. Никто не вслушивался в его монолог, в целом, довольно связный. "Вы последний?" — спросил Лино. Он и раньше видел его в окрестностях, в переулке Амеля или вестибюле радиостанции "Прогресо", всегда с окурком в зубах. Своеобразный субъект, экстравагантный трутень, видимо, переживший крушение улья, он нахально, словно шмель, летал по району в поисках новых уютных сот или лишенной трона царицы пчел. На нем были штаны на флуоресцентных подтяжках, вольготно лежащих поверх желтой футболки, и, казалось, он не боялся выглядеть посмешищем в бейсболке, которая на каком-то древнем матче, может, и выполнила свою благородную задачу, но в то утро смахивала больше на шапку, какие нахлобучивают на тряпичные головы огородных пугал. Ноги он волочил бесшумно, потому что был обут в веревочные сандалии. "Перегаром шибает", — подумал Лино.

— Вы последний?

— Да, Колдун, я последний, а толку-то. "Гранма" кончилась, — отвечал старик в подтяжках и ни с того ни с сего два раза хлопнул в ладоши. — Меня зовут Ларри По.

— Ты меня знаешь? — удивился Лино.

Ларри не ответил. Он только что увидел выражение ужаса на лице дурачка, видимо, напугавшегося его напористых

речей о люках и наводнениях. Тогда он выхватил рожок у него из рук и принялся дуть, фыркая, как тюлень, пока не извлек из инструмента два простуженных грустных гудка, чересчур грустных для сияющего дня, занимавшегося после вечернего ливня. Он вскидывал колени в диковинном танце, прыгал, словно кенгуру, и страшно выпучивал глаза, стараясь достойно перевоплотиться в шута. В очередном пируэте сандалия с правой ноги полетела в витрину газетного киоска; левая, влекомая центробежной силой, отрикошетила в лужу на тротуаре. Тото смеялся. Бесшумно.

Лино смотрел на своего любимого племянника, боясь, как бы его реакция не оказалась слишком сильной: раскосое лицо, усыпанное угрями и фурункулами, светилось чистой радостью. У мальчика были плохие зубы, нос картошкой, перхоть. Подудев несколько секунд, старик выпустил воздух из легких на пустой, гортанной ноте и сделал реверанс в ожидании заслуженных оваций. Заиндевел в напряженной позе. Только блеск живых глаз давал понять, что это не статуя из папье-маше.

– Я Ларри, – объявил он голосом чревовещателя. – Ларри По, актер театра, кино, радио и телевидения, к вашим услугам: также владелец торговой флотилии, хирург, дорожный инженер, акварелист... И да, Лино, я тебя знаю, хоть мы и не были представлены. Ты вдовец Марухи Санчес, исполнительницы филинга, – добавил Ларри.

Лино замотал головой.

– Как здорово твоя жена пела, дружище... Так и вижу – вот она стоит, облокотившись на рояль, с рюмкой в руке. Необыкновенный был голос... Жаль только, дымила, как паровоз...

Ларри положил руку на плечо Тото и перестал паясничать:

– Знаешь что, приятель? У меня есть барабан. *Пара-пам-пам-пам!* – сказал он и взглянул на Тото: – Серьезно. Красный, отличный тугой барабан. И он твой. Я тебе его дарю. Пошли сходим за ним.

– *Пара-пам-пам-пам! Пара-пам-пам-пам!* – повторил Тото.

– Не сбегаешь за моей сандалией, дурачок?

Парень захлопал в ладоши. Ему понравилось, что его назвали дурачком. Лино подумал, что, даже если племянник сам не мог осмыслить причин своей внезапной радости, надо было полагать, что в глубине чистейшего сердца ему льстил тот факт, что кто-то принял его таким, как есть, и назвал дурачком, просто дурачком, не сталкиваясь с сердобольной, но жестокой необходимостью отрицать очевидную истину: его умственную отсталость – или, иными словами, непробиваемое простодушие.

Ларри посмотрел на Лино. У того сияли глаза.

— Пошли, — сказал он.

И замаршировал, как на параде. *А жена Антонио ходит вот так... Даже на базар так идет...* — напевал он, отбивая дробь на невидимом барабане. Веревочные сандалии были у него за палочки. Тото пристроился в метре за ним. Подражая шагу старика, он терял равновесие и дергался, как марионетка.

— *Пара-пам-пам-пам, пара-пам-пам-пам!*

Импровизированный оркестр пересек улицу Инфанты посередине квартала, под углом сорок пять градусов к бордюру, чудом не устроив автомобильную аварию; звучный визг тормозов оставил в воздухе едкий запах жженой резины. *Даже на парад так идет...* Тото делал сильные выверты бедрами, будто телом подчеркивал слово "так". Убедившись, что они в целости и сохранности достигли противоположного тротуара, Лино последовал за ними, особо не приближаясь, чтобы никто не догадался, что он знаком с этими двумя психами, за которыми увязывались все попадавшиеся на пути бродячие псы, словно крысы за пресловутым дудочником из Гамельна; увидев, что они заходят в подъезд на улице Ховельяр, он наддал шагу. Лай, барабанная дробь и рожок вдруг утихли. *Пара-пам.* Когда Лино Катала заглянул в дверь, за которой исчезли Ларри и Тото, в вышине, на покосившейся винтовой лестнице раздавались только бубенцы заразительного смеха.

Интермедия

(Из "Тетради в красной обложке", 1947,
дневника Аристидеса Антунеса, переписанного самим актером пятнадцать лет спустя после описываемых здесь событий.)

Признаться, сумасбродная затея
нарисовать твой собственный обман...

Вирхилио Пиньера

ЧЕТВЕРГ, 5 июня

(Блаженный Фердинанд Португальский)

Сегодня снова видел ее, и она мне улыбнулась. Дон Гильермо, ее отец, приходил на заводик заказать кирпич для масонского приюта. Эстер пришла с ним. Она все время держала дона Гильермо под руку, но умудрялась отставать на пару дюймов и подмигивать мне, так, чтобы взрослые не заметили наших игр. Она ступала по разбитым кирпичам во дворе, как девчонки перескакивают ручеек с камня на камень, стараясь не замочить мокасины. Папа пообещался доставить кирпич самое позднее в субботу. Попросился с ним: он отвесил мне

щелбан, и мне показалось – он ведь такой наблюдательный всегда, – он заметил, что его сын влюбился. Эстер с отцом уехали на черной машине с белыми покрышками. Я надеялся, что она помашет мне в окошко, но не тут-то было. Даже не взглянула. Вдруг пошел дождь, хотя солнце светило. Вечер по-прежнему был прекрасный. Я удивился, что нету туч. Дождик моросил мелкий. Папа сказал, это Дьявол женится – и мне захотелось стать Сатаной: я представил, как стою у алтаря церкви Святого Антония в день нашей с Эстер свадьбы. Папа врезал мне еще один щелбан, на сей раз прямо по макушке. Потом развиднелось. Плохо спал. Считал, сколько секунд остается до субботы, и сбился на 233, 234, 235, 236... Я, конечно же, представлял Эстер, но и о себе думал. И когда уснул, мне стало сладко.

ПЯТНИЦА, 6 июня

(Святой Марселлин Шампаньят)

Какая долгая, никчемная пятница! Не пошел в школу. Я мечтаю стать актером, а актеру, насколько я знаю, не обязательно уметь решать уравнения и знать дроби. К тому же Эстер ходит в католическую школу, в поселке Калабасар. Чтобы день тянулся быстрее, отправился исследовать Черепашью Заводь на задворках психиатрического санатория Сан-Хуан-де-Дьос. Голыми руками изловил черепаху, чтобы подарить Эстер при следующей встрече. Потом вернулся домой, посадил черепашку в таз и стал помогать папе подсаживать кирпичи в печи. Мне нужно как можно скорее вырасти и жениться на Эстер. Интересно, кстати, что она сейчас делает? Мама приготовила омлет с картошкой и колбасой. Я, дурак, не стал есть: через час уже так оголодал, что ни о чем думать не мог. Когда проснулся, обнаружил, что черепашка удрала. Маму всю ночь наизнанку выворачивало.

СУББОТА, 7 июня

(Исаак и прочие Мученики Кордовские)

Утром приехали в приют на грузовике, доверху набитом кирпичом. Дон Гильермо встречал нас у ротонды на входе и пешком пошел за нами до места, где мы должны были разгружаться. Я нервничал: Эстер нигде не было видно. Приют нагоняет страху. Целая уйма стариков сидит в коридоре и качается в качалках! Не хочу стареть. Это, наверное, сплошное мучение. Я обязан забрать Эстер отсюда. И тут я увидел ее, в зацементированном дворике: она скакала через веревочку. Прыгала на скакалке для меня! Мало-помалу, не привлекая внимания, я к ней подобрался. Не стал упоминать об удравшей черепахе, только предложил сходить на днях на Заводь, которую я недавно обнаружил на задворках психиатрического санатория. Мы поговорили. О кирпичах, о масонах из приюта, о моей мечте стать актером, о монахинях из ее школы, особенно, об одной, которую зовут сестра Элизабет. Я преисполнился отваги и сказал, что люблю ее. Хотел поцеловать. Эстер

убежала, вскинув скакалку на плечо. Вот такие дела. (Неразборчиво.) *Папа крикнул меня. Я забрался в кабину, и мы очень медленно выехали из приюта, потому что вдоль ротонды теперь плелся, волоча тапки, старик и ни в какую не давал нам проехать. Мы терпеливо трюхали за ним. "Все в порядке?" – спросил папа. "Все в порядке", – ответил я. "Заметно, сынок, что в тебе течет кровь Антунесов", – сказал папа и молчал всю дорогу до дома. Наконец нам удалось обогнать старика – а он, нахал, еще и язык мне показал, когда я наивно помахал ему рукой из кабины.*

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 июня

(Мария Божественного Сердца Дросте цу Вишеринг)

Эстер на вкус, как мандарин. В десять тридцать утра этого незабываемого воскресенья, почти у самой задней двери ризницы церкви Святого Антония Падуанского я поцеловал Эстер в губы, не зная, что ее родители околачиваются совсем рядом. Мой отец не любит священников. Он меня крестил, и первое причастие я тоже принимал, но он не настаивает, чтобы я ходил к мессе. Папа проповедует собственным примером. В это воскресенье я отважился войти в храм, потому что знал, что семья Эстер очень религиозная, серьезно относится к таинствам, и я даже вписался в очередь к причастию, не исповедавшись, чтобы стать за ней по дороге к алтарю, перед которым мы когда-нибудь обвенчаемся. Падре Бенито, который меня с детства знает, замешкался, будто не знал, стоит ли класть облатку мне на язык, как на поднос. Вообще-то, я уже целовался с двумя девочками в школе и понимаю, что этот поцелуй нельзя считать настоящим поцелуем, потому что наши губы едва соприкоснулись на несколько волшебных мгновений, но, по крайней мере, он сплотил нас, хотя бы в стыде: после моей дерзости дон Гильермо схватил Эстер за запястье и отбуксировал к черной машине с белыми покрышками. Эстер почти не сопротивлялась, только тормозила подошвами мокасинов, ввинчивая их, словно мул копыта, в мощеную дорожку сквера. Я не знал, что делать. Спрятался. За церковью, в переулке, есть площадка с песочницей, качелями и каруселькими. Увидел, что падре Бенито уехал на мотороллере, подобрав сутану. Залез в гамак и стал сильно раскачиваться. Очень высоко. Я хотел долететь до неба. Потом перестал, чтобы гамак сам потихоньку остановился. К тому времени уже наступил вечер. Я подсчитал, что прокачался целую уйму часов. Вот по чему я буду скучать, когда вырасту: качаться и качаться в гамаке. "На вкус, как мандарин", – сказал я себе.

ВТОРНИК, 10 июня

(Святая Олива)

Два дня не видел ее! Вчера решился сходить к приюту, но очень близко не подошел, боясь быть замеченным. Интересно, ее наказали? Кто-то играл гаммы на фортепиано. Вернулся домой и нашел записку

от мамы: уехала в больницу Абальи, у нее там знакомый врач. "В холодильнике курица с рисом и кувшин чамполы". Папа забыл пачку сигарет на кухне. Свистнул одну. Ни на минуту не перестаю думать об Эстер. Мне нужно слышать ее, трогать ее. Может, напишу ей письмо. Только как передать? Возможно, с папиной помощью. Послезавтра, в четверг, он должен доставить кирпич на картонажную фабрику, которую Васальо строят как раз напротив масонского приюта. Сегодня утром все мои школьные друзья как-то странно на меня смотрели, будто заметили, что я умираю от любви: Эстер они не знают, но наверняка что-то заподозрили. Мой лучший друг Марсель Санпедро сказал, что я очень изменился за последнюю неделю. Ответил, что переживаю за мамино здоровье. "Не умеешь ты врать", – сказал он, и мне захотелось отдубасить его. Сказал, что не стал бы такое выдумывать; маму все выходные наизнанку выворачивало. Хотел кого-то избить. Сдержался. Санпедро мне почти как брат: он меня научил курить, дрочить; даже давал списывать на экзаменах. Чего мне с ним ссориться? Под вечер снова бродил вокруг приюта. Свет не горел. Спустился до полустанка Льянсо и выкурил сигарету, которую с утра носил завернутой в платок. Это была третья в моей жизни сигарета, и на сей раз было не противно. Почти не кашлял. Скурил до конца. Потом пошел по путям. Через два "п" папироса, через два "п" попугай... Весело катят колеса... Метров через триста, на станции Камбо спал нищий, а судя по виду, еще и сумасшедший, и я подумал, что он удрал из Сан-Хуан-де-Дьос. Я бросился бежать, перескакивая со шпалы на шпалу...

ЧЕТВЕРГ, 12 июня

(Святой Онуфрий)

Папа вернулся утром, гудя издалека, и привез Эстер! Он обнаружил ее на выезде с картонажной фабрики, где только что разгрузил тысячу кирпичей. "Тебе куда, милая?" – говорит, спросил он ее. Эстер залезла в кабину. "Я шла повидать вашего сына", – говорит, сказала она. Папа с мамой скоро уехали – им было назначено в больнице Абальи. Когда мы остались одни, я пошарил в спальне родителей и нашел полпачки сигарет. Эстер попросила, чтобы я отвел ее на Черепашью Заводь, "которую ты нашел", где столько лягушек и черепах. Сердце у меня билось, как безумное. Я подумал про сумасшедшего, который разгуливал по поселку. Ей не сказал. По дороге Эстер призналась, что дон Гильермо здорово ее наказал за воскресенье. Она говорила об этом с сестрой Элизабет. Боялась, что забеременела от моего поцелуя. Монахиня успокоила ее. Эстер не особо распространялась, о чем они говорили, но под конец сестра Элизабет ей сказала, что у нас сейчас наступает прекрасная пора, и любовь, плотская любовь, будет одним из самых драгоценных даров, которые Господь дарует нам на всю оставшуюся жизнь. Она посоветовала Эстер быть терпеливой и благоразумной, потому что и Дьявол-искуситель не дремлет и норовит ввести нас во

грех. Мы можем считать ее нашей союзницей. Пришли к заводи примерно в полдень. (Неразборчиво.) *...Целовались.* (Неразборчиво.) *Не могу описать то, что произошло.* (Неразборчиво.) *...поклялся, что никому не расскажу. Могу только сказать, что никогда еще не чувствовал себя таким настоящим мужчиной. Мы вернулись по железной дороге: Эстер сидела у меня на закорках, держась за шею и обхватив ногами мои костлявые бедра; я трусил медленно, как на параде, потому что хотел продлить прогулку верхом. Между полустанками Камбо и Льянсо рабочим пришлось, чтобы сровнять дорогу, выбить кирками проход в толще холма; два утеса метров под тридцать образовывали воронку, на дне которой умещался только идущий паровоз. Место было опасное, потому что пешеходам оставалась только узюсенькая тропка. К тому же по обеим сторонам в овраг сбегали грязные ручейки. Так о чем бишь я: поцелуй № 15, не считая воскресного, произошел у нас на перроне в Льянсо. Всего за четыре часа непрерывных обжиманий мы научились кусать друг другу губы, и где-то до восьмого-девятого поцелуя ей не был противен мой язык. Эстер пообещала, что скоро мы увидимся вновь, и упорхнула к дому. "У меня очень плохо выходит прощаться", – сказала она. Как раз когда проходил поезд на полпятого, я решил выкурить сигаретку, чтобы начать перебирать в памяти все пережитое днем и избежать ужасной опасности забыть какую-нибудь подробность. Я глубоко затянулся и услышал голос: "Для меня одной не найдется, парень?" Я медленно обернулся и увидел протянутую руку. Хозяин руки лежал на земле, ловко укрывшись под цементной скамейкой. Убежище походило на гроб с выпиленной боковой стенкой. Он поднялся на ноги, и я узнал сумасшедшего. Всего пару суток назад я видел его спящим в лохмотьях, и тогда он показался мне хилым бородатым стариком. Я ошибался: это был молодой человек, лет на двадцать старше меня, отвратный, как чесоточный пес, но так же нуждающийся в ласке. Я протянул ему сигарету и дал прикурить. По блеску его глаз я понял, что бояться нечего. Не знаю, почему так легко ему доверился. Нищий курил медленно и с удовольствием, как будто для него ничего важнее не было, чем вот так наслаждаться минутой рядом с себе подобным. Не докурив, он загасил сигарету о подошву ботинка без шнурков и спрятал в джутовый мешок, висевший у него на плече. "Меня зовут Абдул Мериме. Я тоже сходил с ума от любви", – сказал он, глядя мне в глаза. Абдул Мериме шпионил за нами! Вместо ответа я протянул ему еще сигарету. Он не взял. "Спасибо, – сказал он, – но я предпочитаю тешить себя мыслью, что меня угощают сигареткой из жалости, чем пребывать в полной уверенности, что они должны доставаться мне ни за что ни про что. И дураков нет: я припас половину на потом". Абдул Мериме стал мочиться с перрона, явно пытаясь описать идеальную дугу. Я воспользовался затишьем и сбежал: страх опять зазмеился у меня в животе. Я отошел уже метров на десять, когда Абдул Мериме басом пригвоздил меня к месту: "Парень, я*

не отплатил тебе за любезность. Это просто совет. Послушай". Я повернулся назад и, окаменев, уставился на него. Абдул Мериме стряхивал, словно кнутом махал. "Послушай меня. Помни, что такая красота дорого обойдется", – сказал он и, улюлюкая, кинулся в другую сторону. На бегу он бросил фразу, но до меня долетело лишь слово "того". Я не стал прислушиваться. Уже дома я застал трогательную сцену: мама и папа танцевали во дворе, у печей. Из музыки на пустыре было только пение сотни сверчков. (Неразборчиво.) *...Родители закружили меня в пляске, затискали и, смеясь, объявили, что скоро у меня будет братик, "такой же страшилка, как ты". Если, конечно, новый Антунес окажется мальчиком, его назовут Пласидо в честь папиного старого друга (хромого, у которого была велосипедная мастерская недалеко от родников, где из наших кирпичей сложили статую Святой Девы из Кобре); если девочкой – она получит имя Габриэла, в честь мамы. Габриэла Антунес – красиво звучит. Папа весь лучился. Тогда я впервые услышал, как он громко распевает в лучшей манере своего кумира Фрэнка Синатры. Он хотел отпраздновать радостное известие. Откупорил бутылку. "Можешь курить, если хочешь", – сказал он и щедро налил мне выдержанного рома. "За твою мать, за твою сестру или брата, за тебя, за меня и за прекрасную Эстер". Мы сдвинули стаканы. Родители разговаривали, не приглашая меня в компанию; по паре слов, по вздоху я сумел собрать головоломку, которая объясняла переполнявшее обоих одинаково счастье: с самого моего рождения и до сих пор им было отказано в чуде зачатия, а теперь в животе у моей мамы плавало трехсантиметровое существо, не ведая, что творится в трех сантиметрах от его уютного моря. Рыбка. Поэтому они праздновали, что "не промахнулись", как двое ребятишек, выигравших главный приз в лотерею. Мне было радостно ликовать вместе с ними. Никогда раньше мы не были такой веселой семьей; и после такое не повторялось. Мама принесла на стол крокеты из маланги. "Они с пылу с жару. Подуйте сперва. Кстати, сынок, где ты оставил Эстер?" Вопрос повис в воздухе. Я уснул, пьяный. Очень.*

ПЯТНИЦА, 13 июня

(Святой Антоний Падуанский)

День небесного покровителя Арройо-Наранхо. Падре Бенито устроил процессию и во главе нее обошел поселок. Святой шествовал внутри стеклянного колпака на помосте, который четверо мужчин – в том числе дон Гильермо – несли на плечах. Я залез на дерево, чтобы иметь лучший обзор. Мои родители стояли в первом ряду: не то чтобы они были очень уж набожные, но хотели поблагодарить Бога за мамину беременность. Васальо тоже были тут как тут. И мой друг Марсель Санпедро – он толкал инвалидное кресло с непрерывно хлопавшим в ладоши дряхлым дедушкой. Эстер как сквозь землю провалилась. Толпа сузилась, когда процессия добралась до желез-

ного моста в Камбо. Потом снова расплескалась стадом, завернув на улицу Кальсада-де-Бехукаль по дороге обратно в церковь, где и должно было начаться само празднование. Скачки, тир, киоски с мясными бутербродами, сахарная вата. На пустыре у родников, под боком у статуи Святой Девы из Кобре, вырос цирковой шатер. С джипа в громкоговорители зазывали на представление, а карлик на крыше раскидывал листовки: "Жонглеры, акробаты. Антонелла Эквилибристка. Просто Кваша, неукротимая тигрица. Бородатая Малышка. Не пропустите выступление мага Асдрубала Риондры и прекрасной Аннабель". Со своего наблюдательного пункта я увидел, как Абдул змеей поднимается по каменной лесенке, ведущей к полустанку. Он высунулся над землей, ровно в углу железных перил, огляделся, состроил клоунскую гримасу, и скатился кубарем вниз по ступенькам, а потом остался лежать на маленьком перроне. Я было подумал, что он убился: взрыв его хохота успокоил меня. Мне понравилась его выходка. Я улыбнулся.

СУББОТА, 14 июня

(Пророк Елисей)

Говорил с папой. Он обещал, что сходит в приют и постарается что-нибудь разузнать. Вечером он сказал, что ему сказали, что дон Гильермо с семьей внезапно уехали и будут на каникулах до начала июля. Две недели без нее! (Неразборчиво.) Чувствовал себя так паршиво, что открылся Марселю Санпедро. "А ты подрочи", – посоветовал он. Но мне неудобно. Я слишком сильно ее люблю; не могу же я так с ней обойтись.

ЧЕТВЕРГ, 19 июня

(Святой Ромуальд)

Никаких известий от Эстер. Цирковые кибитки снялись с места. Они уже исчезли за поворотом шоссе, а все еще слышались звуки труб и барабанная дробь. После – ветер и птицы, как всегда: гнущиеся сосны, пальма со своим париком из напомаженных листьев. Я так и не сходил на представление. Нам, печальным, заказан вход в цирки. Вечер просидел у заводи. Провалил арифметику, хотя Санпедро подсказал кое-какие ответы. Никаких известий от Эстер: я хотел бы рассказать ей, что у меня будет брат. Своего сына я когда-нибудь назову Исмаэль, в честь "Моби Дика". А если будет девочка, мне все равно: пусть Эстер решает.

СУББОТА, 21 июня

(Святой Людовик Гонзага)

Никаких известий от Эстер. Суббота пролетела. Вечером понял, что за весь день не подумал об Эстер, и обозлился. А если я забуду ее? А если я забуду ее?!

ВТОРНИК, 24 июня

(Иоанн Креститель)

Никаких известий от Эстер. Васальо открыли картонажную фабрику. Родители ходили на торжественное открытие. Я остался дома изучать дроби. Потом мне стало скучно, и я отправился охотиться на китов. Перечитываю "Моби Дика" в пятый раз. Обожаю эту книгу. "Зовите меня Измаил. Несколько лет тому назад – когда именно, неважно – я обнаружил, что в кошельке у меня почти не осталось денег, а на земле не осталось ничего, что могло бы еще занимать меня, и тогда я решил сесть на корабль и поплавать немного..." Папа говорит, что его назвали Исмаэлем в честь персонажа этого романа. Когда у нас с Эстер родится сын, зовите его Исмаэль. Никаких известий от нее. Отправлюсь-ка я поплавать немного по моей заводи...

СУББОТА, 5 июля

(Святые Елизавета, Элиана и Лилиана)

Черт, черт, черт. Горький, проклятый день. Я потерял ее, черт, потерял. У поселковой станции, совсем рядом с булочной, ближе уже к Калабасару, как раз в начале огромного моста через Альмендарес (примерно где у китайцев огороды) нашли труп бродяги. Скорее всего, его сбил поезд. Он дополз до грядок с салатом. Умер, лежа навзничь. Марсель Санпедро утверждает, что видел, как его уносили завернутого в простыню. По описанию я не сомневаюсь, что это тот самый умалишенный, который назывался Абдулом Мериме. Бедняга. Я уж было подумал (захотел), что (чтобы) он стал моим ангелом-хранителем. Я решил отнести ему цветы на полустанок Льянсо и выкурить сигаретку в его честь. Никому не мешало его ужасающее простодушие. На главной стене полустанка, то есть задней, кто-то углем нарисовал пейзаж. Я узнал место: мост, паровоз, река, огородик. Неужели он покончил с собой? Внизу рисунка я разобрал подпись, еле видневшуюся в листьях и закорючках: AM французский акварелист. Под цементной скамейкой, где он обычно устраивался, лежал коричневый пес. Мне захотелось плакать. И тогда чьи-то руки закрыли мне глаза. "Это ты?" – спросил я взволнованно. "Аристидес!" – сказала она. "Эстер!" – сказал я. Я хотел поцеловать ее. Эстер отшатнулась, развернулась и зашагала прочь по шпалам. "Выходи за меня замуж", – прокричал я. Она ответила, что я сумасшедший, что мы еще дети. "На что мы будем жить? Что мы будем есть?" Я рассказал, что мечтаю стать актером, а пока не прославился, мы можем жить у меня дома. Папа даст мне работу на кирпичном заводике. Мама будет нам готовить. Я подбежал к ней и крепко обнял. "Мы уезжаем, Аристидес. Мои родители решили переехать куда-нибудь подальше, может, в Матансас или в Карденас. Ремонт в приюте закончился, и папе нужно искать работу. Я несовершеннолетняя. Я пришла попрощаться, Аристидес".

Она сказала это, склонив голову мне на грудь. Мир задрожал. Затрепетали рельсы. Я попытался вырвать поцелуй, но он дала мне пощечину. В эту самую минуту поезд на полпятого высунул нос из-за поворота. Эстер и я инстинктивно отскочили назад и оказались по разные стороны от путей. Паровоз тянул двенадцать вагонов. Я сосчитал. Раньше я не видал таких длинных поездов. Когда прошел последний вагон, Эстер уже испарилась. "Любимаяяя..!" – закричал я, и эхо моего голоса заметалось по узкому оврагу. Да, такая красота мне дорого обошлась. Очень дорого.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 июля

(Святая Мария Горетти)

Под вечер, ровно в шесть часов, черная машина с белыми покрышками с доном Гильермо за рулем переехала железный мост в Камбо. К решетке на крыше были приторочены узлы... (Неразборчиво.) Я вскарабкался на перила. На мне были подтяжки, которые я стянул у папы, чтобы выглядеть старше. В одной руке я держал черепаху. Мне удалось углядеть светлую головку Эстер. У нее и вправду плохо выходило прощаться. Вдруг она выпростала руку в окошко и уронила что-то на дорогу. Я так испугался, что, перепрыгивая через перила, случайно выпустил черепаху. Эстер оставила мне подсказку: скакалку, перевязанную шнурком от ботинка. "Я буду искать тебя все дни своей жизни", – произнес я. Вернулся домой. Заперся в комнате и заплакал. Где-то в девять вошел папа и велел идти с ним. Он так властно это сказал, что я не мог ослушаться. "Помойся и хватит дурака валять", – приказал он. Я помылся. Мы сели в грузовик. Мама помахала нам из дверей кухни. Всю дорогу папа напевал песню Фрэнка Синатры. Мы приехали в Гавану. Он отвел меня в бордель и сдал проститутке. И вот так все и кончилось.

Акт второй

Я могу сгинуть и обрести друга.

Вирхилио Пиньера

"Я знал, такая красота дорого мне обойдется", – сказал Ларри и закрыл уши руками. Лино изумился жару этой фразы. Он вообще не мог опомниться от удивления. Его немного раздражало, что ему так легко понравился этот нелепый позер, настоящее пугало в веревочных сандалиях и в подтяж-

ках, которого в других обстоятельствах он отбрил бы без раздумий, поскольку природная замкнутость служила ему щитом от паясничаний старых пошляков. И все же часы в обществе Ларри пролетели незаметно. Им пришлось прервать беседу, когда у Тото заурчало в животе.

— Я кушать хочу, — сказал дурачок.

Вечером Лино перебирал в памяти случившееся в свете квисквалиса и аромате луны, и эпизоды встречи слились в какую-то карнавальную карусель — несомненно, очень кубинскую. У него возникло четкое и в то же время двойственное чувство, что он познакомился со многими людьми в одном лице. Стены комнаты полнились разноголосицей, и ее отзвуки вызывали у Лино приятное замешательство, настолько приятное, что он понял — он снова придет в гости к Ларри; к чему отказываться от такой возможности, если, несмотря на его упорное недоверие, человек по имени — в том числе — Элизабет, станет, становится или уже стал тем другом, которого он искал все суровые годы вдовства? Как можно наводить мосты общности на хлипких основах смущения? А почему нельзя? Как избежать чего-то подобного, готового настигнуть в самый неожиданный момент? Разве достаточно трех-четырех часов, чтобы расписаться в восхищении перед совершенно незнакомым человеком? А сколько надо, чтобы полюбить его? Еще тысяча? Кто вырезал в камне скрижали заповедей, управляющих предчувствиями сердца? Где записаны сроки и законы каждой человеческой влюбленности? Ларри, сам не зная того, разрешил его сомнения сумеречной сентенцией: *Разве не бывает дружбы с первого взгляда? Дружба – тоже роман.*

— Пошли.

Пара-пам-пам-пам! Еще в очереди за газетой этот Ларри По или Аристидес Антунес или Лукас Васальо или Бенито О'Доннел или Пьер Мериме или Эдуардо Саннедро или Абдул Симбель или Пласидо Гутьеррес или Элизабет Брюль, кто-то из них, Бог знает — кто именно, околдовал его таким простым призывом, что Лино не смог ослушаться, как паломник на Дороге Сантьяго, слепо идущий на зов колокола:

— Пам!

Лино насчитал двадцать две ступеньки до первой лестничной площадки, от которой шел боковой коридор, вероятно, ведущий к другим квартирам в здании. Решетчатая дверь закрывала и открывала проход на "голубятню" Ларри, еще в восемнадцати ступеньках вверх по лестнице. Входная дверь вела прямо в юго-восточный угол просторной, залитой солнцем гостиной с высоким потолком. Три колонны из розового гранита придавали комнате аристократически солидный вид. Со стороны главного фасада две деревянные двери вы-

ходили на балкон с резными каменными перилами. Пахло креолином. *Пара-пам-пам-пам!*

Пара-пам! Поднимаясь по лестнице, Лино упрекал себя за то, что неблагоразумно позволил Ларри подарить Тото барабан. Следовало бы отвергнуть предложение под любым предлогом, но упоминание о "*Марухите, исполнительнице филинга, как здорово пела твоя жена, необыкновенный был голос, жаль только, дымила, как паровоз*" оказалось беспроигрышной наживкой. Пусть он отказывался признавать, но именно этот крючок тащил Лино вверх по лестнице. Он с горечью понял вдруг, что долгие годы не думал о покойной супруге. Эта любовь уже начала выцветать, как далекий-предалекий образ его величайшего провала, когда вскрылись и закровили самые глубокие шрамы: шрамы сомнений. Забвение стало единственным выходом для Лино, чтобы не возненавидеть ту загадочную, скрытную Маруху Санчес, которая курила, и пела, и напивалась, и резала вены, не удосужившись даже внушить ему чувство вины. Как могла она провалandаться до первой минуты своей смерти и только тогда объявить, что он никогда не узнает, с кем, черт побери, спал двадцать пять лет и одну ночь, полных молчания и усталости?! В довершение всего он безумно хотел писать.

— Можно мне в туалет? — спросил Лино.

— Валяй. Будь как дома.

С унитаза он услышал его цветистый монолог о множественности биографий: *На самом деле я Аристидес Антунес, незадачливый актер, артист массовки на телевидении, чистокровный донжуан, старый пошляк. Я родился и вырос в поселке Арройо-Наранхо, в пригороде Гаваны, где мой отец обжигал кирпичи на кирпичном заводике XIX века постройки.* Около полудня Лино уже решил пока не поднимать ревнивую тему Марухи. Успокоившись, расслабившись, оттаяв, он продолжал слушать Ларри, иногда с деланым вниманием, потому что оказалось страшно интересно рассматривать обстановку этого дома, где было легко чувствовать себя в безопасности. Он узнал подписи под картинами: Рене Портокарреро, Хосе Мария Михарес, Виктор Мануэль — три его любимых художника, а в книжном шкафу, служившем границей между гостиной и столовой, — кое-какие издания типографии "Укар и Гарсия", над которыми он трудился в юности: среди прочих — "По диковинным селеньям" Элисео Диего и "Потерянные взгляды" Фины Гарсии-Маррус. Из маленькой овальной рамки на него смотрело орлиное лицо Вирхилио Пиньеры, вырезанное из журнала. *Пара-пам-пам-пам!* Тото стучал в барабан на балконе, мешая голос Ларри По с оглушительной дробью. *Я считаю, мне повезло: люди смотрят на меня, но не видят.*

Ларри проводил их до парка, не проронив ни слова. По лестнице он спускался, насвистывая песню Фрэнка Синатры, но на улице вдруг разом постарел и пару раз жалобно, смирно вздохнул. Почему-то весь его энтузиазм испарился. Он потер глаз, стараясь скрыть подступившие слезы. “Что-то попало?” — спросил Лино, и Ларри кивнул, подставив нижнее веко, чтобы друг подул. “Вроде ничего нет. Лучше?” Шаг за шагом комедиант возвращался к повседневности, к излюбленным местам и делам. На прощание он раскрыл ладонь веером и уселся на скамейку на маленькой площади. Не прошло и десяти секунд, как он уснул глубоким сном — лицо закрыто бейсболкой, ноги скрещены, руки на поясе, пальцы в петлях сложносочиненных штанов. Прохожим приходилось перепрыгивать длинные, как весла, ноги, а кое-какие рассеянные спотыкались о них и пеняли спящему: “Подними забор, чемпион, тротуар общественный”. С угла Лино в последний раз оглянулся на друга: тот актерски бил себя кулаком в грудь, будто в дверь. Потом свернулся на скамейке калачиком. Пятка о пятку стряхнул сандалии, почесал лодыжки.

Дурачок потянул деда за рукав. Лино, изучивший свои телесные краны и трубы, как хороший сантехник, с благодарностью подчинился, поскольку знал — зуд внизу живота говорит о том, что, стоит только зазеваться (чихнуть, кашлянуть, икнуть), как плотина мочевого пузыря прорвется; он сдвинул одеревеневшие от страха ляжки и коленки и засеменил, не отваживаясь дунуть в рожок, доверенный ему Тото.

— Играй, играй, давай, играй, — сказал Тото.

Лино Катала научился встречать выходки своего вероломного мочевого пузыря с презрительной, хотя и нервной стойкостью. Для этого он взял на вооружение ряд уловок, в общем, распространенных среди тех, кто зависит не только от собственной воли в деле сопротивления недугу. Например, выходя на улицу, он всегда предусмотрительно надевал черные брюки (ткань такого цвета сухой или мокрой выглядит одинаково) и помещал между ног что-то вроде гигиенической прокладки (газетная бумага, завернутая в бинт), а в чрезвычайных случаях умудрялся перекрыть сфинктер на пару минут и таким образом облегчаться по капельке, не выдавая ни аварии, ни своего беспокойства. Лино был человек предусмотрительный, и это качество отлично помогло ему справиться с деликатной ситуацией, которая ожидала его в дверях дома: только что из аэропорта прибыл его сосед Мойсес, оттрубивший пять лет за выправкой малых берцовых костей в госпитале на берегу реки Замбези, в далекой республике Замбия, и весь квартал дружно и сердечно

встречал ортопеда. Лино не сразу его узнал, но позволил себя обнять, не сопротивляясь. Этот перекрашенный в блондина Мойсес с выщипанными бровями мало походил на прежнего — теперь он представлял собой воплощение настоящего зрелого мужчины, который Бог знает как проснулся внутри него и проявил себя в далеких краях. Лино и Мойсес относились друг к другу с искренним уважением. Приветственное объятие не оставило сомнений в том, что их взаимная любовь не исчезла; однако Мойсес так перетряхнул Лино все косточки, что тот не смог более контролировать желание пописать: приоткрыл кран и выпустил несколько миллилитров мочи. Соседи окружили доктора и гурьбой повели его в квартиру, благодаря чему Лино смог, наконец, стать на якорь в тихой гавани.

— А эта игрушка откуда? — удивилась Офелия при виде Лино и Тото. Дурачок стучал в барабан, а старик поочередно дудел в рожок и пел: *Номер 47-й сказал 23-му: иди сюда, чувак, станцуем, давай забацаем рок-н-ролл, сплясшем тюремный рок...*

— А это один мой друг подарил Тото.

— Какой друг? У тебя же нет друзей, дядя.

— Мы случайно встретились в очереди за газетой. Хороший малый, чересчур балагуристый на мой вкус. Познакомились мы с ним в шестидесятые, в Национальном издательстве. Он приятель Роситы Форнес и Консуэлито Видаль — не слишком удачно сымпровизировал Лино.

— Да что ты говоришь...

— Он актер. Работает на телевидении. Обожди. Я сейчас описаюсь.

— Тесен мир... А газету-то принесли?

— Перед нами кончилась, — ответил Лино из уборной.

— И что, он тут где-то живет?

— Кто?

— Твой друг, актер, с которым ты познакомился в типографии. Тот, что знает Роситу и Консуэлито.

— Его зовут Ларри По. Он на другой стороне Инфанты живет.

— Ну, а я что говорю: Гавана — большая деревня.

— Рядом с базарчиком, такой вывернутый дом.

Лино погружался в трясину лжи. Чем сильнее пытался выбраться из топи, тем хуже увязал. Он вернулся на кухню.

— У нас все такое вывернутое. Никогда не слышала, чтобы ты пел рок-н-ролл.

— Я беру уроки танцев. *Однажды в тюряге забабахали вечеруху, арестантский бэнд вышел на сцену, они вдарили рок-н-ролл, так что все ожило... Один гаврик поднялся и давай плясать...*

— Я рада, что ты в хорошем настроении. Вы обедали? Я сделала омлет. И суп из зеленых бананов.

— Я кушать хочу, — сказал Тото.

— А я полежу пару часиков... — сказал Лино. — Видела, кто приехал?

— Приводи его как-нибудь к нам.

— Мойсес.

Лейтенант Рохелио Чанг присоединился к беседе. Весь потный, он вышел в коридор с бутылкой воды и из горла выдул сразу литр. Холодильник был его спасением в жару.

— Кого? — спросил он.

— Одного друга Лино. Бедная Консуэлито. Мне тут рассказывали, что она совсем плоха. Хоть бы выкарабкалась. Дядя, а Ларри По китаец?

— Послезавтра я обедаю у него. Он обещал курицу с рисом. Скажу ему. Я не знал про Консуэлито. Какая жалость. Нет, нет. Ларри не китаец.

— Любопытно... — сказал Чанг.

Пенсия оказала катастрофическое воздействие на поведение тунца, нацеленного на куда более сложные кампании, чем наведение порядка в доме. Он чувствовал, что находится в расцвете сил. Так оно и было. Восемь лет назад он вышел в отставку только потому, что с юности привык беспрекословно выполнять приказы. Послушание было его принципом, соблюдение правил — жизненным кредо. Он верил в дисциплину с нездешней истовостью. Без начальников и подчиненных Чанг не знал, куда себя девать. Свобода бывает приговором. Домашние животные обожают поводки, за которые их дергают, намордники, мешающие лаять и кусаться, бляшки с выгравированной кличкой, где написано, когда и от чего их прививали. Скука — мина замедленного действия. День за днем квартал превращался в несусветный полигон для язв на теле общества. Следовало преградить дорогу хамам и болтливым нахалам. Безумие часто берет начало в неправильном треугольнике безделья, упрямства и нетерпимости.

— Любопытно... — повторил Чанг. — Я знавал много китайцев с такой фамилией. В кабаке у моего крестного, на углу Санха и Драгонес, работал пекинец, так того звали Ли По.

— Как поэта, — заметил Лино.

— Поэта? Нет. Этот был повар. Мойсес покрасился в блондина.

— Но мой друг не китаец, — обеспокоенно сказал Лино.

— Странно, странно... Очень странно, — отвечал Чанг.

— Почему странно? Что плохого в том, чтобы красить волосы? — спросил Лино.

— А вам, дон Лино, не кажется странным, что человек по фамилии По — не китаец или, по крайней мере, не имеет китайских корней? А вы бы стали красить волосы, дон Лино?

— Рохелио, а все Чанги китайцы? — спросила Офелия.

— Кого я знаю — все, как один, узкоглазые. Мойсес — пидор. Я всегда говорил.

Лино вымыл руки в кухонной раковине.

— Ну и разговорчики! — пробормотал он.

— Что с тобой, дядя? — встревожилась Офелия.

— Вы плохо себе чувствуете, дон Лино? Вы себя берегите... — промолвил с улыбкой Чанг. — Вам и побриться-то на вашем веку раза три-четыре осталось...

Лино вытер руки о штанины.

— Все хорошо. У меня руки были грязные. Ничего страшного, — сказал он.

— Точно?

— Точно, Офелия. Я немножко устал. Потом зайду к Мойсесу.

Офелия снова занялась обедом.

Чанг вернулся к себе к комнату, бурча себе под нос: "У Ли По не хватало зубов... Подозрительный тип, похож на шпиона..."

— Ларри — гинеколог, — сказал Лино, помолчав.

— Так он же актер?

Лино смешался.

— Да, актер. Актер и гинеколог. На пенсии. Сама знаешь, каждый подрабатывает, как может.

— Ты приляг, дядя. Я в холодильнике тебе обед оставлю. Как там поется? *Номер 49-й сказал 33-му?*

— 47-й — 23-му, племяшка: *Номер 47-й сказал 23-му: иди сюда, чувак, станцуем, давай забацаем рок-н-ролл...*

— *Сплящем тюремный рок...* — подхватила Офелия, и ей подпевал пришедший в восторг Тото.

Лино отправился вздремнуть, раздосадованный своим подростковым поведением. Актер-гинеколог, Бог ты мой! Мог бы рассказать все без прикрас. Как есть. Нечего было замалчивать. Или все-таки? Почему же он тогда так разнервничался? Ответ пришел во сне: потому что хотел сохранить Ларри По в тайне, даже рискуя провалиться вместе с ним в болото. Проснувшись, он попытался забыть это неясное объяснение, наполовину правдивое, наполовину лживое. Но не смог. Его словно ввинтили ему в голову.

— Ничего нет абсурднее абсурда! — сказал Лино. — Я сдаюсь.

И проспал еще шестнадцать часов.

Через два дня Лино отобедал у Ларри По. Впереди у них было шесть или семь недель, чтобы полюбить друг друга. В одном из приключений Лино убедился, что Ларри не такой уж плохой актер, как сам говорит: это было, когда соседи, Марио и Хосефа, пригласили его выступить клоуном на дне рождения у сына. Вдвоем они навестили бывших любовниц Абдула Симбеля, доктора Санпедро и Пьера Мериме, чтобы попробовать убедить их вновь полюбить Ларри По. Тот всем произносил одинаковую речь: "Ты одинока, дорогая; я тоже. Дадим же друг другу шанс. У нас вся жизнь впереди. Сплетем наши судьбы, пока не поздно". Дело оказалось нелегким. Надежды, возлагаемые на учительницу Элену Руис, рухнули после первого же телефонного звонка, в полночь. Элена сочеталась пятым браком со своим кузеном, по профессии электриком.

— Вы хороший человек, дорогой доктор Эдуардо Санпедро.

— Я не могу забыть тебя, Элена. Не хочу тебя терять.

— У меня тоже прекрасные воспоминания о наших встречах, и этого более чем достаточно. Никто не выиграл, никто не проиграл. Предлагаю вам ничью. Идет?

— Идет, сеньора.

— Кроме всего прочего, признаюсь, я стала бы для вас непосильной ношей: верьте не верьте, я уже одной ногой в могиле, и сдается мне, не вы должны закрыть мне глаза, — сказала она и повесила трубку.

Барбарита решила провести остаток жизни в духовном уединении подальше от "таких сердцеедов, как ты, милый" и извинилась перед Бенито О'Доннелом за то, что не может помочь.

— Я вдова, пенсионерка, бабушка, у меня артрит, целлюлит и отвратительный характер; какие уж тут шашни, дружок.

Только Сивая выказала желание соединиться с Хромым Гутьерресом, но поставила столько условий для скрепления союза (отдельные кровати, угол для ее святого и комната для ее крестной ста семи лет), что у Ларри ноги подкосились.

— Как жаль...

— Се ля ви, инженер: стабильность превыше всего.

— Целую, Сивая...

— Пошел к черту, дорогуша.

Ларри опустил трубку, как в замедленной съемке.

— Она меня к черту послала, Лино!

— Значит, заслужил.

Лино и Ларри проводили вечера, рассказывая друг другу о своей жизни, о своих провалах, о своих страстях. Читали выдержки из "Красной тетради" Аристидеса Антунеса и стихи из журнала "Орихенес". Иногда дремали в парке на углу улиц Ин-

фанты и Сан-Ласаро, за памятником погибшим студентам, где Ларри нашел светлую тенистую скамейку. Танцевали танго. Танцевали рок-н-ролл. Когда у одного начинали закрываться глаза, второй тормошил его, не давая провалиться в сон. Два раза они ходили в кинотеатр "Чаплин" (и во второй попали на фильм "Гаванская сюита"), один раз — в мороженицу "Коппелия" и один раз — в бар ресторана "Ла-Рока", где пропили месячную пенсию. Однажды они даже отужинали в паладаре "Старый гринго" в компании Исмаэля, Софии и Констанцы, и так у них скапливались новые воспоминания, которым они не давали залежаться, уже на следующее утро принимаясь лелеять их с вдохновенной ностальгией. Им достало времени, чтобы начать скучать друг о друге. И даже чтобы обойти весь Аройо-Наранхо, поговорить о Марухе Санчес и найти Эстер Роденас на самой дальней окраине Какауаля.

— Я рассказывал, что мне сказала Эстер в тот вечер?

— Эстер, Эстер, Эстер, вечно Эстер... Перемени пластинку, Ларри, а то уже заедает...

Каждая прогулка заканчивалась на Малеконе. Ларри предпочитал сидеть лицом к городу, внимательно следя за снующими людьми, а Лино завороженно смотрел на море. Только вытянувшись на спине во весь парапет, они одновременно поднимали пистолеты указательных пальцев и открывали огонь по сверкающей лампочке луны.

— Какой ты бесчувственный тип, друг мой. Мы два консервировавшихся старикана.

— Звезда упала...

Бриз.

— Вот скажи мне, ты прямо сейчас где находишься?

— На посиделках в кафе "Буэнос-Айрес"... А ты?

— А я смотрю в дырку в заборе масонского приюта...

— Эстер, Эстер, Эстер... Вечно Эстер...

— Ах! Лино, Лино, Лино, Лино...

ЧЕТВЕРГ, 27 НОЯБРЯ 2003 ГОДА. Лино, Лино, Лино, какой ты молодец, что пришел! Давно меня ждешь? Не знаю, как это дорога до дому отняла у меня пять часов. Может, я силился заблудиться в каком-нибудь переулке этой Гаваны, что с каждым днем все яростнее меня отвергает? У нас с ней взаимная неприязнь. Мы нападаем друг на друга и не устаем биться: хотим узнать, кто дольше продержится. Мой город превратился в мою постель. Матрас проседает, подлаживается под пустоту моего тела. Для Гаваны я тряпка. Города растут не так, как их обитатели: некоторые становятся современнее, пока мы, их жильцы, угасаем, перевоплощаемся. Другие ломают одну

кость за другой. Я не понимаю тебя, Гавана, и не жду, что ты меня поймешь. Мы — неудачный брак. Поднимешься?

— Смотри, я принес тебе экземпляр "Орихенес", который обещал.

— Клево, дружище.

— Ты пьян, Ларри.

— Я не Ларри, я Санпедро. Очень приятно, Лино.

Я облачился в шкуру Эдуардо. Я только что от Рафаэлы Томей. Мне было очень одиноко. Я подходил к ее дому, в дальнем конце мрачного закоулка, и вспоминал, как прежде вечерами преодолевал этот лабиринт. Мне самому было смешно, когда я застегивал белоснежный медицинский халат. Для чувствительной секретарши Рафаэлы Томей я был и впредь должен был оставаться гинекологом Санпедро. Я так представился во время рабочей демонстрации Первого Мая — "доктор Санпедро, вдовец, имею трех детей — одиннадцати, девяти и двух лет от роду" — и под таким именем и профессией соблазнил ее на террасе ресторана "Семь морей". Рафаэлу тронула моя биография, и она решила, что по гороскопу ей суждено взвалить на себя еще одну несчастную судьбу (судьбу неприкаянного доктора), кроме своей собственной, к чему она оказалась вполне готова, потому что тело у нее было — пальчики оближешь.

Вдруг я вспомнил, что гинеколог заикался на букве "п". *Через два "п" папироса...* Каждый шаг приближал меня к прошлому, и по спине пробегал озноб возбуждения. Я покрепче сжал бутылку рома, которую нес в подарок. Повторял свою речь: "*Рафаэла, Рафаэла, может, мне осталось жить восемь месяцев, а может – четыре недели, или два вторника, как знать, но все это время, сколько бы его ни было отпущено, я посвящу единственной задаче: осчастливить тебя. Мы заслужили это. Позволь мне любить тебя*". Дверь была открыта, и я решил войти без проволочек. *Через два "п" попугай...* Мне в лицо ударила вонь. *Весело катят колеса...* Дом пропах мочой. Кислятиной. В гостиной темно. Окна сто лет не открывали. Когда глаза привыкли к мраку, я разглядел с десяток котов. Тощих. Грязных. Они спали на диване. Двое затеяли драку. Их потасовка разбудила остальных. Я прижался к стене, под образом Святейшего Сердца Иисуса. И тогда явился призрак. Бедная моя любимая. Ах, Лино! Это была убогая, костлявая ведьма в лохмотьях, бывших когда-то вечерним платьем. На шее у нее, словно ожерелье, болталась веревка висельника, один конец спускался, и она держала его в руке. Волосы были заплетены в жирную косу, где немудрено было бы и скорпионам свить гнездо. За ней плелись два толстых, круглых, явно слепых пса. Коты перестали драться.

— Тебе бы душ принять.

— Иди сюда, Лино. Выпей. Она была жива, цвела и пахла, гнусная ведьма.

Я понял, что Рафаэла жива, потому что она плевалась, не замечая моего присутствия, а мертвецы не плюются, как плевалась человеческая развалина, в которую превратилась Рафаэла Томей. Она выплевывала зубы, а потом подбирала и снова сажала в борозду десны. Выплевала досады, разочарования, обиды, неприязни. Выплевывала свою смерть и свою жизнь. Коты терлись о ее ноги. Она называла их по именам, не переставая плеваться. Я стоял в метре от нее, а она меня не видела. Она бродила по измерению страшилищ. Я не мог отвести от нее глаз. Она околдовывала, соблазняла меня.

— Завтра расскажешь, Ларри.

— Ее зрачки были затуманены.

Время жестоко надругалось над этой кубиночкой, которая не так уже давно была здоровым и сострадательным существом. Я стал медленно отступать, стараясь не потревожить подслеповатых псов. Только сначала оставил на столе те гроши, что у меня были. У меня нет работы. Никто меня не берет. Я бежал, ухватившись за бутылку рома, как за спасательный круг. Ее сосед гонялся по коридору за свиньей. В правой руке у него был нож, в левой вилка, а на голове большевистская шапка-ушанка. Какая-то баба, наверное, его жена, вопила из дверей квартиры: “Загоняй ее! Загоняй!” Все было ложно, обманчиво, искусственно, кроме моего сердцебиения и визга свиньи, которой вонзили штык в ребра.

— Загоняйте меня!

— Пошли, Ларри. Ложись в кровать. Ты пьяный.

— Не оставляй меня, Лино.

Я сидел на парапете Малекона, как в ложе театра, а вокруг меня было восемнадцать влюбленных парочек: одиннадцать смотрели на море, семь — на Гавану. Я их сосчитал. Торговое судно балансировало на линии горизонта. А может, круизное, потому что на нем было много огней. Как визжала та свинья! От соленого воздуха мне стало легче. От соленого воздуха и рома. Город тяжело дышал. Проехал Исмаэль на велосипеде. София ехала на багажнике, обняв его за талию. Я не хотел, чтобы они меня видели, и они меня не увидели. Фасады зданий прошивают друг друга на заднем плане. Я снова закурил. Сухим рывком откупорил бутылку выдержанного и отпил глоток. Доктор Санпедро покинул мое тело и бросился бежать по крышам автомобилей. Я ушел. Я ушел в ужасе. Я ушел в ужасе от жизни. Я ушел в ужасе от такой одинокой жизни.

— Ты завтра сходишь со мной к Хулиете и Мерседес? Они недалеко живут. Может, кто-то из них на меня согласится.

— Да, Ларри, схожу.

— Еще завтра день рождения у Томасито, сына Хосефы. Я там поработаю, а потом пойдем. Хулиета и Мерседес... Наверное, две перечницы.

— Спи.

— Спасибо, что гладишь меня по голове. Никто меня на работу не берет. Никто. Спасибо, дружище. Одиночество — такая фигня.

— Спи.

Ладно, парень, ладно. Буду уже спать.

Лино приснилась Эстер Уильямс. За все время своего растянувшегося существования он ночевал не дома всего раз пять-шесть и никогда — на краешке кровати друга, так что тем утром он переживал нечто новое и приятное. Ларри принес ему чашку кофе и бутерброд с джемом из гуаяйвы, присланным его сватьей, Констанцей. Воздух дышал Фрэнком Синатрой. Взяв с тумбочки журнал "Орихенес", Ларри блеснул талантом декламатора. Пока Лино жевал тост, он прочел стихотворение Элисео Диего: *Кот смотрит золотистым взглядом, безмолвствует. Иное дело пес – он воет не смолкая. Смерть гладит безмолвного кота и дарит ему семь жизней. А пса приводит в бешенство одним мановением руки.* За завтраком они, вопреки обычаю, заговорили о политике. Сопоставили свои биографии и обнаружили, что ни тот ни другой не участвовал в Кампании по Ликвидации Безграмотности, ни в Аграрной Реформе, ни в боях в заливе Свиней и на Плайя-Хирон, ни в Карибском кризисе 1962 года, ни в Борьбе с Бандитами в горах Эскамбрай, в центре страны, ни в так называемом Революционном Наступлении конца 60-х, ни в Десятимиллионной Сафре, ни в институционализации страны, ни в интернациональных миссиях, ни в публичных осуждениях восьмидесятых, ни в "отрядах быстрого действия", словом — к добру или к худу, — ни в одной значительной вехе этих по-настоящему трудных лет. Два незаметных кубинца — актер телемассовки и тихий линотипист — сорок четыре года продержались с краю от великой эпопеи, и не по идеологическим соображениям несогласия или кислого безразличия, а по гораздо менее мелким причинам: История никогда их не учитывала. Впрочем, они Ее тоже.

— Как мы могли? — поразился Лино.

— Легко, дружище: нас никто не видит.

Чуть позже Ларри нанес клоунский грим и попросил Лино сходить с ним на день рождения Томасито, которому исполнялось пять лет. Гостей было очень мало. Лино смеялся громче детей. Все прошло как по маслу. На обед они разъели

коробочку вкусностей с праздника: кусок именинного пирога, две хорошо прожаренных котлетки “из синей птицы”, макаронный салат с домашним майонезом и треугольный сэндвич с картошкой, горчицей и яйцом. Когда они спустились обратно в квартиру Ларри, этажом ниже, пищеварение сделало свое дело, и оба задремали в креслах в гостиной. Разбудил их шум квартала. Через окно спальни Ларри одного за другим представил Лино местных “актеров”.

— Смотри, Лино, вот тот лысый — очередной любовник медсестры, увидишь, как он спрячется за цистерны, когда без предупреждения явится муж. Два раза в день девушка с верхнего этажа уходит на террасу, чтобы никто не видел, как ее рвет.

— Бедная девушка, — сказал Лино.

— Все мы муравьи, дружище. Главное — понять, когда тебя будут давить.

Настоящий муравейник скрывался в сердце квартала, на бесхозной территории, куда выплескиваются перенаселенные задники домов, кухня смотрит в кухню, ванная заглядывает в ванную. Ларри называл это место Дворцом Шума и Гама, потому что даже в худшие времена оно не теряло некоей буржуазной целостности. В самом средоточии перебранок слышались соседские хоры, гаммы музыканта с третьего этажа и бранные арии, которые распевала толстуха снизу, вперемежку с кудахтаньем кур и громогласными зевками безразличных ко всему типов, не знавших, как убить время, не теряя его. Это была исповедальня квартала. Бойня личной жизни. Сплетни рикошетом отлетали от окна к окну. Ничто не оставалось тайной. Черные и желтые леггинсы болтались на проволоках рядом с семейниками полицейского из квартиры напротив и мягкими трусиками его сожительницы. “Когда сверчковый концерт в человеческом исполнении достигнет оглушительной тесситуры, желающие замуроваться в темницах замка прибавят звук приемников. Перехлест радиостанций еще больше замутнит это царствие без патриарха, каковое есть воздух”, — изрек Ларри.

— Мне невыносимо наблюдать не предназначенные для моих глаз приступы тошноты. Псих с нижнего этажа обожает орать в полдень: крики пугают свинью, которую его брат держит в ванне с гнутыми ножками, и через минуту уже непонятно — старый хрыч это голосит или визжит свинья. Одно спасенье — Мартинесы. Хосефа работает в издательстве, Марио — инженер-химик. Томасито просто чудо. Да ты видел его. Он все мои фокусы разгадал. Они приехали год назад. Тихие люди с хорошими, хотя чуть старомодными манерами. В них чув-

ствуется старый стиль, свойственный тем, кто вырос в провинции. Марио пахнет одеколоном. Хосефу я ни разу не видел непричесанной. Думаю, они недолго протянут в этом сумасшедшем доме, как бы туго у них ни было с жильем. Три грации (с одной плантации) быстро их спугнут: ненавижу их.

— Ты что-то про них говорил...

— Я не выношу их. Они — воплощение мира, из которого я всегда мечтал сбежать. И вот поди ж ты — попал в мышеловку. Лала, Лола и Лула утверждают, что они вдовы одного мужа. Не робкого десятка, вероятно, был человечище. В день смерти этого господина — ну, я так думаю — ко мне в окно долетают их стенания. Они бичуются. Визжат: крысы. Дерутся, ссорятся, ругаются. Держись от них подальше. Дай мне слово. Если они пройдут мимо и обдадут тебя вонью тухлой курицы, перекрестись пять раз, чтобы отогнать злые силы. Лала и Лола — тощие швабры. Рассыпаются на ходу. Лула — слониха. Она тайком сжирает заплесневелый хлеб. Когда Лала ковыряет в носу, а Лола курит на кухне, слониха стоя мочится на матрасы сестер. Поливает их перемежающимися, едкими струйками, не превышая дозу аммиака, чтобы они не догадались о порче. Ну да хватит сплетен, дружище. Я приму душ, и пойдем закинем удочку Хулиете Каньисарес и Мерседес Бетанкур, может, кто и клюнет.

— Приведи себя в порядок, — сказал Лино.

— Для Хулиеты я акварелист, для Мерседес — ливанец-мореход.

Вскоре друзья уже шагали по Малекону под жарким солнцем трех часов пополудни. Лино на ходу просматривал записи в Тетради в красной обложке.

Имя: Хулиета. Фамилия: Каньисарес Вальдеррама. Прозвище: Сладкая Малышка. Меня называла Папочка, Папуля. Возраст: на девять лет младше меня. Телефон: у соседки. Особые приметы: Совершенно умопомрачительные груди, под правым соском родинка. На минутку теряет сознание после каждого оргазма. Не знает удержу. По крайней мере, я за ней удержу не знаю.

Ларри, в свою очередь, вслух репетировал речь. Он напыщенно размахивал руками:

— Хулиета, милая Хулиета Каньисарес... Сколько лет, сколько зим! Время было к тебе благосклонно. Ты выглядишь лучше всех, как в наши золотые деньки. Ты одинока, дорогая; я тоже. Дадим же друг другу шанс. Я не забыл твою родинку под правой грудью, Полярную звезду моей судьбы... Не падай в обморок, любимая, не надо... Это я, я вернулся домой... Может, мне осталось жить восемь месяцев, а может —

четыре недели, или два вторника, как знать, но все это время будет принадлежать только тебе... Профессия и/или умения: В юности была гимнасткой (фотографии), но с тех пор, как повредила лодыжку в упражнениях на коне, делает массаж на дому. Превосходно готовит. Обещал вытатуировать русалку с ее именем на левом бицепсе. Так, мои бзики. Ни за что на свете. Сам себе жизнь усложняю.

— Гимнастка моего сердца, массажистка души моей... Разве у нас нет права быть счастливыми? Мы обязаны попытаться. *Какое счастье, что сегодня не нужно играть! Публика возмущается, и начинается соитие русалок...*

— Вот только без этого. Не вмешивай Вирхилио, Ларри, послушай моего совета.

Родня: Не интересовался. Последний Отмеченный Адрес: Строение Е, квартира 4, за отелем "Ривьера". Последняя Встреча: 1990 год. У нее в гостиной. Перед этим ходили слушать моего близкого друга Фелипе Дульсайдеса в бар "Элеганте" отеля "Ривьера". Пили "Ром Коллинз". Ах, Фелипе в кабаре!..

— Я вернулся за тобой, чтобы умолять тебя на коленях составить мое счастье. Давай вместе проживем то недолгое или долгое время, что нам отпущено... Позволь угостить тебя выпивкой. Твой "Ром Коллинз", дорогая...

— Ты зарываешься, Ларри. Думаю, тебе стоит сделать над собой усилие и справиться с чувствами и с пошлостью. Здесь есть сноска. Зачитываю:

Сноска: В полночь, когда любовные упражнения свершились, я сказал, что выйду за сигаретами, и больше не возвращался. Отложил второй трах в долгий ящик. Я вдруг испугался. Не знаю чего. Больно признавать, но, возможно, того, что одному мужчине не совладать с такой женщиной. Первоначальный Любовник: Пьер Мериме.

— Я больше не курю, дорогая.

Состояние либо Степень Испорченности Отношений в Настоящее Время: Неопределенное. Я облажался по всем статьям. У Хулиеты, наверное, остался горький осадок. Она имеет полное право ненавидеть меня, после того как я, как последний олух, сбежал. Заключительные Замечания: При возможной новой встрече постараться вести себя естественно. Бог мне в помощь.

— Обними меня, Сладкая Малышка.

Лино и Ларри добрались до дома Хулиеты, обливаясь потом, — но все же добрались.

— Не забудь, меня зовут Мериме.

"Папуля, папуля!" Хулиета Каньисарес встретила акварелиста таким искренним объятием, что Лино захотелось зааплодировать. Позже ему захочется зарыдать. И, наконец, выйдет он из квартиры, облизываясь. Таковы были повороты этой страстной драмы с точки зрения простого зрителя вроде него. Слившись в нескончаемом поцелуе, ни Пьер Мериме, ни Хулиета Каньисарес не стеснялись его присутствия: никто и ничто не могло мешать утолению любовной жажды. Бывшая гимнастка обвила Ларри ногой, позволяя ему придвинуться к ней и почти поддеть себе на ляжку. В перерывах между укусами актер произносил свою речь с убедительным прямодушием. Присосавшись к мочке лже-француза, Хулиета подмигнула Лино — запоздалое приветствие, — а потом схватила любовника за запястье и утянула в комнату с такой силой, что стеклянный стол в гостиной зашатался, и все вазы и фарфоровые статуэтки затрепетали.

— Мы сейчас, — сказала Хулиета, закрывая дверь. Лино вроде бы заметил будоражащий красный свет в комнате для любви. "И вправду специалистка: пахнет сандалом", — подумал он. Вот это была женщина душой и телом — но не из-за пламени ее губ или чувственной грации туловища или искушенных в ласках рук или путанской обстановки комнаты, а из-за того, что она знала: не годится врать тому, кто когда-то сделал тебя счастливой, пусть это счастье и оказалось миражом или еще одним источником страданий. Хулиета по-военному щелкнула каблуками, вскинула голову и недрогнувшим голосом объявила Пьеру, что сожалеет, что он так запоздал.

— Я подалась в шлюхи.

Пьер Мериме поцеловал ей руку. Хулиета не склонна была особо распространяться и жаловаться на судьбу, но также и хвастать попусту, поэтому она просто рассказала, что в силу возраста сосредоточилась на клиентуре, состоявшей из суровых пожилых и не очень мужиков, какие мыкались по району без губ, к которым припасть, без груди, на которой засыпать, без клитора, который вылизывать, без никого на всем белом свете. Одиноких сердец было столько, что, даже беря с них по низкому тарифу и в национальной валюте, Хулиета могла безбедно существовать.

— И иногда я даже удовольствие получаю, — сказала она напоследок.

— Я тобой восхищаюсь.

Хулиета забавно поморщилась.

— Я тоже. В смысле, я тоже собой восхищаюсь.

— Я сказал, что больше не курю? — вспомнил Пьер.

— Нет, зато я теперь курю: пристрастилась, когда ты пропал, Мериме. Купила три пачки “Популар”, чтобы всегда были дома и тебе незачем было уходить. Я скучала по тебе пару месяцев, а потом научилась курить.

— Сколько ты берешь, Сладкая Малышка? — спросил Пьер без задней мысли. В эту минуту он понял, как сильно ее любит.

Хулиета начала расстегивать блузку.

— Нисколько, Папуля. Это я бы тебе заплатила.

— Я для друга спрашиваю, который в гостиной сидит. Он мне как брат. Его зовут Колдун Катала.

— Многообещающее имя.

У Хулиеты была красивая улыбка.

— Он давно не бывал в деле, — предупредил Пьер.

— Скажи ему — пусть войдет.

Пьер Мериме вышел к другу и без слов затолкал его в комнату. Закрыл дверь. Закурил. Четыре “Популар” спустя появился довольный до безобразия Лино. Губы его мерцали медовым блеском. Он облизывался. Хулиета не вышла с ними попрощаться.

— Мы победили или проиграли?

Пьер Мериме снова стал Ларри По.

— Победили! — сказал Лино.

— Теперь посмотрим, повезет ли Абдулу Симбелю.

— Мерседес Бетанкур, верно? — спросил Лино на углу бульвара Пасео и улицы Линеа.

— Бетанкур-и-Форнарис — материнской фамилии еще никто не отменял.

Лино раскрыл Тетрадь на соответствующей странице. Имя: Мерседес. Фамилия: Бетанкур-и-Форнарис. Прозвище: Косточка (меня называет “радость моя”). Возраст: сорок четыре года в 1989-м. Телефон: не имеет. Особые приметы: говорит в нос, голос довольно пронзительный; тем не менее, этот “недостаток” придает особое очарование ее стонам во время любви. Профессия и/или умения: Домохозяйка. Любит читать. Пишет. Поэтесса, автор сонетов, некоторые ничего. Любимый писатель — Луис Рохелио Ногерас, он же Вичи Рыжий (на стене в спальне даже вывела тушью строфу из него: *кому нужны стихи, что я напишу потом/ сейчас закрой глаза и целуй меня / мадригалова плоть / дай мне щупать молнию твоих ног / чтобы потом вспоминать их на бумаге / встань вся поперек моего горла*). МБФ в постели миниатюрная, податливая, боевитая. Может показаться, что у нее много предрассудков, но ничего подобного. Обожаю ее мягкую сущность гаванки. Умеет слушать. Послушная и горделивая; теряет ум, когда я целую ее в ушко. Родня: Довольно взрослая дочь, в которой она совершенно

растворилась, забыв о собственном счастье. Последний Адрес: 11-я улица, дом 734, квартира Л, шестой этаж (есть лифт). Напротив мотеля на углу 11-й и 24-й, что не облегчает жизнь, как могло бы показаться, потому что она боится быть застуканной соседями. Последняя Встреча: На поэтическом вечере в Центре имени Алехо Карпентьера. Присутствовали, в частности, Рауль Риверо, Марилин Бобес и Элисео Альберто. На прощание я поцеловал ее в лоб. Мы говорили обо всем на свете, пили чай на террасе ресторана "Патио", а когда прощались, я почувствовал, как она дрожит. Первый Любовник: Абдул Симбель. Состояние либо Степень Испорченности Отношений в Настоящее Время: Приемлемая, поскольку расстались по обоюдному согласию. Она решила вернуться к отцу ее дочери. Потом я слышал, что у них не задалось (эх, часть вторая, часть вторая), и, наверное, она опять свободна. Заключительные Замечания: Мерседес, последняя карта в моей колоде, — женщина понимающая. Наши отношения, такие удобные, могли бы продлиться долго, но в этих делах даже стабильность рискованна. Возможно, следует исключить ее из списка. Меня одолевают сомнения. Боюсь, она многое обо мне знает. Ты скучаешь по мне, Косточка?

— Да, — сказала Мерседес.

Абдул Симбель только что произнес почти такую же речь, что декламировал Хулиете, с необходимыми изменениями (плюс первые строки "Возлюби дикого лебедя", умопомрачительного стихотворения Рыжего: *Не тщись дотянуться руками до его невинной шеи, даже самая нежная из ласк ему кажется палаческой мукой*), и едва успел отдышаться, когда Бетанкур-Косточка уже согласилась переехать жить к ливанскому мореходу. Ответ прогремел стремительно, как молния.

— Да, радость моя. Схожу к дочке за чемоданами — одна нога здесь, другая там. С тобой я хоть на край света, Абдул Симбель.

Мерседес замешкалась минут на пять перед выходом за чемоданами. Она порхала по дому, словно заблудившаяся колибри, и не могла найти ключей, лежавших на столе в гостиной, и очков, висящих у нее на шее.

— Где же зонтик?

— Дождя не будет, Косточка, — насупленно сказал Симбель.

— А вдруг будет?

Зонтик висел на дверной ручке. В последний момент Мерседес решила переодеться в другую блузку и туфли, потом — из юбки в брюки, а когда уже была вроде бы готова, в приступе вдохновения распустила волосы, до той поры накручен-

ные на целую систему бигуди. Лино и Абдул молча следили за ней взглядом, скорее удивленно, чем внимательно. Она была не толще зубочистки, не такая морщинистая, как Хулиета, зато совсем высохшая. Поэтесса все еще источала мерцание этой неясной, зыбкой субстанции, которую Аристидес Антунес назвал "мягкой сущностью гаванки". Она обладала царственной поступью и поразительно яркими жестами, например, двигала руками, будто испачкала пальцы в клее. Не красавица, она все же была единственной в своем роде — и эта неподражаемость, по мнению Лино, говорила в ее пользу. Несмотря на честь, оказанную Хулиетой Каньисарес его скромной персоне, он не мог бы сказать, какая из двух женщин нравилась ему сильнее, — если на минутку представить невероятное положение дел, при котором ему бы разрешили выбирать. Сравнения излишни: каждая прекрасна по-своему.

— Я быстро, радость моя, — сказала Мерседес. В одной руке она держала зонтик, а другой размахивала матерчатой сумочкой, словно кубинским флагом. — Ах да, лифт не работает...

Абдул дождался, пока шаги Мереседес не затихли на лестнице. Ларри вскочил с кресла.

— Рвем когти, — скомандовал он.

— Но она же согласилась! Ты же за этим и пришел...

— Ну и тупой же ты, Колдун. Ни хрена не понимаешь. Вся штука в том, чтобы они не соглашались... Иначе конец мечтам. На что мне эта Косточка в доме? Мы друг друга и недели не вынесем. К тому же она слишком быстро сдалась. Я ее хорошо знаю. Тебе это не кажется подозрительным?

— Может, она тебя любит, Ларри?

— Любовь тут ни при чем — только одиночество.

Приятели, как могли, быстро спустились с шестого этажа. Последние два пролета Ларри проехал верхом на перилах.

— Шею сломаешь, — сказал Лино.

Вечерело. Ларри и Лино, задыхаясь от смеха, уселись на парапет Малекона. От хохота у них даже скрутило животы. Растянувшись на пузе лицом к морю, они извергли по ту сторону парапета картофельно-яично-горчичную кашу, остатки обеда, отмокавшие в желудках с самого дня рождения Томасито. Вот так, вспенивающими желудочные соки, их и застал Исмаэль.

— Блин, я вас разыскиваю по всему Ведадо. Так и знал, что вы груши околачиваете на Малеконе.

— Груши? Спроси у Колдуна, чем его потчевала Хулиета Сладкая Малышка Каньисарес! — отвечал, помирая со смеху, Ларри.

— Пчелиным медом, радость моя, сахарным нектаром! — воскликнул Лино.

— Вы что, пьяные? Сегодня мы с Софией и ее мамой ужинаем в "Старом гринго". Пойдемте, а то помыться не успеете.

— Я не стану мыться, — сказал Ларри.

— Еще как станешь, — сказал Исмаэль.

— Это угроза?

— Разумеется.

— Окей, просто уточнил.

— Мне нужно домой зайти, — сказал Лино. — Я со вчерашнего дня не появлялся...

— Думаешь, твоих это очень заботит? — сказал Ларри.

— Ты свинтус, дядя.

Ларри пристроился на багажнике, Лино — на раме, бочком, и Исмаэль невероятным усилием сдвинулся с места. Старики тем временем соревновались, кто громче рыгнет.

— Какая попочка, Мендес Антунес, — издевательски сказал Ларри, ухватив племянника за ляжку.

— Не щекочи меня, старый пидарас, — возмутился Исмаэль.

— На дорогу смотри, так тебя разэтак, и получай удовольствие...

Лино наслаждался прогулкой и бризом и кусал губы, ища за горчичным душком тростниково-сахарный вкус третьей женщины в его жизни.

Крокеты из маланги, белый рис, черная фасоль, свиные эскалопы для одних, жареная курица для других, жареные спелые бананы, маниок с соусом "мохо", зеленый салат, холодное-прехолодное пиво, хлеб без масла. Констанца узнала Лино уже за гуайявовыми цукатами в сиропе. Когда они познакомились на бдении по Марухе Санчес, она еще не знала, что ждет дочку от Румена Благоева, болгарина, умершего якобы в парке Мирамар, а на самом деле ее любовника, с которым она встретила семь рассветов. В тот вечер в паладаре "Старый гринго" София объявила, что летом следующего года собирается замуж за Исмаэля Мендеса Антунеса, и в ту же минуту Констанца поняла, что этот Лино Катала и есть тот самый Лино Катала, который 24 ноября 1978 года помог ей пережить самую трудную ночь ее юности. Остатки сомнений Констанца разогнала, вспомнив нерушимую аксиому о том, что ничто не бывает случайным в этом мире, полном окружностей и спиралей, тропок и лабиринтов, где (пусть циники и маловеры говорят что им вздумается) единственная и лучшая причина жить — она знала по себе — это желание жить. Почему она отдалась Румену, если любила не его, а того парня из Матансаса, кажется, Рикардо, Рикардо как бишь

его, Проенса или Рикадро Карранса или, может, Рикардо Пиментеля? Почему согласилась провести с незнакомцем семь ноябрьских ночей? Просто в линиях ее ладони значилось, что четверть века спустя ее дочь, плод этой недели любви без любви, признается ей, что по вине племянника Ларри По, ее сумасбродного жениха, буйноголового Исмаэля, чокнутого, который кормил ее гуайявовыми цукатами со своей вилки, не стесняясь выглядеть идиотом, самоубийцы на велосипеде, без разбору прущего на любой цвет светофора, ей теперь приходится уминать радость внутри себя и выпускать ее по глоточку, потому что еще хоть одна частичка счастья — и ее сердце взорвется, как шутиха. Констанца подняла бокал:

— За случайности!

— За Софию и Исмаэля, которые нас угощают, — предложил Ларри.

Пять бокалов сомкнулись в воздухе.

— Ты больше не рыжая; тебе идет каштановый, — сказал Лино.

Констанца улыбнулась:

— Не очень-то вы наблюдательны, дорогой друг. В молодости я красилась в рыжий. А так я шатенка. Рада была повидать тебя. Мы почти родня! Но нам пора. Бог знает, когда мы доберемся до Парраги.

— Вот ведь какие повороты жизнь закладывает, милая.

— Повороты жизнь закладывает для всех одинаковые.

— У вас голова не кружится на этой вашей карусели? — встрял Ларри.

Исмаэль заплатил по счету. Перед уходом он сунул в карман дяде Аристидесу двадцать долларов.

— Выпейте старого рому за мое здоровье, — сказал он.

— Лучше вина. Никто-никто на этом Острове не пьет вина, разве что мускат. Тут хватит на бутылку доброго чилийского красного, — ответил Ларри.

— Чилийского... или болгарского, — сказала Констанца.

Но было только аргентинское каберне за десятку. Когда Констанца, София и Исмаэль ушли, Лино посмотрел на Ларри сквозь бокал.

— Я еще не поднимал тост, — сказал он вызывающе.

Ларри вызов принял.

— Валяй. Что там у тебя?

— У меня ничего, а вот со мной...

— Какие мы дерзкие.

— Я долго думал об этой минуте, Ларри.

— С того дня, когда мы познакомились в очереди за газетой и я подарил Тото барабан. Правильно?

– Я пью за Маруху, – сказал Лино. Потом помолчал. – За исполнительницу филинга... С необыкновенным голосом... Жаль только, дымила она, как паровоз...

– За твою жену, – сказал Ларри и осушил бокал.

– Где ты ее слышал?

– В переулке Амеля. Это не то, что ты думаешь.

– Мы никогда не ходили в переулок Амеля.

– Ты не ходил, а она ходила. С Росой Росалес.

– Почему она мне не сказала? – тихим голосом спросил Лино.

– Уже поздно терзаться сомнениями.

– Я терзаюсь уже двадцать пять лет. Недавно была годовщина ее смерти... А я забыл.

– Может, ей так было нужно. Маруха меняла кожу...

– Не прикидывайся дурачком, Ларри.

– Если хочешь, давай поговорим. Хотя я думаю, сейчас не лучший момент.

– А когда лучший? Расскажи мне. Вот она стоит, облокотившись на рояль, и в руках у нее рюмка мятного ликера, правильно? Она набросила шаль...

– Ты видел ее на сцене?

– Она мне так рассказывала, вечером накануне смерти. А еще повторила, присвоила слова Абдула Симбеля: "Некоторым в тягость, что жизнь все никак не заканчивается". Так это был ты.

– Нет. Это Маруха сказала. Я тебе наврал. Это она сказала в приемном покое, в больнице Каликсто Гарсии, в ту ночь...

Лино договорил:

– В ту ночь, когда она порезала вены.

– У нее была неопасная рана.

– Три шва, Ларри.

– Не думаю, что она хотела покончить с собой. Просто привлекала внимание.

– Твое внимание?

Ларри ушел от ответа.

– Мы с Росой отвезли ее в больницу. Роса заботилась о ней, как сестра.

– Роса, Роса Росалес!.. – вскрикнул Лино.

– Маруха была пьяная.

– И печальная. По моей вине.

– Не вини себя, Колдун.

– Моя вина и ничья больше, Аристидес Антунес. Не надо передергивать.

– Вы с ней оба ошибались.

– Откуда тебе знать! Налей мне еще вина...

Ларри наполнил бокалы.

– Да, ошибались, как многие ошибаются.

– Это в чем же? Думай, что говоришь...

– Вам нужно было играть.

– Играть?

– Играть, резвиться, веселиться, рисковать, даже лгать.

– Она лгала и вполне серьезно.

– А ты никогда ей не лгал? Лгут ведь не только вслух. Можно и молча.

– Лицедейство, жизнь – лицедейство. Твои слова, Ларри По.

– Неправда. Это Лупе так поет: *Жизнь – сплошной театр... Искусное лицедейство!*

– Ты ее трахал, верно?

Ларри выдержал взгляд Лино.

– Это что, важно?

– Конечно, важно, придурок!

– Ты мухлюешь, Колдун Катала.

– Я? Мухлюю? Я или ты? Кто, черт побери, здесь мухлюет? С кем я вообще говорю? С Абдулом Симбелем, Пьером Мериме, доктором Санпедро? А может, она спала с инженером О'Доннелом? Или с Элизабет Брюль?

– Я никогда с ней не спал. Никогда. Но ты мне никогда не поверишь. Никогда. Повтори я хоть тысячу раз. Тут нас с тобой обоих обмухлевали. Ты ведь хочешь услышать "да"? Правда? И я хотел бы сказать "да", уж поверь. Я мало знавал таких женщин, как она, заруби себе на носу. И все же ответ – "нет". Нет и еще раз нет.

– Почему?

– Почему я с ней не спал?

– Да.

– Потому что она не дала, – сказал Ларри.

– Надо же, вы только послушайте...

– Потому что у нее был ты.

– Засунь свои фразочки себе знаешь куда.

– Потому что она не дала. Потому что она слишком тебя любила. Потому что такая уж она была, Маруха.

Лино молчал. Ларри ссутулился.

– Однажды она мне сказала, что ты так сильно ее любишь, что...

Лино перебил его.

– Все. Хватит уже. Замолкни.

– Когда-нибудь ты мне поверишь.

– Дай мне время, – сказал Лино. – Расплатись. Я пошел домой. Разыщи Эстер. Если ты не разыщешь, я сам ее найду.

У кого-то в этой истории должен быть счастливый конец. Вернись в Арройо-Наранхо. Вам же придется о чем-то разговаривать, когда она найдется... А этот хренов поселок — ваша единственная общая тема.

— Я не решаюсь.

— Я думал, трус у нас я.

Ларри нервно перебирал приборы. Указательным пальцем водил по кромке пустого бокала, вызывая звук.

— Ты поедешь со мной в Арройо-Наранхо?

— Я твой зритель. Или ты забыл? Давай. Я с тобой съезжу. Выедем пораньше.

— Точно?

— Я человек слова.

— Да мне насрать, слова или не слова. Ты мой друг, и кончен разговор, — почти бесшумно произнес Ларри. — Мой лучший друг, Колдун.

— Хватит драм, Ларри По, — сказал Лино и поднялся.

— Давай вторую разопьем, Колдун. Не западло.

— Повзони Косточке. Она, наверное, всюду тебя ищет, как безумная. Она мне пришлась по нраву, Косточка.

— А Сладкая Малышка?

— Сладкая Малышка мне пришлась *по вкусу*... Сколько она с тебя взяла?

— Нисколько.

— А вот я оставил ей на чай.

Лино пешком вернулся домой, не думая ни о чем и ни о ком. Войдя в гостиную, он услышал всхлипы. Сухое, тоскливое подвывание. В темноте было не понять, кто так горько и глубоко страдает. Лино сел рядом с ним на диван. Лейтенант Рохелио Чанг ничего не сделал, когда старик положил руку ему на колено. И не устыдился, поняв, что его жалеют. Почувствовав человеческое присутствие, он разразился рыданиями. Лино сжимал его колено, пока четыре часа спустя над ними не соткался рассвет. Под звон колоколов к семичасовой мессе каждый отправился в свою комнату. Утро пахло квисквалисом.

— Ах, Маруха! — воскликнул Лино перед портретом жены. — Ларри прав, нам нужно было играть. Ты имела право завести свой собственный мир. И даже вышвырнуть меня оттуда. Он был твой. Твоя мечта. А что бы я стал делать в переулке Амеля? Я бы хлопал тебе во все ладоши в том баре, просто как поклонник. *Как и раньше, даже больше, я влюблен*... Выпьете со мной, барышня? Я Уго дель Карриль: *Когда меня полюбишь, из синевы небесной ревнивые созвездья глядеть нам будут вслед, и тайный луч во мраке*... Девочка, я так сильно тебя любил, что мне нравилось смотреть даже... как ты стареешь! Черт. Вот ведь блин. О Гос-

поди!.. Святая Дева из Реглы, помилуй меня, помилуй... Я тоже много чего тебе не сказал, Маруха, Маруха. Я оградил тебя от своих фантазий. Никогда тебя в них не пускал. Знаешь что, старушка? Как-нибудь под вечер, пьяненький, вот как сейчас, *еще твои губы о любви не говорили*, я бы попросил тебя накрасить мне ногти.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ДЕКАБРЯ, 2003 ГОДА. Грусть — грациозная пантера. В среду я поеду в Арройо-Наранхо. Лино убедил меня. Я поперхнулся костью страха, Исмаэль. Я знаю, что меня ждет: пустота. Никто не должен возвращаться в юность — тем более с расстояния в шестьдесят лет. Я уже не тот, поселок, где я жил, уже не тот — тоже мне новость! Кирпичный заводик рухнул в середине пятидесятых, картонажная фабрика рассыпалась в середине шестидесятых, заводь пересохла в середине семидесятых, в середине восьмидесятых перестал ходить поезд на полпятого, а в середине девяностых от масонского приюта осталось одно название. Теперь, на перевале века, твой дядя Аристидес Антунес подкинет свои кости к этим развалинам. Поселок станет зеркалом моих провалов. У Лино на этот счет своя присказка: некоторые двери лучше не открывать, и не из страха перед неизвестностью, а совсем наоборот. *Я пришел к такому заключению в возрасте, когда многие истины уже недорогого стоят, ведь смерти, даже запоздалой, не бывает интересно, чему мы научились у жизни.*

— Маму навестишь?

— Вряд ли.

Мой отец (твой дедушка) всегда говорил, что старость — это дворянский титул. Если бы Хосе Исмаэль Антунес дожил до моих лет, он, наверное, думал бы по-другому. Он умер молодым и, слава Богу, не мучаясь, через год после маминого инфаркта. "Не усердствуйте в заботах о сердце, — говорил он своим товарищам на заводике, — чтобы оно вовремя лопнуло, как шарик: все мы отдохнем, когда сердце перетрудится. Воплотим в жизнь его заслуженный отдых". Его сердце лопнуло во сне. Твои бабушка с дедушкой, должно быть, последние, кого схоронили на кладбище в Арройо: поселковый гончар-кирпичник и его "голубка", как он называл свою Габриэлу, покоятся в могиле из красного кирпича с железной оградкой.

— Я там был. Меня мама водила.

— В глубине кладбища.

— В уголке. Лино с тобой поедет?

— Надеюсь. Кто знает? Вчера много чего было. Старикам день долог.

— После ужина? Что случилось?

– Ничего, сынок, старые раны.

Знаешь ли ты, Исмаэль, что китаец или китаянка – из Китая, а не с улицы Санха – впервые празднует день рождения, когда ему исполняется семьдесят апрелей? С рождения до этой ночи, 25 568 дней (я сосчитал високосные годы), он учится быть "достойным". Такое накопление опыта, мудрого или ошибочного, учит его обходить камни, о которые он так часто спотыкался, пока рос. Ему выпадает много экзаменов. Выпускной наступает в семидесятом классе. Только тогда он удостаивается чести задуть первую свечку с одобрения его многочисленного потомства. Что же он получает в подарок? Почетное право умереть спокойно. На нашем же смачном, поверхностном, безалаберном островке старейшины племени мыкаются, как проклятые. Сплошные речи, сплошная шумиха, сплошные медальки, но ты взгляни на нас на улицах, Исмаэль, – мы ветераны войны за независимость, что зовется Жизнью с большой буквы, чтобы звучало позначительнее.

Посмотри, как мы сидим в парках и бесконечно киваем, да, да, да, уставив взгляд в слепую, вечно убегающую точку. Посмотри на нее, Исмаэль. Старуха, тощая, как жердь, старуха, будто посаженная на проволоку, старуха, бывшая девочкой, девушкой, женщиной и хорошей матерью, курит и кашляет, кашляет и курит, курит и курит, кашляет и кашляет, вяло прислонившись к дверной раме. Она может весь вечер так простоять, жамкая язык беззубыми укусами. Заключим пари: поверишь ли ты мне, если я скажу, что в юности это всех поносящее и всеми поносимое страшилище плясало рок-н-ролл, словно королева, в лицее в Марианао? По лицу видно, ей приходилось ласкать себя пальчиком в мечтах об Элвисе Пресли и Поле Анке. Ее упадничество, ее уродство и дряхлость – все равно что месть: "Забыли про меня? Пустили меня в утиль? Ах, вы так? Ну так теперь терпите меня, хоть давитесь!" – говорит она, задирает платье и выставляет свою папайю всем соседям на показ. После этого бзика успокаивается. Снова закуривает. Вперяет взгляд в пустоту. Не пытайся угадать, куда она смотрит. Нам, старикам, все равно, что перед нами. Мы довольствуемся крохами. Что нам нужно? Дерево, тень, не засранная голубями скамейка. Кому-то вроде Лино – еще чистая рубашка, койка, партия в домино, глоток "Виньи 95", девять пластинок Уго дель Карриля; правда, этих стариков, цепляющихся за прежние пожитки, бранят жадинами, скупцами, чертовыми эгоистами, жмотами; пошли в жопу, вы тут лишние, вы нам не сдались. Но устремись вглубь их зрачков, словно перевернутая подзорная труба, которая не приближает пейзаж, а отдаляет и уменьшает до размеров горошины. В крохотном центре линзы ты найдешь ключ,

нелепый довод, облегчающий бич артрита и постыдную ношу бесцеремонной ржавчины морщин, помогающий справиться с отсутствием зубов — не говоря уже о полностью исключенной возможности внезапной эрекции. Если присмотреться, Исмаэлито, в эпицентре миниатюры ты увидишь бейсбольный мяч и перчатку, черепашку в цинковом тазу, доску, исписанную цифрами, или качели, одиноко раскачивающиеся над песочницей в церковном дворике. Попробуй на мне. Я безобидная мумия, музейный экспонат. Ах, племянник! У тебя получится, ты еще невинен.

— Не говори так, дядя.

— Проникни вглубь моей сетчатки. Не бойся. Что ты видишь? Расскажи мне. Опиши.

Может, асфальт, от которого отскакивают капли дождя, пока бумажный кораблик с моим именем начинает клониться в потоке на левый борт? Его корпус мягчает, палуба проседает, нет у него ни рулевого, ни команды! Сколько красоты и совершенства в захватившем его калейдоскопическом водовороте. Природа не прощает даже собственных ошибок: она сама не знает, что сотворила, и не различает между ледниками полюсов и ресницами коровы. Мой кораблик плывет сквозь бурю. Никто не предотвратит крушения, даже сам Господь, ведь это Он расположил, чтобы лило как из ведра, и неслыханная ничтожность моего парусника не заслуживает милости ни одного из его чудес. Признаюсь, я потерял всякую надежду, когда увидел, как он погружается в жестокий водопад люка. И вот же какая штука: ан нет, мы не можем отказаться от качелей и от доски и от перчатки и от мяча, и семьдесят лет спустя мой бумажный кораблик выныривает из-под канализационной решетки с маленькой черепашкой на борту и плывет по волнам моей следующей слезы. Чего ты смеешься? Я пошл. Я кролик. Я высовываю мордочку над краем цилиндра. Пойду-ка я спать в парк. Городской шум меня убаюкивает.

— Давай обнимемся, дядя.

— Я не расстаюсь с саблей, Исмаэль.

— Давай обнимемся.

— Ты меня никогда не обнимаешь.

— Потому что грусть — пантера. Ты сам сказал. Я бы с удовольствием отправился с вами на сафари в среду.

— Знаешь, почему я всегда хожу в подтяжках?

Знаешь, почему я все еще жажду ошибаться, попадать впросак? Тебе я откроюсь: не хочу умереть, не обняв Эстер. Я искал ее под камнями, во всех ночных щелях, во всех женщинах, которыми я овладевал, с тех пор как мой отец сдал меня проститутке, чтобы у нее между ног я стал мужчиной. Что за учтивая сень-

ора, что за агнец милосердный: она разрешила называть ее Эстер, стонала от ее имени! Многих гаванок я любил с закрытыми глазами, представляя себе ее. Вся жизнь пролетела в поисках губ на вкус, как мандарин. Поэтому я разделяюсь: так, размножившись, я дроблю боль и стыд, оттого что дал ей уйти. Может, хоть кто-то из моих "я" найдет ее. Для этого и нужны друзья — чтобы мудохались с тобой вместе в горе и радости. Я ушел.

— Куда?

— Я буду в парке.

Я отказываюсь тратиться на подзорные трубы. Растягиваю Гавану внутри своего зрачка. В один прекрасный день наведу линзу на семидесятилетнюю старуху, поливающую цветы на пустом балконе, очаровательную толстушку, выкрашенную в метиленово-синий, и прокричу ее имя в подзорную трубу, будто это вовсе и не труба, а огромный жестяной громкоговоритель: "Любиииимаяяяя!"

Тото играл на барабане в подъезде. *Пара-пам-пам-пам!* Офелия попросила Лино присмотреть утром за Антонио Марией, потому что ей нужно было отнести цветы Тони, у которого в понедельник была восемнадцатая годовщина смерти. "Вернусь часа через два. Марухе тоже поставлю букетик", — сказала она перед уходом. Лино размочил кусок черствой булки в чашке кофе. Нежданная буйная радость, как у неопытного влюбленного, наполняла его поступки. Наконец, он решился. Вооружился карандашом и блокнотом, если вдруг придется записывать, медленно подошел к телефону и набрал номер. Через шесть гудков ответил женский голос:

— Але?

— Да, здравствуйте. Можно поговорить с сеньорой Эстер Роденас? Не знаю, туда ли я попал.

— Да, это Эстер.

— Эстер?

— Кто говорит?

— Ты меня не знаешь. Я знакомый твоего знакомого... Аристидеса Антунеса.

— Как-как?

— Аристидеса... Аристидеса Антунеса. Вы познакомились детьми в поселке Арройо-Наранхо...

— В Арройо? Это было сто лет назад...

— Точнее, пятьдесят семь...

— Спасибо, что напомнил.

— Аристидес тебя разыскивает...

Тото время от времени врывался в комнату с барабанчиком, требуя внимания. Карандаш дрожал у Лино в руке.

— А на что я ему... твоему знакомому Аристидесу? Я в Арройо-Наранхо жила девочкой, месяца четыре или пять, когда мой отец работал там в масонском приюте...

— Дон Гильермо!

— Да, дон Гильермо...

— Как он поживает?

— Он умер в 63-м.

— Мне очень жаль...

Лино замолчал.

— Не знаю, чем я могу ему помочь...

— Пожалуйста, не говори так. Он просто хочет зайти к тебе, поздороваться.

— У меня плохая память.

— Это сын Хосе Исмаэля с кирпичного заводика...

— Ах да, заводик там был...

— Ну, конечно, чуть за мостом Камбо! Аристидес мне рассказывал, что вы любили играть на железной дороге... Был там один поезд, на полпятого... Еще он рассказывает про полустанок, про овраг, про ущелье...

— Точно, точно...

— Вы ходили к заводи... Ведь верно? Черепашьей, кажется, Заводи...

— Аристидес, — выдохнула Эстер.

— Он самый.

— Я забыла, как его звали. Столько воды утекло!

— Так вот наш друг Аристидес — теперь великий театральный актер... Правда, уже на пенсии, но иногда все же играет...

— Да, он говорил, что хочет стать актером...

— Он работал со знаменитостями калибра Армандо Бьянки, Энрике Арредондо...

— Я рада, что он исполнил свою мечту... Рада за него...

— Его мечта — разыскать тебя, Эстер.

— Меня? Мы и виделись-то всего раза четыре или пять от силы.

— Тридцать шесть дней.

— Нет. Что-то много. Это кто так сосчитал?

— Он.

— Ну, тогда он не в себе.

— Это слабо сказано.

— Не смеши меня... Какой-то бред.

— Аристидес просил узнать, не мог бы он навестить тебя в субботу... Завтра мы едем в Арройо-Наранхо...

— Я с тех пор там не была...

— И Аристидес не был...

— А почему он сам не позвонил? Он что, немой? Извини, шучу.

— Он репетирует "Двух старых паникеров", очень трудная пьеса. Так что ему сказать? Можно?

— Нельзя.

— Как нельзя?

— В субботу я не могу. У моего внука Октавио день рождения. Меня не будет до вторника. У меня четверо детей и одиннадцать внуков. Я три раза была замужем. Сейчас вдова.

— Вдова!..

Лино сообразил, что тон его возгласа может оказать нежелательное воздействие, и постарался собраться.

— Должно быть, тяжко чувствовать себя одинокой, — сказал он.

И подавил смешок: он говорил точь-в-точь, как Ларри По, когда соблазнял своих "ветеранш".

— Ты даже не представляешь! Не будем об этом...

— У Ларри есть племянник... Он его очень любит... Исмаэль.

— Ларри? Исмаэль?

— В смысле, Аристидес... Соседи называют его Ларри... А Исмаэль — это его племянник...

— Как все запутано...

— Так значит, можно?

— Дай подумать. Скажи, пусть заходит в среду, это будет 17-е число, на кофе. Я теперь живу у черта на рогах, в Какауале...

— Какауаль!

Лино не сдержался и прямо-таки выкрикнул последнюю фразу. Эстер не обиделась и рассмеялась. Лино подумал, что у нее красивый смех.

— Все пугаются, когда я даю свой адрес.

— Аристидеса ничем не запугаешь.

— У меня нет ни одного знакомого актера... Записывай: улица Гардений, дом 14, между улицами Шипов и Гвоздик... Квартал Роденас, Какауаль.

— Ты живешь в саду...

— Разросшемся до безобразия.

— Может, в заколдованном?

— Все может быть.

— Тебе не страшно?

— Я не боюсь призраков. Мой отец успел прочертить улицы, но квартал Роденас так и остался недостроенным. Я живу в белом домике, он стоит особняком прямо посреди улицы Гардений.

— Спасибо. Ты очень порадуешь нашего общего знакомого.

— А вас как зовут?

Лино оцепенел. Попытался выиграть время болтовней:

— Не надо со мной на "вы", а то я кажусь себе стариком.

— Хорошо, как *тебя* зовут?

— Эдуардо... Эдуардо Саннедро.

— Эдуардо, передай Аристидесу, что я жду его здесь 17-го числа.

— Отлично!

— Что-то я волнуюсь... Я же едва его помню... А вдруг...

— Огромное спасибо, — быстро сказал Лино, не давая ей времени передумать.

— Не за что. Ты мне понравился, Эдуардо, — сказала Эстер и повесила трубку.

Лино прочитал, что успел записать (вдова, одиннадцать внуков, пусть Ларри ей позвонит, среда, 17-е, Какауаль, ул. Гардений, 14, Шипов, Гвоздик, Октавио, 1963, белый дом, сад) и обвел ключевые слова в кружок. Потом принялся оттачивать па в коридоре, будто танцевал танго с призраком. Тото перестал играть, увидев, как он, перекошенный танцем, выкатился в подъезд. Лино засосал племянника в свою сложную хореографию.

— Тото, пошли к дяде Ларри...

И потянул его за рукав.

До дома они не дошли. Ларри дремал в парке на углу Инфанты. Лицо он прикрыл бейсболкой. Сегодня на нем была бутылочно-зеленая майка, брюки виноградного оттенка и фиолетовые подтяжки. Пятки выпростались из парусиновых туфель.

— Я нашел ее! — прокричал Лино.

— Черт, как ты меня напугал... — сказал Ларри.

— Говорю тебе, я нашел ее!

— Кого? Ты простил меня?

— Как кого?.. Эстер. Да, я тебя простил.

Ларри побледнел.

— Не издевайся, Лино. Дай мне спать...

— Я не издеваюсь...

— Да чтоб тебя! Ну и шуточки. Ты ее даже не знаешь.

— Я полчаса говорил с ней по телефону.

— По телефону?

— Она ждет тебя в гости 17-го числа, в среду.... Она далеко живет, в Какауале...

— Ты что, за дурака меня держишь? Я полвека ее ищу, а ты раз и нашел — как по волшебству. Брось заливать. Я бы посмеялся, если бы не было так грустно. Есть же что-то святое, дружище.

— Она сказала, что не может тебя забыть.

– Не ври мне, козлина... Хватит. Хватит уже.

– Это правда... Клянусь памятью Марухи.

Ларри обулся.

– Что она еще сказала?

– Кучу всего. У нее красивый голос. Кстати, дон Гильермо умер в начале шестидесятых...

– Прекрасно.

– Прекрасно?

– Дон Гильермо разлучил нас. Ну да уже неважно...

– Понял? Я сам ее нашел!

Ларри прошелся по тротуару.

– Позвони ей, – сказал Лино.

– Ни за что. Все уже предопределено. Я пятьдесят семь лет репетировал этот миг: я подойду к двери, позвоню в звонок, закрою глаза и буду ждать скрипа двери... Когда она скажет: "Аристидес", я открою глаза и скажу: "Эстер"... И дальше мы пойдем руку об руку по жизни. Но скажи мне, как ты ее отыскал? Это чудо. Ты ведь правда ее отыскал? Не клянись понапрасну...

Лино посмотрел на Ларри. Подмигнул ему.

– Так ты, значит, много-много лет ее разыскиваешь...

– Всю жизнь. Ночь за ночью. Неустанно.

Зрачки Тото перемещались от Лино к Ларри и обратно, как глазки грызуна.

– Уверен? – злорадно спросил Лино.

– Уверен. Да что с тобой?.. Не нравится мне этот твой тон.

– Бог с ним, с тоном.

– Скажи мне... – Ларри грустно запнулся. – Как ты ее нашел?

– Очень просто. Легче легкого.

– Не верю.

Лино развел руками.

– Нашел ее имя и номер в телефонном справочнике. Роденас – не такая уж частая фамилия...

Ларри опустил глаза. Каким-то образом Тото уловил в воздухе, что *дяде Ларри* сейчас нелегко и в необъятном своем простодушии протянул ему палочки, чтобы Ларри мог всласть настучаться по барабану. Ларри с благодарностью принял поддержку дурачка: поднял палочки и изящно обрушил на кожаный круг два беспощадных удара.

– Гардений, дом какой?

– Гардений, дом 14, – сказал Лино.

Лино насчитал семь стариков под раскидистой, словно зонт, кроной дерева – единственного, что радовало глаз, на пустырьке, тронутом разрухой забвения. "Купаются в тени", – сказал он. Масонский приют лишился всякого архитектурного благородства, которое Ларри все еще приписывал ему в воспоминаниях; лишился изгороди, арек и гибискусов; залитые беспощадным солнцем три или четыре здания имели плачевный, как после бомбардировки, вид. Актер схватился за голову и сжал зубы, чтобы не дать вырваться ругательству, направленному, за неимением земного виновника, Господу: "В Бога душу мать!" – процедил он. Картонажную фабрику тоже выкорчевали под корень, и на месте сушилен для картона теперь возвышалось кургузое некрасивое здание, портившее, как показалось Ларри – возможно, безосновательно, – пейзаж. Следуя заранее выработанному маршруту, Лино и Ларри сошли с автобуса на перекрестке 100-й улицы и улицы Кальсада-де-Бехукаль, как раз напротив приюта и бывшей фабрики семейства Васальо, и углубились в поселок с твердым намерением обойти двенадцать точек, жизненно важных для мальчика по имени Аристидес Антунес. По компасу – волшебному магниту памяти.

– Святые небеса! Да Ты, Господи, сюда лет сто не заглядывал, – сказал Ларри.

Как он и предвидел, прогулка по Арройо-Наранхо оказалась бесплодной. Лино, напротив, поселок представился манящим, таинственным оазисом; более личин настоящего его интересовали тайные письмена, скрытые в них, куски прошлого, из которых складывалась головоломка жизни его друга. Он придавал значение вовсе не запустению приюта и кончине картонажной фабрики, а тому, как они вставали из руин в воспоминаниях Ларри. Ностальгия обернулась чем-то, что можно было потрогать, и за этим-то они и приехали: раздувать угли меланхолии. С собой у них было два бутерброда с омлетом, термос лимонада и Тетрадь в красной обложке. Так, вооружившись, они надеялись изловить грациозную пантеру грусти.

– Здесь жил Элисео Диего, – Ларри указал на особняк под черепичной крышей за ржавой решеткой. – Это "Вилла Берта".

Дом, казалось, был накрыт хрустальным колпаком покоя. Сосны мягко качали ветвями, будто восставали против нынешней участи. Ларри побрел вперед, прикрыв глаза. Лино, поводырь, подхватил его под локоть. Дойдя до середины столетнего моста Камбо, комедиант оперся на железные перила и закрыл лицо руками. Хрупкая, ломкая фигура. Про себя, из глубины утробы он читал торжественный псалом. Внизу овраг. Железнодорожные пути. Пока комедиант лелеял свою печаль, Лино отыскал тропинку, спускавшуюся к полустанку, где Ларри

впервые увидел нищего Мериме, но цементные ступени заросли сорняками, и он не решился штурмовать кустистый склон. *Со своего наблюдательного пункта я увидел, как Абдул змеей поднимается по каменной лесенке, ведущей к полустанку Камбо. Он высунулся над землей, ровно в углу железных перил, огляделся, состроил клоунскую гримасу, и скатился кубарем вниз по ступенькам...*

Полдень застал их на площадке возле церкви. На этом этапе пути Лино держался незаметно и дал Ларри обрыскать место действия закоулок за закоулком, словно ищейке, взявшей ароматный след. Ларри обплыл храм кругом, заглядывая в каждое окошко. Скромная, но изящная церковка Святого Антония Падуанского с латинским, почти готическим крестом в основании стояла посреди площади, как застывшая танцовщица фламенко; гребешок колокольни сидел на шее высокой башни, сужавшей двускатную крышу, которая накрывала неф и хоры. На громоотвод сел лавровый голубь. Лино услышал, как пищат птенцы в гнездах, устроенных в боковых контрфорсах; между стеной и деревянной пристройкой пустил корни термитник. "Вот оно, начало конца: термиты — ненасытная пасть. Они сожрут церковь", — сказал он. Тем временем, на Ларри волнами накатывали воспоминания. Он сорвал пучок травы с цветами и растер между пальцев, чтобы запахло, поскребся в дверь ризницы, будто хотел сказать дереву, что вернулся пятьдесят семь лет спустя после того, как вошел в нее в последний раз, что блудный сын здесь, что ради Бога он просит прощения. Он говорил сам собой. Бормотал. Вдруг раскинул руки крестом и обнял стену. Лино увидел, как он прижимается к ней щекой. Ласково целует. Став на цыпочки, старается пошире раскрыть объятия, захватить как можно больше пространства. Любовь есть осмос. Соприкосновение. Лино слушал дыхание друга. Тени сдвинулись, и темный остроугольный клин укрыл Ларри от неумолимого полуденного солнца. Так он стоял некоторое время, полностью уйдя в себя, а потом распрощался с храмом, прижавшись к нему лбом. За церковью он нашел сломанную каруселькy, разоренную песочницу и покосившиеся качели, на которых невидимая *девчушка спокойствия* играла с *девчушкой усталости.* Присев на краешек качелей, Ларри на час выпал из мира. Лино терпеливо ждал и убивал время, выбрасывая в урны сухие листья мастикового дерева, которые ветер гонял по дорожкам скверика.

Новые перемещения. Когда они проходили мимо места, где был кирпичный заводик, Ларри приободрился. Он поковырял землю под кустами и показал линотиписту кусок кирпича.

— Кончен бал, погасли свечи, — сказал он и запустил кирпич подальше.

— Идем? — спросил Лино.

— Пока не поздно.

Друзья зашагали по узким улочкам куда глаза глядят. На каком-то углу Ларри спрятался за Лино.

— Боже! — прошептал он испуганно.

— Что такое?

— Видишь ту девицу, седую?

— Ничего себе девица.

— Это моя сестра!

— Габриэла!

— Что будем делать?

— Ничего. Подожди. Это она. Подожди, пока она уйдет.

Габриэла вошла в сад перед домом. Ларри отошел на угол и прислонился к дереву. Закурил "Популар". Сигарета дрожала у него в пальцах. Лино издалека спросил:

— Ты уверен, что это Габриэла?

— Я ни в чем не уверен, Лино.

— Она неплохо выглядит...

— Да?

— Я хочу сказать, здоровой... Расскажи мне о ней. Может, тебе легче станет.

— Нет.

— Вот ведь твердолобый.

— Это она твердолобая.

— Если уж мы сюда доехали, и нам попалась Габриэла, может, стоит с ней поздороваться, по крайней мере. Это же твоя кровь, Ларри. Я бы правую руку отдал — лишь бы иметь сестру, честное слово... Хоть свидетельницу Иеговы, хоть адвентистку Седьмого дня. Или брата-партийца, даже похитителя коров, кого угодно... Это, наверное, здорово.

Ларри затоптал окурок.

— Зайдем к папе, а дальше пропади все пропадом.

— Как хочешь, Ларри, как хочешь... Дело твое. Я не вмешиваюсь.

Ворота кладбища оказались обмотаны цепями. Из-за бурно разросшихся сорняков семейного захоронения Антунесов было не разглядеть. Два гипсовых ангелочка балансировали на бетонном пьедестале. Два скучающих херувима. Ларри сказал, что на самом деле это кладбище кладбищ, погребение погребений: "свалка или священный некрополь беспамятства". Железные кресты покосились на расползшихся могилах и походили на бандерильи в загривке быка.

— Ларри, у тебя есть детские фотографии?

– Какими мертвыми выглядят мои покойники, – произнес Ларри.

Друзья присели отдохнуть под кладбищенской стеной. Лино вынул из пакета бутерброды с омлетом и откупорил термос с лимонадом. Они молча поели.

– Фотографии все остались у Габриэлы.

– Я тебе рассказывал, что Владимир с Валентиной ушли из дому? – сказал Лино, желая пробить тяжелое молчание и увести разговор от мрачных размышлений.

– Я не знал.

– Молниеносное восстание масс. Владимир перебрался куда-то к черту на рога к девушке, а Валентина поехала работать в Варадеро. Правильно сделали. Мне их будет не хватать. Рядом с ними я таким стариком себя чувствовал!

– Они это заранее задумали?

– Думаю, да, на то они и близнецы. Когда Долорес поняла, что это они серьезно, сразу же уехала к себе на родину... Обняла меня на прощание.

– Молчунья Долорес.

– Молчунья Долорес, – повторил Лино.

– А солдат Чанг?

– Выдержал без нее пятнадцать минут, а потом сиганул за нею в Лас-Тунас.

– Почти что счастливый конец, – неуверенно сказал Ларри. – Как мне жаль побежденных лейтенантов. Ох, Габриэла! Исмаэлю не говори.

– Я – могила, – сказал Лино и улыбнулся. – Во-о-он та могилка под кокосовой пальмой. И словом не обмолвлюсь Исмаэлю.

На встречу с ними прилетел ветер, и старики уснули спина к спине. Разбудил их закат. Они не рассказали друг другу своих снов. Побрели по улице Кальсада-де-Капдевила, словно двое бродяг вдоль по темному коридору ночи.

– Люди, наверное, принимают нас за привидения, – сказал Лино.

Ларри положил ему руку на плечо.

– Ты мой посох, моя опора, мой молчун, мой дружище.

– Кончай подхалимаж, – сказал Лино.

– Ладно, кончаю подхалимаж.

Они уже степенно протопали пару километров, когда рядом, визжа шинами, остановился автомобиль чечевичного цвета. На заднем сидении покоилась виолончель. Водитель открыл дверь и сказал на ломаном испанском:

– Садитесь, дедушки, Христо вас свезет.

– Христо? – переспросил Ларри.

— Христо, да. Я музыкант. Болгарин.

— Спасибо, — сказал Лино.

Автомобиль чечевичного цвета исчез в темноте. Ларри обернулся проститься с Арройо-Наранхо. Вперил взгляд между Лино и виолончелью. За ними грациозно трусила поджарая пантера.

Виолончель стонала на разные лады на каждой кочке. Лино исподтишка смотрел на Ларри, который сидел впереди подозрительно тихо и мял в руках бейсболку, словно хотел только одного — забыть нокауты этого бесполезного дня. Христо, наоборот, без конца болтал по мобильному телефону, вдруг хохотал, потом замолкал на миг и продолжал монолог с новым воодушевлением, теперь уже таким вкрадчивым, романтичным тоном, что Лино пришел к выводу, что учтивый иностранец предвкушает победу на любовном фронте и полную наслаждений ночь. "Втюрившийся басурманин — это почище цирка", — подумалось ему. В строгом смысле слова он до этого не был знаком ни с одним болгарином, если не считать того, что соседствовал с Марухой в похоронной конторе двадцать пять лет назад, в ту долгую ночь, когда Констанца наболтала столько всего, но утаила правду о своей беременности от иностранца по имени Румен Благоев. Лино пару минут вспоминал покойного. Там же были еще третьи поминки? Да. Молоденький мулат-китаец. Перед ним всплыл портрет, перетянутый лиловой лентой, во главе тихой процессии. Ларри и Лупе правы: жизнь — лицедейство. Сумма лицедейств. Лино застегнул верхнюю пуговицу рубашки.

— Холодина, — сказал он.

Ларри кивнул и продолжал мять бейсболку. Христо покуда выпустил в телефон пулеметную очередь поцелуев и отключился от беседы. Лино мало-помалу переполз на другую сторону сидения, поближе к виолончели за спиной у водителя, чтобы удобнее было следить взглядом за другом. На своем скудном испанском Христо пытался выяснить у Ларри, правда ли, что бар "Кривой кот" — это тот самый, на углу отеля "Националь", "на берегу Малекона". Лино утвердительно чихнул.

Он отказался от мысли нарушить молчание Ларри замечаниями о капризах термометра или неминуемом приближении холодного фронта. Бесполезно. Он совсем обессилел. У него болели все кости, особенно в конечностях. Прогулка по Арройо-Наранхо разбередила хвори привыкшего к сидячей работе писца, давным-давно разучившегося беззаботно передвигать ноги, так что, раз уж Ларри оставался безразличен, он предпочел нежиться в потоках врывавшегося в окошко

ветерка. Через двадцать минут они вышли на углу 23-й и улицы L.

— Очень мило с вашей стороны подвезти нас. Нынче такие люди редкость, — сказал Ларри и поблагодарил болгарина.

Тут Христо снова позвонили, и он на прощание энергично замахал им. Лино пребывал в некоем отупении.

— Встряхнись, — велел Ларри.

— Как это я так. Заснул где-то у фонтана Паулины.

— Да ты гораздо раньше захрапел.

— Правда? Неловко получилось. Но я смертельно устал.

— А сейчас?

— И сейчас.

— Я тебя провожу, — сказал Ларри.

Лино и Ларри побрели по Рампе сквозь людской поток, спешащий в обе стороны по главному проспекту столицы. Они кожей чувствовали, что воздух отяжелел от сырости в преддверии, возможно, надвигавшегося холодного фронта, какие часто бывают короткими зимами на Острове. Каждый год в декабре гаванцы и гаванки пользуются любым случаем, чтобы выгулять теплые вещички: скажем, пропахший нафталином свитер с высоким горлом или широкополое пальто, дедушкино *пардесю*, шерстяные носки, плюшевые полусапожки, джинсовый пиджак и легкий плащ — все это отдыхало двенадцать месяцев, ожидая, когда северный ветер позовет на променад. Город переодевается, и даже маяк крепости Морро, суровый страж бухты, обвивает шарфом цементную жирафью шею.

Ларри всю дорогу молчал. Подтяжки, словно поводья, болтались на поясе.

— Теперь уже я устал, — вдруг сказал он.

Лино сгреб подтяжки и потянул за них, как погонщик, ведущий мула по крутой тропе.

— Я тебя подтяну.

Ларри проделал на буксире метров двенадцать, остававшихся до дому.

— Не хочешь зайти? Дома только Офелия и Тото.

Ларри заправил подтяжки.

— Поздно уже. Мне надо прибраться...

— Ты весь вечер рта не раскрывал. Я тебя знаю как облупленного.

— Ты меня знаешь лучше всех. Мне немножко полегчало, но все равно я пойду полежу, — сказал он и помолчал. — Этот Арройо не мой Арройо.

— Знаю. Почему ты не подошел к сестре?

Ларри не ответил.

— Красивая там церковь, правда? — сказал он.

— Ты ни разу не упомянул Эстер...

— Да что ты? А у меня такое чувство, будто я весь день только о ней и говорил.

— Так или иначе, мы изловили пантеру.

— Кто знает. Она хитрая зверюга. Мама делала такой вкусный омлет с картошкой.

— А ты и не сказал.

— Восхитительный лимонад.

— Может, кофе?

Ларри покачал головой.

— Я должен подготовиться. Не знаю, что надеть. Интересно, Эстер обращает внимание на мелочи?

— Я съезжу с тобой в Какауаль.

— В этот раз не надо.

— Почему?

— Я должен один поехать.

Ларри посмотрел Лино в глаза. Только великий художник мог бы передать оттенок этих водянистых зрачков.

— Я годами мечтал о встрече с Эстер, — сказал Ларри и смешно поднял брови. — Если все пойдет плохо, не хочу, чтобы это кто-то видел. Так я хоть смогу наврать тебе, когда вернусь.

В эту минуту поднялся страшный ветер.

— Увидимся в очереди за газетой?

Ларри и Лино обнялись.

— Что с тобой, дружище?

Вместо ответа Ларри немного наклонил голову, чтобы поцеловать друга в щеку, и, поскольку Лино одновременно сделал так же, их губы соприкоснулись простодушно и неловко, на до обидного короткий миг.

— Благослови тебя Господь, дружище, — сказал Ларри и приложил указательный палец к губам Лино, приказывая молчать.

И, не говоря больше ни слова, он зашагал вниз по улице. Вдруг, словно желая сгладить натянутый мелодраматизм момента, старый акробат стал приплясывать.

— *А жена Антонио ходит вот так...* — напевал он, смешно виляя бедрами. Не оборачиваясь, он слишком высоко вскинул правую коленку и попытался подпрыгнуть на манер кенгуру, но вышло не так ловко, как раньше.

Порыв ветра сорвал с него кепку. Прилетела она прямиком в руки линотиписту.

— До завтра... — прокричал Лино, поймав ее.

Когда Ларри затерялся среди машин, Лино натянул бейсболку до ушей и даже надвинул козырек на глаза, потому что боялся, что какой-нибудь сосед-сплетник, увидев его, потом разнесет по кварталу, будто бы 10 декабря 2003 года, в 11 часов вечера, он, Лино Катала, вдовец Марухи Санчес, кривлялся посреди улицы, — сосед ведь не будет знать, что это такое жалобное чествование.

Лино вошел в квартиру, обмахиваясь кепкой.

— *Пара-пам-пам-пам!.. Пара-пам-пам-пам!..* — распевал он.

Тото выглянул из комнаты, заслышав любимый марш.

— *Пара-пам*, дедушка? — спросил он.

— *Пара-пам*, племянник!

— *Пара-пам-пам-пам?*

— *Пара-пам-пам-пам!*

Лино запустил в него кепкой — она мягко спланировала по коридору и нахлобучилась на голову дурачку.

23-я улица. Ларри нужно было пройтись. Он нарушил обет не возвращаться в Арройо-Наранхо. Одна из заповедей драматургии гласит, что, если круг драмы замыкается в той же точке, где начал шириться, идеальная окружность этой структуры говорит о близящемся финале, может, через две или три картины. Ларри сражался с порывами северного ветра. Делал пару шагов вперед, отступал, принимал вызов. “Дедушка, вы смотрите не улетите, миленький”, — сказала ему девушка, лижущая мороженое под колоннами кинотеатра “Рампа”. Ларри воспользовался тисками урагана, сгибающего его пополам, чтобы отвесить ей учтивый поклон. На минуту ему показалось, что девушка как две капли воды похожа на Элизабет Брюль. Он сполз на пол у дверей. Люди сновали мимо. Коленки, ноги, талии, лодыжки, ляжки, икры. Разве эти ботинки без шнурков — не Абдула Симбеля, эти двухцветные туфли — не Бенито О’Доннела? Вон тот мужчина хромает, как Пласидо. “Этого еще, на хрен, не хватало! — воскликнул он и снова тронулся с места: — Надо дойти до дому, во что бы то ни стало. Веселее, Аристидес!”

Вихрь хлестал его по лицу. Двое влюбленных, казалось, летели на лыжах по асфальту 23-й улицы, держась за ручку надутого зонта. “Пьер Мериме, Рафаэла Томей! — процедил он сквозь зубы. — Возьмите меня с собой!” Вдруг у него помутнело в голове, сильно затошнило. Странный озноб пробежал по всем нервным окончаниям. Не хватало воздуха. Он укрылся на второй ступеньке темного конторского здания. “Что со мной, черт побери, такое, доктор Санпедро? — воскликнул он. — Меня зовут Аристидес Антунес, меня зовут Аристидес Антунес, меня зовут Аристидес Антунес, сын Хосе Исмаэля и Габриэлы, брат

Габриэлы, дядя Исмаэля, комический и характерный актер, партнер Армандо Бьянки и Консуэлито Видаль, протеже французского акварелиста, умершего в грядке с салатом, друг линотиписта Лино, моего брата, моего братушки, также известного как Колдун Катала, я Аристидес Антунес, я Аристидес Антунес, пожизненный жених Эстер Роденас, дочери дона Гильермо Роденаса, строителя приютов... Гардений, дом 14... Помогите! Гардений, дом 14, между Шипов и Гвоздик!" Пошел дождь.

— Гардений, дом 14, между Шипов и Гвоздик.

Лаяла собака. Свернувшись клубком, Аристидес Антунес уткнул подбородок в колени и обхватил их руками. Поезд на полпятого! Гавана сотрясалась от стука колес невидимого состава. "Я предупреждал: такая красота дорого тебе обойдется", — услышал Аристидес. Это был голос нищего, которого он видел мальчиком на полустанке Льянсо в тот день, когда Эстер уехала из поселка. Лай. Аристидес открыл глаза и увидел в пяди от лица протянутую руку. Абдул Мериме смолил сигаретку. За пятьдесят семь лет он не состарился ни на морщинку. Его сопровождали четыре коричневых пса. "Я чинарик припрятал. На, докури". Аристидес глубоко затянулся. Выпустил дым. Дым прошел сквозь нищего. "Помнишь последнее, что я прокричал тебе в тот вечер, на полустанке? Ты был напуган. Я сказал, что такая красота дорого тебе обойдется... и добавил: *но оно того стоит*! Давай. Подымайся. Поезд идет, а у тебя много дел дома". Аристидес Антунес оперся на эту воздушную руку, вцепился в когтистые неосязаемые пальцы, одним прыжком вскочил на ноги и помчался сквозь толпу, подгоняемый воем псов. Словно конькобежец, завернул за угол улицы Инфанты. Покой.

Покой. Здесь не бесновался ветер. На улице не было ни души: только голоса. Аристидес вздохнул. Фонари налили идеальной формы лужи на асфальте. Гавана стала театром. Пойманная на лету фраза заставила его навострить уши.

— *Тебя не бесит, что ты все время забываешь про аспирин?*

— *Еще как, сеньора. У меня ведь такие мигрени... Знаете что? Я всегда вспоминаю, что забыла аспирин, в таком месте, где аспирина не купить...*

Лино узнал женщин, переговаривающихся с балкона на балкон. Это были не Лала и Лола, ни Лула и Лала, ни Лола и Лула, как он сперва подумал, а Лина и Кача, персонажи "Всегда что-то забудешь", пьесы Вирхилио Пиньеры.

— *А вот клещевина. И ментол. И парегорик. А вот. И гваякол. И белладонна. А аспирина нет. На помощь! На помощь!*

— *Сеньора, сеньора, что с вами?*

Рядом, на террасе, разворачивалась сцена из "Холодного воздуха":

— Образумься. Слишком мал этот дом для поминок.

— Да ой. Мы же не из высшего общества... Или ты забыла, что к нам никто не ходит?

— Неужели мама не заслужила хотя бы такого утешения?

Аристидес прокричал с улицы:

— Черт возьми! Кто-нибудь уже скажет мне, что происходит?

Что случилось? В каждом окне, на каждой террасе, на каждом балконе соседи разыгрывали пьесы Вирхилио.

— Когда я вырасту, женюсь на Лили и наряжусь ковбоем. И еще буду Суперменом, а собака у меня будет вот такая...

— Будет уже, кретин старый! Всю ночь собираешься прикидываться сосунком? Наряжусь ковбоем, буду Суперменом, собака какая-то... Придурок!

— Но, Тота, все было так красиво. Как по-настоящему.

— Вернись к материи. Посмотри на себя: кожа да кости. Давай же, Табито, ложись... Засыпай, кретин, спи, мой кошмар, спи, кусок сердца моего...

— Тота, что мы завтра будем есть?

— Страх с мясом, любовь моя, страх с мясом.

Легкий, как перышко, Аристидес Антунес скачками преодолел лестницу и ворвался в гостиную. В этот миг со стороны церкви Инфанты долетело двенадцать медленных ударов. С первым Аристидес вымыл три грязные тарелки, оставленные, наверняка, Исмаэлем, и убрал уже сверкающие кастрюли внутрь духовки; со вторым перетряхнул в обложках пластинки Синатры и высыпал в мусорное ведро содержимое пепельниц; с третьим ударом он вымыл пол во всей столовой смоченным в креолине куском пледа; с четвертым поправил картины на стенах (его Порто, его двух Викторов, его Михареса) и вытер пыль с вазы, не заметив, что увядшие гвоздики вновь зазеленели, как только он направился в спальню; с пятым застелил кровать лоскутным одеялом и вытащил из металлической папки-накопителя документы, которые понадобятся племяннику для похорон и вступления в наследование, намереваясь оставить их на подушке, на видном месте — он всегда был человеком предусмотрительным; с шестым ударом он налил себе выпить, снял рубашку, накинул подтяжки на голые плечи, открыл том Вирхилио и прочел наугад: *Утро вечера мудренее, Тота? Да, Табо, и еще утро и еще вечер... И занавес начинает очень медленно опускаться)*; с седьмым приготовил курицу с рисом на тот случай, если Исмаэль с Софией придут голодными (по опыту он знал, что, после того как заняться любовью, нет ничего лучше котелка курицы с рисом, который нужно уговорить стоя и желательно ложкой); с восьмым на скорую руку нажарил крокетов из маланги и поставил в холодильник огромный кувшин чамполы с

кучей льда; с девятым, удовлетворенно обозрев дом и убедившись, что все в полном порядке, решил, что заслужил право выкурить сигаретку на балконе; с десятым увидел, как его соседка, Электра Гарриго собственной персоной, голой выглядывает в окно напротив и, одарив его парой заговорщических взоров, выставляет груди, словно сапоты на подносе, манит утолить желание; с одиннадцатым Аристидес откликнулся на заигрывания негритянки и, протянув руку к соскам, понял, что воспаряет на три, четыре, пять пядей над полом; с двенадцатым ударом он вылетел в окно.

Незадолго до полуночи той среды, 10 декабря, полицейский, патрулировавший 23-ю улицу, обнаружил спящего старика на ступеньках темного конторского здания. Когда он слегка потряс его, пытаясь разбудить, тело потеряло равновесие и застыло на лестнице в позе эмбриона. В приемном покое больницы имени Каликсто Гарсии без спешки просмотрели его документы и нашли бумажку с номером телефона и уменьшительным именем, без фамилии. Светало. В этот час Исмаэлито стоя поедал на завтрак курицу с рисом и крокеты из маланги. Он собирался залпом выпить кувшин чамполы, оставленный для него дядей в холодильнике, когда зазвонил телефон. Исмаэль ответил с набитым ртом. Патологоанатом рассказал о том, что́, по версии полиции, произошло, и попросил как можно скорее прийти на опознание.

И я пришел.

Зовите меня Исмаэль.

1

Будьте счастливы. Играйте.
А. А.

Это Исмаэль говорит. Простите мне это вмешательство всего за несколько страниц до конца романа. Если вы дочитали досюда, то, наверное, согласитесь со мной: Ларри По и Лино Катала заслуживают честного чествования без всяких двойников. Поэтому я осмеливаюсь высунуть мордочку, как кролик над краем цилиндра (по словам моего пошлого дядюшки). Ларри научил меня не страшиться высокомерия, а Лино — не бояться простоты. Я усвоил урок, и потому раскрываю свое присутствие с горделивой скромностью. Я хочу сам рассказать обо всем, что случилось с тех пор, как я узнал, что Ларри лежит на металлической каталке в “Каликсто Гарсии”. Я имею право оплакать его в этом романе. Никто не любил Аристидеса Антунеса так, как я, и да простит мне Лино.

Работники больницы проявили искреннее добросердечие. Думаю, медсестры даже растерялись, увидев, в какой ступор я впал. Что делать парню, если умирает его кумир и не у кого больше просить помощи или совета? К тому же у Ларри было такое благостное выражение лица, будто он просил так и оставить его спать на каталке, укрытым с ног до головы зеленой простыней с накрахмаленными цветочками. Причина смерти не вызывала сомнений: остановка дыхания, обширный инфаркт. Вряд ли его душа возражала против кончины посреди улицы, потому что для него не существовало лучших декораций, чем этот театр абсурда, называемый Гаваной, единственные подмостки, где он мог обкатывать свои ужимки. Аристидес Антунес, ловкий комик, невероятный сумасброд.

Я был сообщником его проделок. Никогда не говорил ему, что думаю о его донжуанских похождениях, потому что это безобидное развлечение никому не приносило вреда. И все же в ночь бдения (позже я расскажу подробнее) случайный разговор вновь пробудил во мне сомнение, в ином свете представлявшее дядины приключения: его многочисленные женщины на самом деле верили в разыгрываемых им двойников? Или, может, они терпели носильщика Ларри По или доктора Санпедро или ливанца Абдула, потому что тоже желали отдаваться душой и телом эксцентричному любовнику-фантазеру, такому безошибочно кубинскому в своей странности, чтобы на время сбежать от того, что мы в этом романе обозначили как "ужас посредственности"? Может, они соглашались на подстрекательство, потому что эта игра давала каждой из них возможность прожить часть жизни в более яркой реальности? Что, если Рафаэлу Томей, к примеру, звали вовсе на Рафаэлой Томей? Что, если в тот вечер, когда Санпедро к ней отправился, она притворилась умалишенной, чтобы отомстить доктору за неизмеримое предательство? Эти догадки вовсе не умаляют любовных подвигов моего дяди; напротив, они, скорее, возвеличивают его, потому что совокупность взаимных мошенничеств превращает "фарс Антунеса" в коллективное творчество. Что, если Красная тетрадь повествует только об одной стороне истории? Уж не проигрывал ли Ларри, теша себя мыслью о победе? Кто знает. Это их дело. В любом случае, мой бог остается ловеласом.

2

Закоренелым ловеласом. Не успев провести в покойниках и четырех часов, Аристидес влюбил в себя весь медицинский персонал поголовно. Врачи и медсестры говорили о нем с

восхищением, почти что поклонением, как будто каждый хотел взять себе это пугало в подтяжках, которое кто-то бросил лежать на лестнице конторского здания. Одна психолог лет пятидесяти, она же социальный работник, пообещала помочь мне в борьбе с бюрократической волокитой. Я предался в ее руки. В кабинете, пока она, зажав телефонную трубку между подбородком и правым плечом, организовывала погребальный обряд, я отважился упомянуть, что мой дядя был великолепным актером, другом Армандо Бьянки, Энрике Сантиэстебана, Консуэлито Видаль, Сеперо Брито, а потому заслуживал прощания, соответствующего его рангу артиста. Вне сомнения, известные фамилии, которые я метнул из рукава, произвели на нее впечатление. "В таком случае речь идет о выдающемся гражданине, что ускорит формальности. То-то его лицо показалось мне знакомым", – сказала она. "Дядя входил в 'Тактическую группу' в 'Сан-Николас-на-куличках' и боролся с либеральной заразой", – ляпнул я, чтобы подкрепить обман. Недаром столько времени прожил с Ларри – врун из меня вышел знатный. "Ну, разумеется: значит, ваш родственник служил под началом сержанта Аренсибии, супруга Аурориты Баснуэво", – ответила психолог. "Совершенно верно: это мой дядя предал правосудию Монтелонго Пушку во время "маленькой войны" 1916 года", – сказал я проникновенно, отчего несусветный диалог обрел еще большее правдоподобие. На мгновение я представил, как Ларри помирает со смеху под своим зеленым саваном. Я глубоко благодарен психологу: если бы не ее помощь, дружелюбие и работоспособность, уж не знаю, что бы со мной стало в этой больнице.

3

Тело Аристидеса Антунеса должно было прибыть в похоронное бюро на углу улиц Кальсада и К в два часа дня, а похороны назначили на следующее утро. У меня было четыре часа на то, чтобы привести мысли в порядок. Дядя оказался первым покойником, свалившимся на мою голову. Я понятия не имел, есть ли у нас какое-нибудь семейное захоронение. Психолог посоветовала мне принести чистую одежду, потому что та, что была на нем во время "события", испачкалась из-за обычных телесных реакций. Я бессильно представил себе шкаф Ларри, и мне даже смешно стало, когда я мысленно перебрал гардероб всех его персонажей, ни один из которых не годился, чтобы в виде него лежать в гробу. В голове устроили свистопляску бесконечные вопросительные знаки, и, воз-

можно, стоило с этим смириться до тех пор, пока я не смогу разделить ответственность со вторыми или третьими лицами, более опытными в житейских делах, чем я. И тут я вернулся к давешнему вопросу: на чье плечо мне опереться? "Ах, дядя... К чему весь твой караван женщин, если ни одной из них нет сегодня с нами?" — спросил я про себя. Из телефона-автомата я позвонил Софии и рассказал ей. Попросил ее ждать меня дома. "Можешь на меня рассчитывать, любимый", — сказала она. Ее хладнокровие вернуло мне силы. Я предложил ей ускорить свадьбу и пожениться, не откладывая, прямо сейчас, прямо в часовне, где будут отпевать Ларри. Я привяжу ее к ножке кровати навсегда. Что бы там ни говорил Ларри, сильные женщины крутят нами, Антунесами, как хотят. А видимость — это так, выпендреж. Я никогда не любил Софию так сильно, как в то утро, когда повесил трубку и почувствовал себя утопающим, которого только что выбросило на песок необитаемого острова. В порыве благоразумия я счел себя обязанным сообщить маме, но, пока крутил телефонный диск, окаменел в ознобе. Для Габриэлы ее брат Аристидес умер много лет назад. Я ее хорошо знаю: она выслушает новость как божественное подтверждение ее мысли. Меня захлестывало замешательство, и я решил пойти к Лино Катала.

4

У меня в голове трепыхалась песенка, и я никак не мог избавиться от назойливого мотивчика: *А жена Антонио ходит вот так...* Хватит петь, дядя, не доводи меня! За двадцать минут, пока я шел к линотиписту, передо мной пронеслись семь лет жизни рядом с Аристидесом Антунесом и его легионом донжуанов. Впервые я шел по Гаване, не чувствуя спокойной уверенности в том, что Ларри ждет меня дома и собирается поведать очередную серию своей любовной мыльной оперы, и я упрекнул себя в том, что не научился готовить чамполу и не знаю, как сделать, чтобы курица с рисом была сочная, но и не переваренная. Тогда город показался мне не враждебным пространством, а, скорее, местом по человеческой мерке, где живут такие существа, как Лино Катала, застенчивый печатник, всегда предпочитавший оставаться в тени этого ослеплявшего всех — и меня в том числе — сияния. Город излучал свечение, которое я не сразу заметил. Я почувствовал себя портативным, я счел себя тривиальным. Ненависть — ледяная глыба. А я ненавидел этот Остров, зараженный догмами и пустыми речами, этот круглый стол, где всякие нагле-

цы берут мое слово и думают, что правда у них в кулаке: на двенадцать миллионов граждан и двенадцати балаболок хватило бы. Меня коробило от политики, тошнило от существительного "родина". Я долго презирал Остров и никому не доверял. Решил сбежать из страны как угодно, вплавь, на воздушном змее. Я не отказался от мизерной независимости, которую отвоевал, стараясь держаться подальше от всех событий — неважно, плохих или хороших; я не обманывался, принимая показуху за чистую монету, но актер телемассовки и осмотрительный линотипист разбили мой скептицизм в пух и прах. Я всего-то и выучился у них что пословице: любовь ничего не ждет взамен.

Аристидес был следопытом Эстер больше чем полвека, и все это время он поклонялся ей, как гребаной богине. Он ни разу не позволил себе предательски забыть о ней хотя бы на день, хотя бы один день не рисовать ее в воображении; а она никогда не знала о престарелом мальчишке, обнюхивавшем весь город, словно заплуталая ищейка, ищущая, опустив морду, дорогу домой. "Интересно, где бродит моя любимая сегодня утром, что собирается делать вечером? Может, у нее болит зуб? Или у нее астма? Ходила ли она вчера вечером в кино? В 'Яру' или в 'Ривьеру'? Любит ли она макароны? А сардины, селедку, филе мерлузы, отлично запанированное? Какая у нее пижама? Спит ли она в носках? Бреет ли ноги? Кому она плачется в жилетку?" — вопрошал Аристидес, выдувая дым ноздрями. Можно ли любить кого-то, кто любил тебя, а теперь уже не любит? Можно. Это не обязательно, но можно. Много где есть много разных Эстер.

Метрах в ста от дома Лино я сошел с тротуара и зашагал по середине мостовой; я согнул четыре пальца правой руки, а средний выставил вверх и запел: *А жена Антонио протестует вот так... Даже на базар так идет, даже на парад так идет...* Терпите меня! Таков был урок Аристидеса. Куба, эта Куба, которой я обиженно пренебрегал, эта колдовская гневная Куба, эта жестокая истовая Куба, эта справедливая, могучая, хрупкая, греховная, виновная, невинная, отважная и трусливая Куба, эта общая и ничья Куба, Куба станет моей Эстер. Я буду искать ее в своей ладони, в глубине своих зрачков, в воздухе, который вдыхаю и выдыхаю, пусть даже она никогда не узнает о моей любви, и полжизни я проведу, желая ее.

5

Тото бил в барабан в садике. Лино шел по улице с охапкой газет под мышкой. Он узнал меня издалека. Бедный старик:

он стал, как вкопанный. По выражению его лица я понял, какой вопрос он мне задает. Я никогда не видел столько тревоги ни у кого во взгляде. Мне показалось, он задрожал. Я кивнул, да так и остался стоять, опустив голову, уперев подбородок в ключицу, не осмеливаясь взглянуть на него. Я знал, что у Лино внутри что-то рушится. Когда я поднял голову, он сидел на краю тротуара, спрятав лицо в Ларрину бейсболку. Я дал ему выплакаться. Я дал ему поплакать и обо мне, прислонившись к столбу, стараясь держаться спокойно. Он плакал из самого нутра — о Ларри, о Лино и обо мне. А еще о маме. Если бы я сбежал из страны, дядю отвезли бы в морг и ждали бы, пока не найдутся родственники; через пару месяцев в морозильной камере его наверняка отправили бы в черном полиэтиленовом мешке в запасники какой-нибудь медицинской кафедры. Вскрыв ему грудную клетку пилой, будущие кардиологи обнаружили бы огромное сердце. Я задался вопросом: а если Ларри предпочел бы такой конец, вместо того чтобы разлагаться в могиле, пока не превратишься в кучку золы, а ей придадут форму кирпича и уложат среди десятков других кирпичей в глухую стену? Ведь нельзя исключать, что старый греховодник не отказался бы, чтобы его охаживала какая-нибудь студенточка? Кобелизм был его коньком!

Пятно мочи растекалось по брюкам Лино. Я поставил ногу между его ботинок, чтобы напомнить о своем присутствии. Старик обнял меня за ноги. Он стонал. Я помог ему потихоньку подняться по моим ляжкам и припасть к моей груди. “Ох, племянник, — сказал он. — Мне надо в душ. Я весь обоссался. Подожди меня. Я скажу Офелии, чтобы сварила кофе”. Только я потерял одного дядюшку, как тут же у меня появился другой. Что поделаешь: я рожден быть племянником. Дурачок, видимо, понял, что стряслось что-то страшное, потому что перестал играть, подтрусил к деду, словно пони, и потянул его за пряжку ремня. Так он отвел его домой. Я собрал рассыпавшиеся газеты. Согбенный, держащийся на железной хватке Тото старик слабо пошевелил пальцами, давая мне понять, чтобы я следовал за ним.

6

Я оставлю дом прибранным, кухню чистой, постель заправленной, бумаги в порядке и выкурю на балконе последнюю сигарету, до самого хабарика. Дальновидность Аристидеса, без сомнения, облегчила нам дела. Напоследок, возможно, за несколько минут до того, как отправиться с Лино в Арройо-Наранхо, он привел в

порядок свою жизнь. София нашла на кровати папку с документами. На обложке дядя оставил точные инструкции "на случай, если я сыграю в ящик". Среди договоров, связанных с его артистической карьерой, и десятков квитанций (за свет, за телефон, за воду) мы нашли свидетельство о собственности на захоронение на кладбище Колон, на имя семьи Гутьеррес Алома, где по всем прикидкам могла лежать только моя прабабка по матери. Лино заметил, что в доме царит идеальный порядок. В среду Ларри, должно быть, поднялся ни свет ни заря, иначе как бы ему хватило времени разобрать пластинки Синатры, вымыть с креолином пол в гостиной, нажарить крокетов из маланги и выжать сок из анноны, не говоря уже о восхитительной курице с рисом, которой я сегодня завтракал?

Лино попросил разрешения пройти в ванную.

Мы с Софией просматривали бумаги в гостиной, когда он вернулся с каким-то пиджаком. В ванной он обнаружил висящий на плечиках синий полосатый костюм, хлопчатобумажную рубашку, желтые подтяжки и яркий галстук. Доктор Сан-педро подчас любил нарядиться с шиком. В карманах пиджака обнаружились веревочные сандалии и записка: *Выбираю этот пижонский ансамбль. Обуйте меня в сандалии без носков: один черт в гробу ног не видать.*

Гроб был выставлен в зале похоронного бюро в намеченный час. Должен признаться, я огорчился, что бдение вышло таким спокойным: дядя предпочел бы что-нибудь посуматошнее. Весь вечер медленно подтягивались знакомые. Офелия и Тото долго не пробыли: дурачок впервые оказался в похоронном бюро. Офелия просила их извинить. Мартинесы, Марио и Хосефа, зашли около семи, а через час явилась задрапированная в строгий траур Лула от имени всех трех сестер. В полночь пришла Констанца с букетом гвоздик для Лино. Они уселись в кресла не очень близко друг от друга. Эти двое познакомились двадцать пять лет назад в таких же горестных обстоятельствах и теперь, наверное, вспоминали ту ночь. Может, она расскажет ему истинную историю "моего тестя", загадочного Румена Благоева? Занималось утро, когда появилась худенькая сеньора, которую Лино встретил объятием. Мне стало любопытно, и я незаметно подошел послушать их. Уловив имя Мерседес Косточки Бетанкур, я понял, что это одна из любовниц, занесенных дядей в Тетрадку, "пронзительный голос". Удивительно, что она Бог знает как узнала о кончине Ларри По, но еще удивительнее, что попала она на похороны "другого" человека по имени Аристидес Антунес. Вскоре я получил ответ. Привожу здесь диалог.

— Почему вы меня не дождались? — спросила она.

— Ох, Косточка, Абдул захотел купить тебе цветов... — сказал Лино.

— Я задержалась, потому что дочки не было дома, а я не знаю, где она держит чемоданы...

— Абдул так тебя любил...

— Я тоже любила Аристидеса...

Даже мой дядюшка, должно быть, всполошился в гробу.

— Ты знала, что Абдул Симбель — не настоящее имя? — спросил Лино.

— Я все знала. Однажды, пока он спал, порылась у него в сумке и увидела удостоверение личности. Я решила, что буду и дальше ему подыгрывать. Я любила его, кем бы он ни был...

— Надо же. Ты ангел, Косточка...

— Лино... Тебя же Лино зовут, верно?

— Лино Катала...

— Даже не знаю, удобно ли спросить. Что ты скажешь... Глупости, конечно, но я подумала...

— Я тебя слушаю...

— Я вот спрашиваю себя, Лино: после всего, что было между нами, то есть, я хочу сказать, между Абдулом и мной, понимаешь, ты ведь был там, после того как вы пришли и я согласилась переехать к нему, ни о чем не спрашивая... Как ты считаешь, Лино, я могу считаться его вдовой?

— Ну, разумеется, Косточка, — ответил Лино и обнял ее.

Вдова стала звездой мероприятия. Она дежурила возле гроба, положив на него правую руку, а в левой сжимая перламутровый молитвенник, покрыв лицо черной вуалью — одинокая стражница, хранительница, — пока в восемь утра процессия не отправилась. Я собирался прочесть на кладбище прощальную записку, которую оставил всем нам дядя, и избежать всяких импровизаций, но при виде скудного собрания у меня стал ком в горле. София отобрала у меня бумажку и зачитала разрозненные фрагменты, нахватав по предложению отовсюду, чтобы немного разрядить речь: *Все на сцену! Абдул Симбель, Бенито О'Доннел, Пьер Мериме, Эдуардо Сапедро, Лукас Васальо, Пласидо Гутьеррес, Элизабет Брюль, Ларри По.. Не бойтесь. Оставляю вас здесь, в бессмертии этой страницы. Будьте счастливы. Играйте. Резвитесь...*

Когда закрыли могилу великого Аристидеса Антунеса, Лино и Косточка остались поправлять венки. Констанца, София и ваш покорный слуга медленно убрели по дорожке; я без сил, измельчавший, поникший, шел между ними. Еще дядя говорил: тоска — ненужная морока, ностальгия — жуткая дрянь.

Насмехайтесь надо мной.

7

Через два дня, в воскресенье, я отнес Лино Тетрадь в красной обложке и пакет с лучшей одеждой Ларри: четыре или пять пар приличных брюк, в том числе в черно-белый ромбик, кое-какие футболки, шесть рубашек на выход, дождевик, флуоресцентную коллекцию подтяжек, куртку одного из Лесных Братьев (из постановки "Робин Гуд") и сандалии, которые дяде оказались велики. Лино, возможно, пригодится это наследство, мизерное, если вдуматься, учитывая, какой всепоглощающей любовью они одарили друг друга за шестьдесят дней безграничной дружбы. Они были примерно одного роста и комплекции; к тому же Колдун Катала всегда ходил в одних и тех же рубашечках (зеленой, синей и еще гуайябере кремового цвета, в которой присутствовал на похоронах Ларри). Мы с Софией решили сразу же переехать в дядину комнату, и это было как вторые похороны, печальные, но необходимые, потому что мы собирались начать вместе нашу историю, и (я прибегаю к доводам Аристидеса Антунеса) требовалось разобрать старое святилище, чтобы как можно скорее справить новоселье в нашем собственном раю со змеями, велосипедами, картинами друзей и яблоками.

— Спасибо, племянник, — сказал Лино, принимая у меня пакет.

— Как ты, успокоился немножко?

Вместо ответа Лино закинул пакет на плечо и вернулся к себе в комнату на заднем дворе. Он листал дядину Тетрадь, как нежданно-негаданно найденное послание в бутылке. Больше я его не видел. Или видел?

8

Через трое суток к нам постучались Офелия и Тото. Их приняла моя невеста. Я спал. Дурачок хныкал. Офелия хотела узнать, не заходил ли к нам Лино. После моего визита он странно себя вел.

— Сегодня, например, смотрю, он выходит из комнаты Рохелио и Долорес и заходит к Владимиру, будто кого-то ищет. Потом сел со мной на кухне и помог чистить батат на обед. Так ласково со мной говорил: никогда не слышала таких прекрасных слов; все благодарил. Про Тони говорил, царствие ему небесное, вспоминал его каннеллони с ветчиной.

Несколько минут спустя Офелии послышались крики во дворе. Она выглянула в окно и увидела, как Лино забирается к Тото на закорки. Парнишка радостно гарцевал, а старик

подстегивал его бейсболкой. Скачки закончились, когда наездник и скакун с хохотом повалились на пол, как на пастбище. Я проснулся и присоединился к разговору.

— А дома ничего не пропало? — спросила София.

Тото тяжело дышал.

— Все пропало. Я пошла отнести ему кофейку, а по комнате будто ураган прошел. Ноль рубашек, ноль ботинок. Жуткий беспорядок. Еще он забрал фотографии Марухи и экземпляр "Орихенес", который у него хранился в шкафу в гостиной. И все лекарства! Пожалуйста, если что-то узнаете, сообщите мне.

— Ты не переживай, Офелия. Плохие новости сразу узнаются. Можешь на нас рассчитывать, — сказала София и проводила их до лестницы.

Я умывался на кухне.

— Бедная женщина.

— Что-то тут не так. Тут какая-то интрига.

— На ней прямо лица нет.

София раскрыла балконные двери и оперлась на перила. Я восхитился ее безупречным, кубинским-прекубинским силуэтом, вытянувшимся против света, словно в театре теней. "Какая задница у моей невесты!" — подумал я.

— Какой сегодня день? — спросила София.

— Среда, 17 декабря.

— Иди-ка сюда, скорее.

Я прижался к ней сзади. София показала куда-то вдаль. Мой взгляд скатился с ее левого плеча и слетел с трамплина указательного пальца, нацеленного на перекресток улиц Инфанты и Сан-Ласаро.

— Видишь того сеньора с рюкзаком? — сказала София.

Я видел его три секунды, не больше. Человек с рюкзаком через плечо переходил Сан-Ласаро с угла на угол, петляя по диагонали. Казалось, он заблудился и не понимает, куда идет. На нем была бейсболка, желтая футболка и брюки в черно-белый ромбик с флуоресцентными подтяжками. Он поглядел направо, налево, а потом вдруг зашагал прямо и исчез в тенистой галерее.

— Вот она, интрига, милый: роман продолжается, — сказала София.

Роман.

Лино Катала решил, что это он умер. С момента этого откровения ему суждено было навечно стать Ларри По. С самого воскресенья пакет с одеждой его друга лежал нераскрытым на стуле в спальне, и Лино подумал, что пора бы уже развесить ее в шкафу. Одни подтяжки зацепились за пуговицу дождевика,

и пришлось с силой тянуть, чтобы отцепить. Когда сопротивление подтяжек было сломлено, от резкого движения Лино потерял равновесие, покатился кубарем, опасно перевернулся и упал на кровать. Этого мелкого происшествия хватило, чтобы он задохнулся в приступе тахикардии. Лежа на животе, ничего не соображая, растопырив ноги, уронив лоб на левую руку, Лино зашелся в икоте, означавшей, что вопреки его воле он все еще был жив. Дыхание согрело простыню.

Он редко задумывался о своем дыхании, но в ту декабрьскую среду все обретало какой-то неясный смысл — неясное биение легких и неясное мельтешение конечностей, все царапавших и царапавших ногтями швы матраса. Тишина доносила аромат квисквалиса. Уткнувшись лицом в подушку, Лино подумал о куске потолка, годами накрывавшем его спящее тело, и понял, что помнит все пятна сырости и непонятные капризы гипса на нем. И вот там, в этом положении, он принял решение воскресить своего друга. Кто осудит такое ничтожество, как он, робкого вдовца, всю жизнь прожившего в родительском доме, цепляющегося за спасательный круг двух-трех достойных воспоминаний? Мало кто заметит его отсутствие. Мысль о том, что он, Лино Катала все-таки умер, что конец наступил его страхам перед жизнью, пришла одновременно с уверенностью, что у него не осталось несделанных дел. Это утро, несомненно, очень подходило, чтобы раз и навсегда закрыть дверь.

Робость линотиписта оказалась сильнее учтивости. Лино прошелся внешней галереей по всему дому. Мимолетно гладил кусты, словно похлопывал лошадь по крупу. Он чувствовал себя слабым и позволил себе раствориться во вздохе. Тучи собирались на небесной площади, налезали друг на друга. Лино подобрал горсть квисквалиса и выкинул сухие листья на клумбу в саду. Это не он так нелепо себя вел, а тот, другой, Лино, который редко отваживался заглянуть в явь, а тем утром медленно, но верно занимал его место с изящным спокойствием. Назовем его Колдуном, рачительным садовником, умело холящим розы. Он оставил его сидеть на корточках и подкапывать землю металлической тяпкой. Он напевал песенку Сары Монтьель. Старый Лино был едва знаком с нежным Колдуном, ведь они перестали стремиться друг к другу и пытаться друг друга понять незадолго до женитьбы на Марухе, но, без сомнения, скучал по его нарочитой изысканности, по снам, которые тот иногда дарил ему. В память о тех невинных извращениях он позволит себе время от времени думать о нем — и отчасти жалеть их обоих, одинаково неприкаянных. Он все еще слышал, как тот напевает, когда подошел к подъезду. Все выглядело новеньким, даже древнее кресло, покрытое ртутью росы, качаю-

щееся от ветерка. Он вошел в гостиную. И тогда началось его настоящее бегство.

Взгляд коснулся каждого предмета, прикидывая, сколько тот скромно простоял здесь: вазы, что Рохелио привез из далекого Узбекистана, матрешки (внучка, дочка, мама, бабушка, прабабушка, прапрабабушка) во все еще сверкающих сарафанах, часы без стрелок, его девять пластинок Уго дель Карриля и пирамида портретов на дальней стене. Выше всех Маруха и Тони. Вот он, инвентарь его жизни. Чваниться особо нечем. Какой кошмар. Он обозрел мебель, стыдящуюся собственной обивки, бархатные подушки, бугристые от какой попало начинки, хромоногое кресло, глухонемой проигрыватель "RCA Виктор", стульчик Тото и шкаф, а в нем сейф, где он хранил на подставке экземпляр "Орихенес", распахнутый наугад. Он не возьмет с собой ничего из прошлого — кроме этого журнала в целлофановой обложке: Лино заткнул его за пояс — кинжал и свиток. В гостиной не пахло ацетоном, но по памяти он втянул носом эту загадочную субстанцию.

Офелия хлопотала на кухне, Тото где-то баловался. Лино нужно было спешить: время утекало, путь предстоял долгий. Он вошел в супружескую спальню, но не стал осматриваться, наоборот, скорее всего, закрыл глаза, ибо ничего не напоминало о двадцати пяти годах, что он провел здесь с Марухой. Потом заглянул в комнаты Владимира и Валентины и пожалел, что не может сказать им, что, пусть они и отдалились, он все равно в них души не чает и всегда заботился о них, был рядом с ними, был на их стороне. Такова жизнь. А бывает и хуже. Столкнувшись с безмятежностью трупа, скорбящие часто горько сожалеют, что не успели сказать, как сильно его любили. Это горе шипом застревает в горле, не дает дохнуть. "И с нами, покойниками, такое случается", — подумал Лино и сказал тихо: "Будьте счастливы, детки". В комнате Владимира, под стеклом на тумбочке, он увидел черно-белую фотографию, которую сделала Офелия, когда они ходили в гаванский зоосад: картинка немного смазана из-за дрогнувшей руки фотографа — он и близнецы позируют перед клеткой орангутанга с острова Борнео. Лино вздумалось забрать фотографию, но она приклеилась к стеклу, и он побоялся порвать ее. Пришлось просто скопировать ее себе на роговицу, чтобы никогда не забывать, что им троим довелось однажды провести день в Раю. Он открыл окно. В комнате пахло сыростью. У Мойсеса по радио пел Полито Ибаньес.

Дом сворачивался под его шагами. Обрастал изгородью. Напоследок он поговорил на кухне с Офелией и будто невзначай поблагодарил ее — от всей души, с трудом подбирая слова,

запинаясь. Стол был тот же, на который рухнула Маруха 24 ноября 1978 года: уронила голову на правую руку и казалась скорее спящей, чем мертвой, сидя перед соковыжималкой, полной грейпфрутового сока. На столе серебряная сахарница, до половины насыпанная дешевыми карамельками. Он не смог ясно выразить благодарность женщине, которая оставалась рядом с ним дольше всех, потому что в какую-то минуту увидел в глазах племянницы неподдельный испуг и побоялся быть уличенным, памятуя о ее живом смекалистом уме.

— Береги себя, племянница; таких, как ты, кубиночек нынче днем с огнем не сыщешь.

— Это какая же муха тебя укусила? — удивилась Офелия.

— А где Тото?

Тото на заднем дворе играл в лошадку. Лино немного покатался у него на закорках, а потом оба повалились с хохотом на пол. Тогда он притворился, что сквозь смех корчится от боли, и так сумел замаскировать слезы под последствие неудачного падения.

— Будь умником...

— Ты пошел? А меня возьмешь?

— Ты всегда со мной. Но-о-о, Тото!

Тото галопом помчался по коридору, подстегивая сам себя.

Оказавшись у себя в комнате, Лино облачился в наряд Ларри и хорошенько затянул подтяжки. Сандалии пришлись в пору: “Ну, слава Богу, а то ведь мне шагать и шагать”. Он сложил в рюкзак одежду актера, а еще кремовую гуайяберу, обе приличные рубашки и все три пары ботинок.

— Понеслась! — прокричал он, чтобы приободриться, и покинул жизнь, не оглядываясь. Но через две минуты вернулся и стал искать Тетрадь в красной обложке, судовой журнал Аристидеса Антунеса, без которого он никуда не доберется. Он оставил ее в ванной. Заодно обнаружил, что забыл спустить воду. Кран подтекал. Он подобрал с пола полотенце и закинул в рюкзак зубную щетку, расческу, бритву, два пузырька с лекарствами и ножнички. Все это время старался не смотреть в зеркало. Он взял с себя слово, что никогда не вернется домой и выучится играть, строго следуя принципам комедианта.

У Гаваны тоже свои правила, и все же ему придется нарушать их на свой страх и риск. Потом станет ясно, как поступать с документами. На этом островке *зеленее пальм* строгий полицейский контроль оставляет не так уж много места для маневра. Рано или поздно Лино Катала будет вынужден снова влезть в настоящую свою личность, но только — поклялся он себе — на очень короткие, считаные, минуты. Мы, кубинцы, привыкли быть условно свободными. Сбежать из тюрьмы все-

гда было делом нелегким. Когда освоится в чужом гнезде, он наверняка найдет способ объяснить Долорес и Офелии причину своего внезапного исчезновения, сообщит, где его искать, и, разумеется, постарается забрать кое-что из самых дорогих его сердцу пожитков. Тото — вот его горчайшая боль. Больные синдромом Дауна умирают молодыми, как боги. Лино представил, как он плачет, припав к дверному косяку, под дождем из цветов квисквалиса. Дернул за цепочку. Завинтил кран.

— Ларри, дай мне знак, — попросил он.

Лино раскрыл Тетрадь в красной обложке на последних страницах. *Мама помахала нам из дверей кухни. Всю дорогу папа напевал песню Фрэнка Синатры. Мы приехали в Гавану. Он отвел меня в бордель и сдал проститутке.* Было восемь тридцать утра — может, чуть меньше или чуть больше. На путь до Какауаля оставалось около девяти часов.

Лино Катала застегнул на себе шкуру Аристидеса Антунеса и отправился к семидесятилетней старухе по имени Эстер Роденас.

СРЕДА, 17 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА. Я Аристидес Антунес, слишком мягкий, чтобы быть клоуном, сын Хосе Исмаэля и Габриэлы, брат Габриэлы, дядя Исмаэля, друг Консуэлито Видаль и Лино Колдуна Катала (вдовца Марухиты Санчес, исполнительницы филинга), актер, донжуан и говорун, умерший всего несколько дней тому назад и воскрешенный нынче утром силой куста квисквалиса. Дон Гильермо. Кирпичи. Масонский приют. Картонажная фабрика. Эстер прыгает на скакалке. Я должен посеять эту историю у себя в голове. Сестра Элизабет (Элизабет Брюль?). Поцелуй в церкви. Как зовут моего лучшего друга? Марсель Санпедро (гинеколог?). Гутьеррес, починщик велосипедов (Пласидо Гутьеррес?). Арройо-Наранхо. Полустанок Льянсо. Полустанок Камбо. *Под вечер, ровно в шесть часов, черная машина с белыми покрышками с доном Гильермо за рулем переехала железный мост в Камбо. К решетке на крыше были приторочены узлы...* Желто-синяя станция. Заводи, черепахи. Нужно выучить мой монолог. Падре Бенито (Бенито О'Доннел?). Железнодорожные пути. Эстер бросается мне на шею. Первые девять поцелуев. Абдул Мериме (Абдул Симбель, акварелист Пьер Мериме?). Моби Дик. Последние слова. Аристидес! Эстер! Предложение руки и сердца. Пощечина. Что мы будем есть? *Страх с мясом, любовь моя, страх с мясом.* Таксист смотрит на меня в зеркало заднего вида. Старый "шевроле" дымит изо всех дыр. "Чего с мясом? Ну вы скажете, отец: такого бифштекса я еще не пробовал! А куда вы едете?" Отвечаю, что живу в Какауале и с деньгами у меня не очень. "Я вас довезу до железнодорожного

узла в Калабасаре. Забесплатно. Вы мне моего батю напоминаете. Классная у вас кепка. Я тоже болею за "Янкиз" и за Герцога Эрнандеса. От Ранчо-Бойеро дорога труднее пойдет. Сегодня Святой Лазарь, так народ прет в Ринкон". А я и забыл! Целая уйма грешников. Регулировщики пускают машины в один ряд, чтобы реки кающихся мужчин и женщин, как каждый год, свободно текли к лазарету в Ринконе испрашивать прощения и милости. Каждый выкликает свое горе, воет об угрызениях. Двое исполняющих обет тащат рельс и стегают друг друга кнутами, а сами читают "Отче наш", стонут и плачут. Потеют. Сотни, тысячи кубинцев идут почтить Бабалу Айе, оришу, покровителя страждущих, смертельно больных и животных. Один сеньор переваливается на корточках, уставив руки в боки, а подросток бичует его. Оба мучаются. Я смотрю на паломников и не решаюсь влиться в поток. Я уважаю эту Кубу, но плохо ее знаю. Сколько веры сгорает в пламени истязаний, сколько разливается покаяния, сколько безутешности и горестей, сколько вверения себя Господу. Я хотел бы молиться. По другую сторону этого человеческого чистилища живет Эстер Роденас, так что ничего не остается, кроме как выставить напоказ мои собственные грехи, точнее, грехи Лино — этого добряка, спрятавшегося у меня в сердце. *Я вскарабкался на перила. На мне были подтяжки, которые я стянул у папы, чтобы выглядеть старше. Мне удалось углядеть светлую головку Эстер...* От имени вдовца Катала я пришел исполнить обет. Мой друг остался дома, Бабалу, ухаживать за цветами. Покарай меня, я приму его наказание. Лино просит прощения, Бабалу, за свой мочевой пузырь, за свой матрас, за свой потолок и свои рубашки. Величайший его грех в том, что он никогда, никогда, никогда так и не научился говорить "я люблю тебя", не городя лишнего. Большую часть жизни он стыдился быть обычным мужчиной без яростной привлекательности героев-любовников и неизменного везения закоренелых донжуанов. Сеньора с тяжелым камнем на голове пробивает дорогу дочери, которая змеей ползет по улице на джутовой циновке. Она плачет. Какой-то бородач рисует твой лик, святой Лазарь Блаженный, на голой спине своей жены. Святой Лазарь Блаженный, благослови молчунью Долорес, лейтенанта Чанга, Мойсеса, Тони, Офелию, Исмаэля, Софию и Констанцу; благослови Абдула Симбеля, Пьера Мериме, Бенито О'Доннела, Пласидо Гутьерреса, покойного Лукаса Васальо, доктора Сан-педро, Элизабет Брюль и ее похотливого дантиста из Санта-Клары. Благослови дона Гильермо, ту китаяночку из грузовика, Хулиету Каньисарес, Мерседес Бетанкур. Благослови Маруху Санчес: замолви за нее словечко перед Господом. Разыщи ее, дружище! Не оставь мою Маруху, как я не оставлю твою Эстер!

Все ночи Лино — или почти все — были одной ночью, повторяющейся до бесконечности, вновь и вновь преумножающейся в зеркальной комнате, каковая есть память, ночью неизменного одиночества, неизменного смирения. И тогда мы познакомились в самом неподходящем месте: в очереди за газетой. То-то плакал. Я подарил ему барабан. Лино пошел домой. Я — это он; он — это я. Веди меня, Бабалу. Укажи мне путь. Мне нужно на улицу Гардений, дом 14, между улицами Шипов и Гвоздик. Я должен сказать Эстер Роденас, что Аристидес Антунес даже мертвый думает о ней.

Арройо-Наранхо. Масонский приют. Картонажная фабрика. Эстер прыгает через скакалку. Поцелуй в церкви. "Жонглеры, акробаты. Антонелла Эквилибристка. Просто Кваша, неукротимая тигрица. Бородатая Малышка. Не пропустите выступление мага Асдрубала Риондры и прекрасной Аннабель". Арройо, жизнь моя! Мой ангел-хранитель — нищий, Бабалу. Внутри ночи есть ночь, внутри родины есть другая родина, внутри Гаваны — Гавана, внутри каждого человека — человек. *Я буду искать тебя все дни своей жизни.* И я искал ее все дни своей жизни. Не умеешь ты врать, говорит Марсель Санпедро. Благодарю тебя, Бабалу. Вот он. Он самый. Святой Лазарь Блаженный: вот он, родимый, домик Эстер! Я знал, такая красота дорого мне обойдется. Но оно того стоит. Гардений, дом 14.

Белоснежный дом с белыми стенами и белыми ставнями и белыми розами в маленьком палисаднике. Под навесом крыши приютились три белые голубки, два белых кота спят в кресле, тоже белом. Я брожу перед домом, не решаясь войти. Повторяю сценарий: семнадцать поцелуев, поезд на полпятого, железный мост. Пой, Маруха, спой мне что-нибудь: *Я ненависти жду неумолимой, женюсь на Лили, я ненависти жажду и презренья: наряжусь ковбоем. Будет уже, кретин старый! Всю ночь собираешься прикидываться сосунком?* Подтолкни меня, старушка. В последний раз думаю о Лино... Пока, Колдун! Поправляю подтяжки. Набираюсь смелости. Нажимаю на кнопку звонка, раздается электрическая трель. Дверь начинает открываться. В щелку просачивается явственный запах кофе с молоком. Может, мне осталось жить восемь месяцев, а может — четыре недели или два вторника, как знать, но все это время, сколько бы его ни было отпущено, я посвящу единственной задаче: узнать, кем я никогда не был. Играть Ларри По: умереть играя.

— Аристидес?

— Эстер?

И вот так все и началось.

Эпилог

(Страница, вырванная Аристидесом Антунесом из Тетради в красной обложке,

прежде чем он отдал ее Лино Катала. София случайно нашла эту страницу через четыре недели после смерти актера и исчезновения линотиписта.)

Нереальное — реальность. Мизерное — грандиозно.

Вирхилио Пиньера

(Страница 46)
МАРУХА САНЧЕС

Имя: Маруха. Фамилия: Санчес. Прозвище: Марухита. Возраст: родилась в 1930 году. Телефон: Не давала. Особые Приметы: Дымит, как паровоз. Грустные глаза. Профессия и/или умения: Потрясающе поет, маникюрша, рисует пейзажи на ногтях. Родня: Замужем за линотипистом из Национального издательства по прозвищу Колдун. Кажется, зовут его Лино. Безобиден, насколько я знаю. Подружка Росы Росалес, хозяйки кафе "Буэнос-Айрес". Последний Отмеченный Адрес: тот же, что всегда. Первая Встреча: у Анхелито Диаса, в переулке Амеля. Она пела болеро, облокотившись на рояль. Ее лицо отражалось в лаке на ногтях. Пила мятный ликер и куталась в шаль. Она была с Росой, и мне не составило труда познакомиться с ней. Мы много говорили в тот вечер. Нам было хорошо. Просто замечательно. Она не профессиональная певица. Работает маникюршей. Я попросил Росу свести меня с подружкой. "Много хочешь", — ответила она, и я остался стоять дурак дураком, как ощипанный петух. Маруха, принцесса и золушка, исчезла в полночь. Вместо туфельки она оставила мне свой хрустальный голос. Последняя Встреча: Через несколько дней после того, как она пыталась вскрыть себе вены. Уточняю: не из-за меня. Первоначальный Любовник: Ларри По. Состояние либо Степень Испорченности Отношений в Настоящее Время: Нас очень друг к другу тянуло, не отрицаю. В других обстоятельствах кто знает — как бы это все закончилось? Я бомбардировал ее как мог, задействовал всю тяжелую артиллерию, и она пошатнулась, но так и не пала к моим ногам. А я к ее ногам пал. После попытки самоубийства мы стали отдаляться по молчаливому взаимному согласию. На прощание она сказала: "Представление окончено, Ларри, пора возвращаться домой: мой муж так сильно меня любит, что ему нравится смотреть даже,

как я старею". Маруха скончалась от инфаркта 24 ноября 1978 года у себя дома. В переулке Амеля мы устроили минуту молчания. Ее смерть разметала меня в щепки. Я тайно ходил на похороны. Затесался в процессию какого-то китайца, чтобы остаться незамеченным. Вот ведь блажь. Заключительные замечания: Столько воды утекло с тех пор, а я все вспоминаю ее с бесконечной благодарностью. Почему с благодарностью? Потому что у таких людей, как Маруха, я научился, что бывает дружба с первого взгляда, что дружба — это тоже роман. Когда я умру, я хотел бы с ней встретиться. Я попрошу ее спеть: *Прости меня, о совесть, подруга дорогая*... Никто не произносил это так, как она. Никто не слушал ее так, как я.

КОНЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Персонажи

Абдул Мериме — нищий.

Аристидес Антунес — актер театра и телевидения. Комедиант. Он же Ларри По, Лукас Васальо, Бенито О'Доннел, Пьер Мериме, Эдуардо Санпедро, Абдул Симбель, Пласидо Гутьеррес или Элизабет Брюль. Дядя Исмаэля.

Барбара — старая любовь Аристидеса.

Владимир и Валентина — близнецы. Дети Рохелио и Долорес. Валентина работает в шикарном магазине в Варадеро. Владимир учится или учился в Военной академии.

Габриэла Антунес — сестра Аристидеса, мать Исмаэля.

Габриэла Гутьеррес — мать Аристидеса Антунеса.

Долорес Мелендес — домохозяйка. Супруга Рохелио Чанга и мать Владимира и Валентины.

Дон Гильермо Роденас — отец Эстер.

Исмаэль Мендес Антунес — студент. Племянник Аристидеса и жених Софии.

Констанца — мать Софии.

Лала, Лола и Лула — сестры, соседки Аристидеса. Они же Три грации (с одной плантации).

Ларри По — любимое имя Аристидеса. Персонаж пьесы "Кто убил Ларри По?"

Лино Катала — линотипист на пенсии. Вдовец Марухи.

Марио Мартинес и Хосефа Мартинес — инженеры-химики. Соседи Аристидеса.

Марсель Санпедро — друг детства Аристидеса.

Маруха Санчес — маникюрша. Супруга Лино Катала. Тетя Офелии. Любила петь.

Мерседес Бетанкур — она же Косточка. Старая любовь Аристидеса.

Офелия — племянница Марухи. Мать Тото. Вдова Тони.

Падре Бенито — священник церкви Святого Антония Падуанского в Арройо-Наранхо.

Рафаэла Томей — старая любовь Аристидеса.

Рикардо Пиментель — уроженец Матансаса. Бывший жених Констанцы.

Роса Росалес — подруга Лино и Марухи. Владелица танго-кафе "Буэнос-Айрес".

Рохелио Чанг — лейтенант Кубинских Вооруженных сил. Супруг Долорес и отец Владимира и Валентины.

Румен Благоев — болгарский турист?

Сивая — старая любовь Аристидеса.

София — программист. Невеста Исмаэля. Дочь Констанцы.

Томасито — сын Марио и Хосефы.

Тони — повар ресторана "Анды". Супруг Офелии. Отец Тото.

Тото — сын Тони и Офелии. Страдает синдромом Дауна.

Хосе Исмаэль Антунес — отец Аристидеса.

Христо — болгарский виолончелист.

Хулиета Каньисарес — старая любовь Аристидеса.

Эдуардо и Мойсес — братья. Соседи Лино Катала.

Элена Руис — старая любовь Аристидеса.

Элоиса Санчес — сестра Марухи и мать Офелии.

Эстер Роденас — домохозяйка. Большая любовь Аристидеса Антунеса.

Комментарии к роману

С. 5. — *Элисео Диего* (1920—1994) — выдающийся кубинский поэт, прозаик и переводчик, отец Элисео Альберто. Эпиграф — из стихотворения "Безумие" (сборник "Сквозь мое зеркало", 1981).

С. 5. — *Вирхилио Пиньера* (1912—1979) — кубинский писатель, поэт, драматург, публицист и переводчик. Эпиграф и ряд других цитат в тексте романа — из "Поэмы поэзии" (1944). Также используются фрагменты драматургии, поэмы "Взвешенный остров" (1943) и т. д.

С. 6. — *Гуайябера* — мужская рубашка с коротким или длинным рукавом и нагрудными карманами, как правило, украшенная вышивкой. В 1950—1970-е непременный элемент полуофициального стиля в гардеробе кубинца.

С. 7. — *Рампа* — участок 23-й улицы гаванского района Ведадо от Малекона до улицы L.

С. 7. — *Малекон* — морская набережная в Гаване.

С. 7. — *Морайма Секада* (Мавританка, 1930—1984) — кубинская певица, исполнительница жанра, известного на Кубе как "филинг". "Прости меня, о совесть..." — одна из самых знаменитых ее композиций.

С. 10. — *“Синко-Латинос”* — аргентинская группа, игравшая рок-н-ролл (1957—1970, 1982—2012).

С. 10. — *Народная Власть* — Национальная Ассамблея Народной Власти — законодательный орган Кубы, существующий с 1976 года.

С. 11. — *Пахарито* — наряду с районом Колон, одна из “зон терпимости” в дореволюционной Гаване.

С. 13. — *“Янкиз”* — “Нью-Йорк Янкиз” — знаменитый бейсбольный клуб.

С. 15. — *Бени Море* (1919—1963) — один из величайших кубинских вокалистов, исполнитель всех жанров кубинской музыки.

С. 15. — *“Фокса”* — 39-этажный небоскреб в районе Ведадо.

С. 16. — *Однажды в тюряге...* — в оригинале примерный испанский перевод песни “Тюремный рок” (Jailhouse Rock, 1957), которую исполнял Элвис Пресли.

С. 17. — *Росита Форнес* (р. 1923) — кубинская актриса театра и кино, певица.

С. 19. — *Арека* — вид пальмы.

С. 20. — *...провожали в последний путь мулата-китайца...* — похоронное бюро находится на границе гаванского Китайского квартала. Массовая иммиграция китайцев в XIX веке привела к образованию многочисленных этнических общин, которые активно ассимилировались в кубинском обществе. Китайский элемент имеет важное значение для кубинской культуры.

С. 20. — *Сантерия* — синкретическая религия, издавна существующая на Кубе, результат взаимодействия католического культа и верований африканских племен, в первую очередь йоруба.

С. 23. — *Маланга* — корнеплод, широко используемой в кубинской и других латиноамериканских кухнях.

С. 23. — *Тамалес* — блюдо мексиканской кухни, но распространенное, в целом, в Карибском регионе и Латинской Америке; представляет собой рулетик из мелко нарубленной кукурузы, завернутый в кукурузный же лист, обычно с начинкой из свиного фарша.

С. 24. — *Электра Гарриго* — заглавный персонаж пьесы Вирхилио Пиньеры (1948).

С. 25. — Уго дель Карриль (1912—1989) — аргентинский певец, режиссер и актер, исполнитель танго.

С. 27. — *Квисквалис* (пискуала) — вьющееся растение. У Элисео Диего есть посвященное ему стихотворение (перевод П. Грушко):

> Чистейший этот аромат,
> который вольно в дом втекает
> и чем-то грустным нарекает
> наш вечер, словно бы назад
> нас властно память увлекает,
> благоуханье, чей настой
> струится вместе с темнотой
> из дали давней в сумрак зала —

твое дыхание, пискуала,
или из детства свет святой?

С. 27. — *Лино был знаком с Лесамой* — имеется в виду Хосе Лесама Лима (1910—1976), кубинский писатель, поэт, эссеист, теоретик необарокко.

С. 27. — *"Орихенес"* (1944—1956) — журнал, издаваемый одноименной группой поэтов и писателей, во главе которой стоял Лесама Лима.

С. 29. — *Абакуа* — тайное мужское общество, существующее в рамках африканских культов, основанное на Кубе в 1830-х гг. рабами, потомками южнонигерийских и южнокамерунских племен.

С. 29. — *Мы слушали пластинки Гарделя* — имеется в виду Карлос Гардель (1890—1935) — аргентинский исполнитель танго, величайший — по мнению многих — из всех.

С. 29. — *...во время мариэльской заварушки* — под "мариэльским исходом" подразумевают волну эмиграции, относящуюся к апрелю-октябрю 1980 г. 5 апреля 1980 г. тысячи кубинцев прорвались на территорию посольства Перу, прося политического убежища. Вышедшая из под контроля ситуация получила следующее разрешение: был открыт "эмиграционный коридор" между кубинским портом Мариэль и Флоридой. За время его действия Кубу покинули порядка 125 000 человек. Существует мнение, что Фидель Кастро воспользовался "мариэльским исходом", чтобы не только выпустить из страны диссидентов, но и избавиться от "отбросов общества" — преступников, душевнобольных и т. д.

С. 29. — *Переулок Амеля* — улица в Центральной Гаване, превращенная в культурный центр под открытым небом. Типологически сходен по функции с петербургской "Пушкинской, 10".

С. 29. — *А жена Антонио ходит вот так...* — известная песня жанра "сон", написанная Мигелем Матаморосом. В романе Х. Диаса "Потерянные слова" (1992) описывается следующий эпизод: кубинские поэты клали слова сона на музыку "Подмосковных вечеров", выдавая их за художественный перевод этой песни на испанский и издеваясь таким образом над Евгением Евтушенко, который бывал "растроган до слез".

С. 31. — *...времен Республики...* — то есть периода с 1902-го по 1959 г. — от обретения Кубой независимости от Испании до триумфа Кубинской революции.

С. 33. — *Экелькуа* — искаженное французское "и некоторых прочих".

С. 34. — *Альмендарес* — река в Гаване.

С. 34. — *Чампола* — молочно-фруктовый коктейль, как правило, на основе анноны, гуайявы или черимойи.

С. 36. — *Эстер Уильямс* (1921—2013) — американская спортсменка и кинозвезда.

С. 37. — *Милонга* — танцевальный вечер, где танцуют, прежде всего, танго.

С. 38. — *...слепой Техедор пел болеро...* — имеется в виду композитор, гитарист и певец Хосе Техедор (1922—1991).

С. 41. — *Парчис* — настольная игра. То же, что "лудо".

С. 44. — *Дора Алонсо* (1910—2001) — кубинская писательница.

С. 45. — *Мальта* — солодовый напиток, напоминающий сладкий квас.

С. 45. — *Бола-де-Ньеве* (Игнасио Хасинто Вилья Фернандес, 1911—1971) — знаменитый кубинский пианист, певец и композитор.

С. 46. — *Ньико Мембьела* (1913—1998) — один из знаменитейших кубинских исполнителей болеро.

С. 46. — *Крылышки каждого носа...* — цитаты из поэмы В. Пиньеры "Взвешенный остров" приводятся в переводе Д. Безносова.

С. 46. — *Виктор Мануэль* (1897—1969) — кубинский художник. "Цыганка тропиков" — его известнейшая работа.

С. 46. — *Рене Портокарреро* (1912—1985) — кубинский художник.

С. 46. — *Хосе Мария Михарес* (1921—2004) — кубинский художник. С 1968 г. жил в США.

С. 47. — *Анхелито Диас* (1921—2009) — кубинский музыкант, один из "отцов-основателей" филинга.

С. 55. — *Святая Дева из Кобре* — Святая Дева Милосердная из Кобре (местечко близ Сантьяго-де-Куба) считается покровительницей острова. Дева Мария в золотом одеянии соответствует в сантерии богине любви Очун.

С. 57. — *"Зовите меня Измаил"* — цитата из романа Г. Мелвилла "Моби Дик" приводится в переводе И. Бернштейн.

С. 59. — *Дорога Сантьяго* — путь (в действительности, несколько путей), по которым паломники идут в Сантьяго-де-Компостела поклониться мощам апостола Иакова.

С. 60. — *Фина Гарсия-Маррус* (р. 1923) — кубинская поэтесса, супруга поэта Синтио Витьера, тетя Элисео Альберто.

С. 62. — *...в далекой республике Замбия...* — речь идет об одной из интернациональных миссий, в которых кубинские профессионалы, в част-

ности медики, участвуют с начала 70-х гг. Подробнее см. также текст М. А. Фраги в настоящем номере.

С. 62. — *Консуэлито Видаль* (1930—2004) — кубинская актриса и телеведущая.

С. 66. — *...за памятником погибшим студентам...* — сквер на углу гаванских улиц Сан-Ласаро и Инфанты называется Мемориальным Парком Университетских Мучеников.

С. 66. — *Кинотеатр "Чаплин"* — кинотеатр в районе Ведадо, где, в частности, проводят фестивальные и ретроспективные показы.

С. 66. — *"Гаванская сюита"* (2003) — кубинский документальный фильм режиссера Фернандо Переса.

С. 66. — *Паладар* — термин, используемый на Кубе для обозначения частного (в большинстве случаев) семейного ресторанчика. Паладары возникли в начале 90-х, когда правительство легализовало, пусть и в ограниченном виде, частную предпринимательскую инициативу. Слово (по-испански буквально обозначающее "нёбо") происходит от названия сети ресторанов из бразильского сериала "Все дозволено" (1988) и таким образом напоминает русский термин "фазенда". *"Старый гринго"* — паладар в районе Ведадо, названный так, вероятно, по роману Карлоса Фуэнтеса (1985).

С. 69. — *...что ни тот ни другой не участвовал в Кампании по Ликвидации Безграмотности, ни в Аграрной Реформе, ни в боях в заливе Свиней и на Плайя-Хирон, ни в Карибском кризисе 1962 года, ни в Борьбе с Бандитами в горах Эскамбрай, в центре страны, ни в так называемом Революционном Наступлении конца 60-х, ни в Десятимиллионной Сафре, ни в институционализации страны, ни в интернациональных миссиях, ни в публичных осуждениях восьмидесятых, ни в "отрядах быстрого действия"...* — перечисляются важные события кубинской революционной истории: Кампания по Ликвидации Безграмотности проводилась в 1961 г., после чего Куба была объявлена "Территорией, свободной от безграмотности"; Аграрная Реформа регламентировалась законами 1959 и 1963 гг. и преследовала цель национализации, в первую очередь сахарного производства; события в заливе Свиней и на Плайя-Хирон относятся к 1961 г. и являются частью военной операции по вторжению США на Кубу; Карибский кризис был связан с размещением на Кубе советского ядерного оружия; Борьба с Бандитами, то есть контрреволюционными элементами длилась с 1960-го по 1966 г.; Революционное Наступление — экономический термин, означавший массовую конфискацию и национализацию предприятий малого бизнеса в 1968 г.: Десятимиллионная Сафра — сафра (сбор сахарного тростника) 1970 г., когда Фидель Кастро поставил стране цель добиться урожая в 10 миллионов тонн сахара, которая не была достигнута; период "институционализации страны" отсчитывается с 1971 г., когда обновляются революционные организации, создаются новые органы власти и т. д.; интернациональные миссии — см. примечание о Замбии; публичные осуждения начали практиковаться одновременно с событиями Мариэля и состояли в оскорблениях — "словесном

линчевании" — инакомыслящих, эмигрантов и их семей; "отряды (или бригады) быстрого действия" созданы в 1991 г., формируются из гражданских лиц для контролирования манифестаций и прочих выражений несогласия с правительственной политикой.

С. 70. — Кот смотрит золотистым взглядом... — стихотворение Элисео Диего "Мановение" (сборник "Версии") приводится в переводе П. Грушко.

С. 70. — *...котлетки "из синей птицы"*... — на социалистической Кубе, особенно во время так называемого "Особого периода" (с начала 90-х, когда перестала поступать помощь из стран более не существующего соцлагеря), развился пласт лексики, включающий наименования продуктов, составляющих рацион кубинца в условиях дефицита. Многие из этих номинаций носят иронический характер. К примеру, фигурирующие в тексте "croquetas de averigua" ("котлеты поди знай из чего") — переосмысленное коллективным сознанием "croquetas de ave" ("котлеты из птицы").

С. 72. — *Фелипе Дульсайдес* (1917—1991) — кубинский джазовый композитор, аранжировщик, пианист.

С. 73. — *...в национальной валюте*... — с 1994 г. на Кубе, наряду с собственно кубинским песо, которое и имеется в виду в тексте, имеет хождение так называемый конвертируемый песо, по существу эквивалентный доллару.

С. 74. — *Луис Рохелио Ногерас* (1944—1985) — кубинский писатель, поэт. Под прозвищем Рыжий является также одним из протагонистов романа Х. Диаса "Потерянные слова".

С. 75. — *Рауль Риверо* (р. 1945) — кубинский поэт и диссидент, *Марилин Бобес* (р. 1955) — кубинская поэтесса.

С. 77. — *"Мохо"* — кубинский соус с чесноком и апельсиновым соком.

С. 80. — *Лупе* (1936—1992) — кубинская певица, исполнительница болеро, сальсы, румбы. В начале 1960-х эмигрировала в США.

С. 82. — *Святая Дева из Реглы* — в кубинской иконографии одно из важнейших изображений Девы Марии. Чудотворный образ — Святая Дева в бело-голубых одеждах — находится в часовне гаванского района Регла и ассоциируется в сантерии с богиней моря Йемайей.

С. 86. — *Армандо Бьянки* (1922—1981) — кубинский актер и исполнитель танго. *Энрике Арредондо* (1906—1988) — кубинский комический актер. Много работал на телевидении, создал в передаче "За фасадом" персонаж Бернабе, знаменитый, в частности, фразой, обращенной к маленькому внуку: "Будешь себя плохо вести — посажу смотреть советские мультики!".

С. 92. —*...даже похитителя коров*... — реалия социалистической Кубы: в рацион кубинца, определяемый "Продовольственной книжкой", говядина, в принципе, не входит. Крупный рогатый скот принадлежит государству, и гражданин, присваивающий его, совершает уголовное преступление. Подробнее о проблеме см. рассказ А. Сантиэстебана в настоящем номере.

С. 95. — *Фонтан Паулины* — пышный фонтан на перекрестке трех больших проспектов в гаванском районе Серро. Строительство было ини-

циировано Паулиной Альсиной, любовницей президента Р. Грау Сан-Мартина (1944—1948); в народе известен как "биде Паулины".

С. 100. — *Сапота (мамей)* — тропический фрукт.

С. 102. — *Энрике Сантиэстебан* (1910—1983) — кубинский актер, одна из выдающихся фигур кубинского телевидения.

С. 102. — *Хосе Антонио Сеперо Брито* (1918—1989) — кубинский актер и телеведущий.

С. 102. — *Дядя входил в "Тактическую группу" в "Сан-Николас-на-куличках"* — "Сан-Николас-на-куличках" (San Nicolás del Peladero) — юмористическая программа, выходившая на кубинском телевидении с 1963-го по 1983 г. Действие каждой передачи разворачивалось в вымышленном селении в начале XX в. Упоминающиеся в тексте главки персонажи и перипетии относятся к этой программе.

С. 106. — *Аннона* — тропический фрукт, самый частый ингредиент чамполы.

С. 111. — *Полито Ибаньес* (р. 1965) — кубинский бард.

С. 112. — *На этом островке **зеленее пальм*** — цитируется высказывание Фиделя Кастро: во время поездки в США в 1959 г. он заявил, что "наша революция зеленее пальм", имея в виду, что она не является "красной", коммунистической. О социалистическом характере Кубинской революции было объявлено только в 1961 г.

С. 114. — *Герцог Эрнандес* — имеется в виду Орландо "Эль-Дуке" Эрнандес (р. 1965) — выдающийся кубинский бейсболист, игрок, в частности, "Нью-Йорк Янкиз". Брат бейсболиста Ливана Эрнандеса. Когда в 1995 г. последний стал невозвращенцем, Орландо был лишен права играть в бейсбол на Кубе и работал инструктором по физкультуре. Через два года он на лодке сбежал в США.

С. 114. — *Святой Лазарь/Бабалу Айе* — святой, почитаемый в синкретической афрокубинской религии сантерия. Совмещает черты Лазаря из Вифании, Лазаря из притчи о богаче и Лазаре и африканского божества Бабалу. Изображается немощным стариком, окруженным собаками. Покровитель больных, целитель.

Лайди Фернандес де Хуан

С чт по вскр

Перевод Марии Непомнящей

— Это тут, в доме по соседству с посольством Марокко, — сказала Мария Э.

— Ты уверена? — спросила ее мать, одной ногой ступая на асфальт.

— Да, мама, давай уже выходи, а то девушка торопится.

— Что вы, сеньора, не спешите, моя работа — это вы, — сказала таксистка, умирая от желания вытолкнуть мать Марии Э. из такси-трицикла.

— Она не торопится, доченька. Не моя вина, что сейчас все такси узкие, как точилки, да к тому же еще дерут с нас так, словно мы едем в лимузине. Подержи мой ридикюль, доченька, а то такси такое узкое, что в него не помещается такая достойная сеньора, как я, да и к тому же...

— Ах, мама, выйди ты уже наконец, во имя покойной твоей матери, мы же пропустим очередь!

© Laidi Fernández de Juan, 2008
© Ediciones Unión, 2008
© Мария Непомнящая. Перевод, 2015

— Не поминай всуе имя этой святой женщины; у нее точно снова случился бы сыпной тиф, как во времена мамби[1], если бы она увидела, как я вылезаю из этой стеклянной тыквы. Нечего смотреть на меня, доченька, подойди, помоги мне и заплати уже этой девушке, которая наверняка торопится.

Оказавшись наконец вдвоем на тротуаре улицы J., Мария Э. и ее мать направились к поблекшей двери с картонкой, на которой от руки было написано:

САИДА БАРБАРА КРИСТОБАЛИНА ВСЕМ СВЯТЫМ ПОКЛОНЯЮЩАЯСЯ. ГАДАЛКА К ВАШИМ УСЛУГАМ С ЧТ ПО ВСКР 2 ДО 6 НЕ ПЛАЧУ ЗА ЛИЦЕНЗИЮ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ЖЕЛАЮ.

— Слишком нахальная эта гадалка, тебе не кажется, доченька? — сказала мать Марии Э. — И что бы это значило: с чт по вскр? Ах, мать моя святая! Прости мне богохульство, которое я собираюсь совершить! Целуя эти четки, которые ты оставила мне еще при жизни для защиты и оберега вот этой вот души, что досталась мне в дочери и что совершила грех: подарила сердце этому дегенерату, отцу моих внуков, который сейчас увез их бог знает куда, я прошу тебя, прежде чем пересечь порог...

— Ах, мама, прошу тебя! — перебила Мария Э. — Прекрати причитать, и давай войдем уже наконец, потому что назначено было на три, а сейчас уже три десять.

— Ладно, ладно, уже иду, дай мне поправить блузку, а то из-за этой ректальной свечки, в которой мы приехали, — да еще и четки не достать из-за пазухи, — я похожа, наверное, на плохо завернутый тамаль[2]. Дай мне руку, доченька, а то внутри темно.

Преодолев три ступеньки и пройдя по коридору, Мария Э. и ее мать попали в гостиную. В дальнем углу стоял аквариум с несколькими рыбками, дремлющими вокруг гипсовой святой Варвары, пускающей пузыри ртом, таким же выцветшим, как и входная дверь. На другом конце гостиной в стеллаже из тростникового шпона времен обмена[3], которые позднее стали называться “временами золота и серебра”, пустые полки чередовались с переполненными, где вперемешку были расставле-

1. Мамби — кубинские партизаны, боровшиеся в XIX в. за независимость Кубы. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Тамаль — кубинское блюдо (существуют также мексиканские, канарские и прочие виды тамалей): свиной фарш с кукурузной крупой, который отваривается обернутым в кукурузные листья.
3. Времена обмена — период в конце 80-х гг. на Кубе, когда правительство собирало у населения золото, серебро и предметы искусства в обмен на купоны, по которым можно было приобрести одежду, мебель или электробытовые приборы.

ны пластмассовые святые Лазари, деревянные рыбки, лампы в виде Будды и кубинские флаги, такие же выцветшие, как входная дверь и рот святой Варвары в аквариуме.

Мужчина среднего возраста, чье туловище целиком занимало единственное сидячее место в комнате, схватил гитару, стоявшую на полу, и, когда Мария Э. и ее мать направились в его сторону, запел: "Ай, мама Инес, ай, мама Инес, все мы, негры, пьем кофе", — подыгрывая соответствующими аккордами.

— Это какое-то дерьмо, доченька, — прошептала мать Марии Э., — это место полно сумасшедших. Никто не может объяснить нам, что такое "с чт по вскр", потому что никого нет, а этот толстяк, который поет "Мама Инес", — ни дать ни взять Будда-светильник, каких чокнутая гадалка понаставила в этом дерьмовом месте, так что я ухожу, доченька, потому что я слишком стара для столького дерьма в одном месте. Мне все равно — на карете или на трицикле, но я ухожу отсюда. Я очень люблю детей, и я хотела бы знать, куда их увез твой бывший муж-дегенерат, но не на...

— Тсс, мама, замолчи уже, во имя покойной твоей матери, тебя могут услышать. Вот увидишь, прямо сейчас придет гадалка и проконсультирует нас. Этот сеньор, должно быть, какой-нибудь духовный хранитель или что-нибудь в этом роде. Не отчаивайся, мама.

— Духовный хранитель распевает "мама Инес"? Ах, доченька, видать, у тебя совсем крыша поехала. А я тебе говорила, чтобы ты не ходила так часто на заседания Народной Власти[1], тебя там отпрессовали сильней, чем пиццу в общественной столовке. Помоги мне сесть на этот омерзительный пол, потому как я чувствую, что сейчас потеряю сознание.

Мария Э. и ее мать устроились на полу, в еще не занятом углу, перешептываясь, в то время как мужчина среднего возраста до бесконечности повторял: все мы, негры, пьем кофе, ай, мама Инес. Пятнадцать минут спустя открылась дверь, выпуская какого-то военного, который исчез, не взглянув ни на кого. Бешено залаяли собаки, и в этот момент, в разгар лая и все мы, негры, пьем кофе, пространством завладел пронзительный возглас гадалки СЛЕДУЮЩИЙ!

Мария Э. помогла матери подняться, подняла ридикюль, и вместе они вошли в узкую комнату.

Саида Барбара Кристобалина, Всем Святым Поклоняющаяся, женщина пятидесяти с чем-то лет, одетая во все цвета

1. Национальная Ассамблея Народной Власти — законодательный орган Кубы.

радуги, из ткани со свисающими нитями перуанской шерсти, с руками, увешанными браслетами из мексиканского серебра и проволоки с нанизанными африканскими символами Элегуа, Очун и Йемайи[1], встретила их ослепительной улыбкой, как встречала каждого, кто приходил к ней каждую неделю с четверга по воскресенье с двух до шести часов вечера.

Сидя за маленьким столом, покрытым сшитой из лоскутков скатертью, на которой были красиво разложены колода испанских карт, две свечи в форме лебедей и стеклянный шар, гадалка могла не утруждаться, чтобы показать, насколько она *королева-хозяйка-всего-этого*, так что без надлежащих церемоний она жестом указала Марии Э. и ее матери на пол:

— Проходите, сестры, садитесь на коврик и поведайте мне, какими тайнами терзается ваш опечаленный разум.

— А что, в этом доме нет нормального места, чтобы сесть, стула, например? — спросила мать Марии Э. — Там снаружи есть только толстяк, который свел нас с ума "Мамой Инес", и этот козел не предложил нам присесть. Потому и спрашиваю.

— Ах, мама, не жалуйся, — укоризненно проговорила Мария Э. — Иди сюда, давай сядем в ногах у гадалки.

— Материальные проблемы, — сказала Саида Барбара Кристобалина, Всем Святым Поклоняющаяся, давая женщинам время усесться на коврики, — не интересуют существ из высшего мира. Здесь души обнажаются, открываются и позволяют моему свету снизойти на них.

— Да, однако ты развалилась в огромном кресле, как и толстяк там снаружи, который бренчит на гитаре, — прошептала мать Марии Э.

— Посмотрим, дорогие сеньоры. Я буду работать с картами, а вы говорите мне только ДА или НЕТ. Потом мы спокойно поговорим о том, что терзает ваш опечаленный разум.

Сдвинув несколько раз кучки карт и манерно покрутив некоторые из них, гадалка начала:

— Вы мать и дочь?

— Да, — ответила Мария Э.

— Вы беспокоитесь за двух детей?

— Да, — ответила Мария Э.

— Один из детей посветлее, а другой потемнее?

— Да, — ответила Мария Э.

— Они со своим папой?

1. Элеггуа, Очун, Йемайя — божества афрокубинского синкретического культа сантерия.

– Да, – ответила Мария Э.

– Они довольны, что ушли с ним?

– Конечно, – сказала мать Марии Э. – Потому что он появился, словно Санта-Клаус, с кучей подарков, после того как бросил детей, когда они были совсем малышами, в разгар Особого периода[1], который, как вы помните, был полным дерьмом, и моей дочери и мне пришлось научиться мыть их листьями агавы, чего не делали даже мамби, и готовить на акульем жиру, который пахнет мочой дряхлого старика, но сейчас никто не хочет вспоминать об этом, а он является с подарками и игрушками, вместо того чтобы спокойно позволить нам, мне и моей дочери, растить этих двоих детей, которые да, один посветлее, а второй потемнее, и да, мы беспокоимся за них, потому что они ушли на прогулку с отцом, и да, мужчина, который их забрал, – дегенерат, но он отец, и да, мы мать и дочь, моя дочь и я, здесь присутствующие, скрючились как проклятые на этом коврике, так что давайте поторопимся, и пусть уже спустятся святые, или вознесутся души, потому как мы пришли не для того, чтобы вы нам рассказали то, что мы уже и так знаем, а потому как что-то, по вашим собственным словам, терзает наш опечаленный разум. Продолжайте.

Мария Э. подумала, что после такой грубой речи ее матери можно не надеяться получить прощение гадалки. Она уже хотела уйти, сгорая со стыда, но как раз когда собиралась пробормотать какие-нибудь необходимые извинения, Саида Барбара Кристобалина, Всем Святым Поклоняющаяся, издала пронзительный крик и ее голова откинулась назад.

– Эта сумасшедшая, должно быть, еще и эпилептичка? – спросила мать Марии Э. – Только этого нам не хватало.

– Тсс, мама, пожалуйста. Наверное, это нормально – так концентрироваться для того, чтобы призвать духов.

– Это меня не интересует, доченька моя. Хоть эта женщина и живет где-то там, но питаться она должна где-то тут. Может, ей стакан горячего молока? Пойду, скажу толстяку, чтобы он прекратил свою кретинскую “Мама Инес” и принес этой сумасшедшей что-нибудь поесть.

– Подожди, мама, не двигайся, смотри, она уже приходит в себя.

– ЗЕЛЕНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ ИЛИ ЖЕЛТЫЙ, ЖЕЛТЫЙ! Вижу... вижу.

1. “Особый период в мирное время” – обозначение, данное Фиделем Кастро экономическому кризису, начавшемуся на Кубе после распада СССР.

— Что ты видишь?

— Кое-что. Что ты начала влюбляться в меня, вижу, вижу, что это так, — пропела женщина.

— Что?! — закричала мать Марии Э. — Послушайте меня внимательно, сеньора гадалка: то ли у ваших святых замкнуло провода, то ли вы уже неделю не ели как полагается и у вас поехала крыша. Давайте забудем эту ерунду. Скажите толстяку за дверью, что не только негры пьют кофе, пусть он сделает нам одолжение и принесет... Мария Э., доченька моя, ты плачешь? Да что с тобой, любовь моя? Эта ведьма напугала тебя?

Мария Э., которая начала плакать на середине потока видений гадалки, сотрясалась от рыданий, не в силах сдержаться.

— Этой песней, сеньора, мужчина, который является отцом ваших внуков, влюбил в себя вашу дочь пятнадцать лет назад. Не так ли, Мария Э.?

— Да, — ответила Мария Э.

— И он оказался подлецом?

— Да, — ответила Мария Э.

— И когда ты рожала первого сына, он был в постели с другой?

— Да, — ответила Мария Э.

— А потом ты его простила?

— Да, — ответила Мария Э.

— Потому что он подарил тебе русский кассетник с записями Стиви Уандера?

— Да, — ответила Мария Э.

— А потом ты снова забеременела?

— Ну, ну, хватит уже! — прервала мать Марии Э. — Это больше похоже на местные сплетни, чем на спиритический сеанс. А женщина эта, доченька, не справилась ли часом у Майте, местной сплетницы?

— Ах, мама, во имя покойной твоей матери, успокойся, разве ты не видишь, что духи на верном пути?

— Дорогие сеньоры, — сказала гадалка, — время перейти к магическому шару. Давайте, подойдите к моему столу.

Мария Э. и ее мать на четвереньках подползли к столу. Саида Барбара Кристобалина, Всем Святым Поклоняющаяся, взяла в руки стеклянный шар и стала по очереди подносить его к лицу каждой из присутствующих. К своему лицу, к лицу Марии Э., к лицу матери Марии Э., снова к своему, выписывая между ними в воздухе треугольник.

— Доченька, мало того что эта женщина спиритичка и эпилептичка, она еще и близоручка? — прошептала мать.

— Тсс, мама, во имя покойной твоей матери, дай ей сосредоточиться.

— Не смей больше упоминать эту святую, я уже говорила тебе, а то если бы она видела меня сейчас на коленях перед...

Вдруг новый крик гадалки и последовавший за ним грохот упавшего на пол шара напугали Марию Э. Голова Саиды Барбары Кристобалины, Всем Святым Поклоняющейся, очевидно, снова пребывающей в трансе, свесилась вправо.

— А теперь что делать будем? — спросила мать.

— Ждать, мама, ждать. Мы же убедились, что в прошлый раз она вернулась с верными видениями.

— Ай, доченька, видать, ты совсем умом тронулась. Мы пока еще ничего не выяснили, а дети, должно быть, бог знает где.

— КРАСНЫЙ, КРАСНЫЙ ИЛИ СИНИЙ, СИНИЙ! Вижу... вижу, — сказала гадалка, неожиданно возвращаясь.

— Что ты видишь? — спросила Мария Э.

— Корабль.

— Корабль?

— Корабль, груженный К., — ответила Саида Барбара Кристобалина, Всем Святым Поклоняющаяся.

— К.? — переспросила мать Марии Э.

— Да. Красками, корабельщиками, кущами, кокосами, карамельками, крикунами.

— Я продолжу, я продолжу, — с неожиданной радостью попросила Мария Э., — кристаллами, колыбелями, корралями, ковриками, консультбюро.

— И кретинами, крупами и к чертям! Вы хотите, чтобы и я с вами играла, или что тут вообще происходит? Мария Э., дочь моя, не позволяй этой женщине втянуть тебя в это, приди в себя, пожалуйста, и вернись к реальности.

— КАЧЕЛИ! — сказала гадалка, вернув голову на свое место. — Дети на качелях! Один в синих шортах, а другой в красной рубашке. Я видела, видела их!

Мария Э. обнялась с матерью и вновь заплакала, пока гадалка поднимала свой магический шар, чтобы протереть его платком с надписью: “Все на первомайскую демонстрацию”!

— Дорогие сеньоры, дети не просто качаются на качелях — они рядом с вами, совсем рядом.

— Конечно рядом, в наших сердцах! — сказала мать Марии Э., поглаживая плачущую Марию Э. по голове. — Тут нет ничего нового, сеньора гадалка.

— О нет, я выразила свою мысль не так четко, как этого желали святые. Я хотела сказать, что они находятся рядом географически.

— Хорошо, тогда скажите своим духам, чтобы дали нам точный адрес, и мы пойдем заберем детей. И прекрати плакать, Мария Э., хватит глупых слез, пойди лучше найди такси из тех, которые рикши.

— Минуточку! — сказала Саида Барбара Кристобалина, Всем Святым Поклоняющаяся. — Я чувствую приближение нового потока информации. Давайте зажжем свечи.

Лебеди загорелись, освещая лицо гадалки, взгляд которой стал неподвижным, а голова упала влево. Руки ее автоматически схватили карты и принялись в исступлении перебирать их. Через несколько минут она приняла прежний облик и совершенно спокойно сообщила:

— Дорогие сеньоры, нет причин, по которым ваш опечаленный разум должен терзаться. Дети находятся непосредственно рядом с этим домом, на качелях.

— В ПОСОЛЬСТВЕ МАРОККО? — хором спросили Мария Э. и ее мать. — Но, боже мой, что делают дети среди марокканцев?

— Ничего подобного, сеньоры, в этом здании нет посольства Марокко уже миллион лет.

— Что же там тогда?

— Здание принадлежит службам эмиграции. Предполагаю, что США.

— ЭТО ХУЖЕ, В ТЫСЯЧУ РАЗ ХУЖЕ! — закричала мать Марии Э. — Торопись, доченька моя, идем прямо сейчас на эти качели, чьи бы они ни были! Я так и знала, что отец замышляет что-то странное, а эти дети покинут страну только через мой труп.

Говоря это, она встала с помощью Марии Э., которая утерла слезы уголком лоскутной скатерти. Когда мать и дочь подходили к выходу из узкой комнаты, яростно залаяли собаки. Они продолжили путь, не попрощавшись с гадалкой, а когда оказались в гостиной, пожилой сеньор, чье туловище полностью занимало единственное сидячее место, схватил гитару, стоявшую у стены, и запел: “ай, мама Инес, ай, мама Инес, все мы, негры, пьем кофе”.

Длинноволосый мужчина, отдаленно похожий на Карла Маркса, столкнулся с Марией Э. и ее матерью, торопясь туда, откуда, перекрывая лай собак, слышался пронзительный голос Саиды Барбары Кристобалины, Всем Святым Поклоняющейся, приглашающей следующего.

Педро Хуан Гутьеррес

Из книги “Гаванская грязная трилогия”

Переводы Якова Подольного, Александра Лебедева

Не все проходит

ВЧЕРА ночью, в разгар музыки, обычного субботнего шума и пьянства, Карменсита отрезала своему мужу член. Я не знаю, как все было, потому что стараюсь держаться от этих людей подальше. На самом деле я их дико боюсь, но допустить, чтобы они об этом узнали, нельзя. Если они почуют, что мне от них не по себе и что я их боюсь, — мне конец.

Пытаясь спастись от жары, я сидел, прислонившись к двери своей комнаты, и думал, куда бы, черт возьми, податься, пока все не поутихнет и уже можно будет лечь спать. Я не умею спать при таком шуме. Итак, сижу я под дверью, и вдруг из комнаты, заливая все вокруг кровью, с дикими воплями, и хватаясь за яйца, вылетает негр. Следом Карменсита, тоже орет, в правой руке нож. Она швырнула на пол кусок его члена, который сжимала в левой руке, и крикнула ему что-то вроде: “А вот теперь давай, трахай кого хочешь, ублюдок”.

© Pedro Juan Gutiérrez, 1998
© Яков Подольный. Перевод, 2015
© Александр Лебедев. Перевод, 2015

Негр дико визжал, его тут же подхватили двое или трое и повезли в больницу. Отрезанный член остался валяться на полу, но какая-то старушка его подняла, положила в полиэтиленовый пакетик и побежала за ними, крича: “Возьмите, пусть ему там обратно пришьют! Бог ему в помощь!”.

Карменсита заперлась у себя в комнате. Думаю, она там трясется, потому что месть себя ждать не заставит. Либо ее порубят на куски братья этого типа, либо это будут полицейские, или сам этот негр. Как только его выпишут, он вернется и живьем ее сожрет.

На прошлой неделе Лили избила своего мужа. Он до сих пор в больнице, но обвинений в ее адрес не выдвинул. Одни говорят, что он слишком ее любит, а другие — что он совсем плох и почти не приходит в сознание. Такие дела. Эти негритянки опасны. Они очень агрессивны. Иногда мне кажется, что они подсыпают друг другу порошок мертвецов[1], и от этого слетают с катушек, и набрасываются друг на друга из-за какого-нибудь мужчины, который на самом деле ничего из себя не представляет. Очередной мужчина. У каждой из них за жизнь таких несколько десятков. С ними они наслаждаются и от них же страдают.

Сегодня все тихо. По воскресеньям вообще скучно. Весь дом затихает и даже замирает. Он напоминает огромное тупое чудовище: шесть дней оно извивается, изрыгает пламя, вызывает землетрясения, а в седьмой день отдыхает и набирается сил.

Я хочу воспользоваться этим временным затишьем и написать рассказ о двух трансвеститах, живущих в нашем доме. Они мои друзья. Они со всеми друзья. Очень милые, дружелюбные и очень счастливые. Кажется, люди любят их. Один из них хочет прославиться как певец. Его сценический образ, Саманта, очень похож на Мэрилин Монро. Он так искусно перевоплощается, что в любой другой стране он брал бы все призы и жил бы очень хорошо. Но здесь он нищий и полуголодный, стрижет на дому и только этим и перебивается. После представления, которое им удалось устроить в театре “Америка”, началась охота на ведьм. Охотятся не на гомиков, это выглядело бы слишком грубо, а на антрепренеров и начальников, которые выпустили на сцену трансвеститов. Они панически боятся, что любой клочок личной свободы немедленно превратится в клочок свободы идеологической.

1. Вероятнее всего, речь идет об одном из порошков, применяемых в ритуалах афрокубинских религий. (*Прим. перев.*)

Но сегодня у меня внутри какой-то беспорядок. Не могу писать. Только повторяю одну фразу: “Я люблю не раны, но шрамы”. Почему я ее повторяю, как полоумный? Я люблю не раны, но шрамы.

С каждым днем я все больше уподобляюсь неграм из нашего дома: они сидят без дела на тротуарах и пытаются выжить, продают лепешки, мыло, помидоры. Что подвернется. И так изо дня в день. Они не думают о завтрашнем дне, о том, что будет. Сидят на тротуарах, держат в руке кусок мыла или две пачки сигарет и коротают дни. И они выживают. Дни проходят.

Мне было скучно, я думал об этом и любил не раны, но шрамы, когда пришла Луиса. Сонная, она валилась с ног от усталости, зато пришла не с пустыми руками, принесла маленькие сокровища. Сорок долларов, две банки пива и полбутылки виски. Субботней ночью могло быть и получше, но ничего. Она помылась, приняла аспирин, мы включили вентилятор и голые легли в постель. Ей больше пить не хотелось, а я сделал себе виски со льдом. Она рассказала мне о типе, которого подцепила вчера на набережной. Ей нравится рассказывать мне все в подробностях. Во всех подробностях. Вчерашний ее клиент хотел секс на пляже, на песке. И получил. При полной луне, среди пальм и с восхитительной мулаткой. Тропичней некуда. Презервативы у этого типа, всего из себя европейца, были свои. Все прошло нормально. Ничего особенного он от нее не хотел.

— Член у него был тонкий, и загнут влево, поэтому было больно. Нет, это ничего. Я тебе потом расскажу, мой мачо, а сейчас я просто неживая.

И она моментально заснула. Я допил виски. Налил себе еще. Днем я спать не могу. Мне нравится смотреть на эту обнаженную мулатку. Она прекрасна. Очень стройная и красивая. Пока это не закончилось, вот оно счастье. Большего и желать нельзя. Ничего лучше поблизости просто нет.

И тут я вспомнил то далекое утро. Когда-то, много лет назад, я жил в красивом доме с большой террасой с видом на Карибское море. Я проснулся еще до рассвета и вышел на террасу. На небе была Венера, она неистово сверкала в предрассветном полумраке. Я пошел в детскую, разбудил Аннэлорен, ей тогда было лет пять-шесть, отвел ее на террасу, показал на Венеру и сказал: “И так день за днем. Сначала Венера, потом Солнце. Так всегда было и так всегда будет. Все, что важно, самые важные вещи — долговечны. И ты знаешь, что они там, и мы можем им быть благодарны”.

А потом, не знаю. Наверное, я снова принялся за виски и пил, пока не выпил все до дна.

Дитя хаоса

В окне соседнего дома я видел старуху, она была седая, выглядела немного заброшенной и грязной. Она сидела в кресле-качалке, остервенело раскачивалась и, мешая куплеты, распевала Интернационал, гимн Кубы, гимн 26 Июля, гимн кампании за грамотность, гимн Вооруженных революционных сил, снова Интернационал и дальше по кругу. Иногда она немного затихала, как будто хотела набрать воздуха и спрашивала: "Кто последний? Что, никто в этой очереди не последний? Кто последний за хлебом? Ладно, значит, я буду последней, если других нет, ой, извините, я спрашиваю-спрашиваю, мне никто не отвечает. Товарищи, кто последний?". И начинала по новой: "Ни бог, ни царь и ни герой".

Я ждал, пока дядя вернется с работы. Я просидел полчаса, слушая эту сумасшедшую. Сначала она мне мешала. Но скоро я перестал ее слышать. Привык к ее паранойе.

Так я и сидел, скучая, как вдруг подобно смерчу влетел парнишка лет шестнадцати или чуть старше. Он поздоровался со мной еле заметным кивком, что-то промычал и немедленно принялся мучить жену моего дяди, которой лет под семьдесят.

— Мне нужна дядина рубашка и галстук. И побыстрее.

— Зачем?

— Чтобы сфотографироваться на паспорт и на визу. Ну, поживее, тетя.

— Ты все-таки решился?

Паренек ее не слушал. Он рванул к шкафу в спальне, открыл его и принялся искать белую рубашку.

— Вот, эта. Тетя, погладь.

Они вернулись в гостиную.

— Карлитос, ты поздоровался с Педро Хуаном?

— Я его не знаю.

— Еще как знаешь. Педро Хуан — племянник твоего дяди. Но живет он в Гаване, так что вы уже сколько лет не виделись. Это — Карлитос, мой племянник.

Сначала я его вообще не могу вспомнить. А потом смутно припоминаю еще маленьким. Гиперактивный был мальчик.

— Это сын твоей племянницы Одалис? — спрашиваю я.

— Да, это ее младшенький.

— Точно, вот теперь вспомнил.

Эта женщина не только жена моего дяди, но еще и родственница одной из бывших жен моего брата. Иногда я и сам не могу во всем этом разобраться. Стоит приехать в родной город, и оказывается, что кругом — сплошные племянники и племянницы, не двоюродные, так внучатые. Родственников у

меня сотни. Хотя, на самом деле, никакие они мне не родственники. Тетя все окончательно разъяснила:

— Это сын Зойлы. Старший сын Зойлы.

— А, черт, ну конечно. Ты, только лысый и тощий.

Он весело со мной здоровается. Я ему улыбаюсь. Тетя снова принимается за Карлитоса.

— Значит, все-таки решился?

— Я уже сто лет как решился.

— Карлитос, это же не шутки, это навсегда.

— Я знаю.

— А что ты там будешь делать? У тебя ж ни профессии, ничего.

— Как это нет профессии. Мой папка — хозяин энергетической компании, он меня пристроит.

— Он в энергетической компании *работает*.

— Он ей *владеет*.

— Карлитос, он же живет в Нью-Джерси, а ты и английского-то не знаешь.

Парень повернулся к тете спиной и говорит мне:

— Педро Хуан, послушай. Папка там уже четыре года, он хозяин энергетической компании. И вот он прислал запрос, вызывает меня к себе. Меня и брата. Но брат ехать не хочет. Он такая размазня, такой нерешительный, просто слов нет. Ладно, чувак, мне пора уже.

— Карлитос, а ты уверен, что он там хозяин? Может...

— Нет, Педро Хуан, он, черт возьми, хозяин. Я сегодня что-то на нервах, и времени нету. Я тебе в другой раз про отца расскажу, в делах он просто зверь. Уже миллионером стал. Завяжи мне галстук.

Я на весу завязываю ему галстук.

— А ты, значит, решил поехать к папе в Нью-Джерси?

— Ну да. Там находится его компания.

— У них там холодно, и скучать будешь.

— Вот скучать я точно не буду. И холод я люблю. Педро Хуан, черт, и ты туда же? Не лезьте вы! В общем, чувак, если кто захочет купить японские часы или мотоцикл, дай мне знать.

Он показывает мне свои часы и подводит меня к окну.

Вот мотоцикл. Никелированный, сто́ит немеренно. Чувак, я вообще без гроша, мне нужны деньги, чтоб как-то до отъезда дотянуть.

Рубашка уже была поглажена. Тетя только молча хмурилась. Карлитос надел еще горячую рубашку. Надел галстук.

— Будь добр, поправь мне галстук, — попросил он меня.

Тетя привела последний довод:

— А жена, а дочка?

— Пусть остаются! Отстань уже! Я в этом дерьме больше жить не могу и с голоду подыхать. Вот увидите, я там год проживу и приплыву к вам на роскошной яхте. На самолете я не полечу. Сначала куплю роскошную яхту. Потом машину, а потом дом с бассейном. Я через год буду миллионером, вот увидишь.

А мне он сказал:

— Ладно, чувак, до встречи. Мне надо сегодня сфотографироваться, потому что завтра я еду в Гавану подавать документы. Примут документы — одной ногой уже буду в раю. А другой еще в аду.

Перевод Якова Подольного

Возвращение моряка

СПУСТЯ два года молчания и неведения моряк выслал Кармите телеграмму из Парамарибо, где писал, что возвращается и что крепко ее целует. Кармиту это озадачило.

— Я про него и думать забыла. С ума он, что ли, сошел?

Еще через неделю пришла вторая телеграмма: “Задержусь на пару дней в Пуэрто-Кабельо. Не терпится тебя увидеть. Целую крепко”.

В этот раз Кармита вышла из комнаты с телеграммой в руке, с довольным видом показывая ее всем соседям по этажу. За прошедшую неделю у нее было время все получше обдумать.

— Ах, как я хочу его скорее увидеть! Вот он — мужчина всей моей жизни.

И она тотчас же начала все готовить к его приезду. Сходила в Торговый порт, представилась его женой и добилась разрешения отправить ему радиограмму: “Получила твои письма. Люблю тебя сильно и очень жду. Целую”.

С того самого дня она стала делать все возможное, чтобы обхитрить Мигелито. На средства этого самого Мигелито она с двумя детьми жила уже год. Он был толстый, грубый, носил огромные усищи и вышедшие из моды бакенбарды. Волосат он был, как медведь, вечно потел и вонял. К Кармите на квартиру он приходил три-четыре раза в неделю. Без предупреждения. И тогда ей приходилось выпроваживать детей на улицу, запирать дверь и отдаваться ему. По-всякому. Если у нее случались месячные, она удовлетворяла его анально. Мигелито всякий раз оставлял ей сорок-пятьдесят песо, да

еще кусок мяса, немного риса и овощей. По правде, он ее не особенно беспокоил и требовал немногого. Но он был незаменим. Стоило ему на неделю исчезнуть, и вот Кармита уже бежала за ним в мастерскую. Он был токарем и порядочно зарабатывал. Достаточно, чтобы прокормить жену с тремя детьми, Кармиту и двух ее сыновей. Имелась одна только сложность: Кармен его терпеть не могла. Иногда она усаживалась на край кровати, крестилась и обращалась с молитвой к святому, чей образ стоял на столике:

— Святой Лазарь, избавь меня от этих тяжелых страданий!

Тогда Мигелито обхватывал ее, как огромная горилла, и резко тянул к себе, говоря:

— Брось эту чушь и иди сюда.

Обычно к этому моменту он уже долго лежал на спине, разогреваясь, с эрекцией, как у молодого дикого жеребца, наблюдая, как она ходит взад-вперед по комнате, медленно раздеваясь, не решаясь лечь в постель. Сам этот ритуал еще больше возбуждал его. Так или иначе, "тяжелые страдания" продолжались минут пять, потому что она уже знала, как двигать тазом, как захватить его член половыми губами и так сжать его, что он никогда не мог продержаться больше пяти минут и кончал, сопя и похрюкивая. В итоге он всегда оставался доволен, слегка утомлен и всякий раз повторял одну и ту же фразу:

— Ты бешеная какая-то. До последнего меня сушишь! Черт знает, что у тебя там между ног!

Этим все и ограничивалось. Вскоре он уходил, взбодрившись кофе и сигаретой.

Через два дня после прихода второй телеграммы, Кармен придумала бог знает какой предлог, поругалась с Мигелито, разлила кофе по кухне, объявила его скрягой и подлецом и выгнала из дома без лишних разглагольствований:

— И даже не думай снова ко мне приходить! Никогда в жизни и ни при каких обстоятельствах! Будешь нужен — позвоню на работу. Так что — вон из моей жизни и чтоб духу твоего не было!

Мигель был из тех, кто не любит долго болтать. И недолго тоже. Да и знал, что, как только ей требовалось двадцать песо, она сама к нему являлась. Так что и отвечать ничего не стал. Пожал плечами и ушел.

Кармен предупредила детей о скором возвращении Луисито. Ребята его даже не помнили.

— Не стоит вам тут его смущать, когда он придет. Обнимите, скажите "здрасте" и марш на улицу. Не надо мне вас тут под ногами.

Затем она тщательно прибралась в своей комнатушке четыре на пять метров и на крохотном чердаке. Внизу — маленькая гостиная, плита и мойка, маленький шкаф и душ. Наверху, на чердаке — две кровати — ее и двух ее детей, они спят вместе. На стене висит кусочек разбитого зеркала, а в углу болтаются на веревке три вешалки, одежда на них — поношенная и выцветшая. Кармен все вычистила, не оставив ни пылинки. Вообще она не любит мыться, не терпит воды и мыла и готова хоть насквозь провонять от жары и влажности. Чистота в доме, напротив, — ее страсть.

Она выкрасила волосы в иссиня-черный цвет, чтобы прикрыть проступающую на висках седину. Кармите сорок четыре года, а выглядит на десять лет моложе. Она тщательно выбрила ноги и подмышки и накрасила ногти на руках и ногах нежно-розовым лаком, который так идет к ее смуглой коже. Распугала соседок-сплетниц, сказав, что у нее мигрень, а детей выпроводила на улицу.

— Сюда будете приходить только спать. В остальное время я вас видеть в доме не хочу. Вы уже взрослые мужчины. А мужчинам место на улице.

Детям — десять и двенадцать, но оба уже знают, что к чему. Кармен всю жизнь была занята со своими мужчинами, а они лет с шести-семи слонялись по району. “Вон отсюда и не путайтесь под ногами”, — говорит она им каждое утро.

Подготовив все, она уселась ждать, слушая оркестровую музыку по радио “Энциклопедия” и читая старые романы Корин Тельядо, опубликованные сорок лет назад в журнале “Ванидадес”. Через два дня приехал Луисито. Она встретила его свежая, как огурчик, отдохнувшая, улыбаясь и источая аромат одеколона.

Луисито явился ранним утром с четырьмя чемоданами, огромными и тяжелыми, как будто их набили свинцом. Он побывал в Японии, Китае, Вьетнаме и стоял во всех портах в той части света. На обратном пути его корабль прошел Панамский канал и курсировал между Аргентиной, Бразилией, Венесуэлой и Колумбией. Всего — двадцать восемь месяцев плавания. Он привез всего, начиная с китайского шелка и вьетнамских вееров и заканчивая огромными терракотовыми слонами, колумбийской марихуаной, спрятанной в бутылки из-под шампуня, японскими часами, а также самую разнообразную дешевую мелочевку из Гонконга. Кроме того, он вернулся с полутора тысячами долларов в карманах. Сойдя на сушу, получил всю причитавшуюся ему зарплату в десять тысяч песо.

В общем, он явился, груженный подарками, как Дед Мороз, и немедленно началось празднование. Луисито уже сперт-

ма в мозг ударяла, и он чуть в обморок не падал от стольких дней воздержания. Кармита показала себя во всей красе. Она была полна решимости добиться золотой медали, побив заодно мировой рекорд. На меньшее она была не согласна. За сорок восемь часов у нее появились мешки под глазами, выступили морщины, она сбросила десять фунтов, а вся шея оказалась в засосах и лиловых синяках, которые Кармита потом гордо показывала соседкам, чтобы те знали, как ее буквально пожирает ее самец, как она по-прежнему может нравиться и любого мужчину свести с ума.

В промежутках, когда он позволял ей встать с постели, она незаметно таскала вещи из его чемоданов и бегала к соседям их продавать. Платки, расшитые блузы, туфли, гребни, благовония, экстракт женьшеня, фигурки Будды, слонов, солнечные очки, пластмассовые игрушки. И все по дешевке.

Праздник длился непрерывно: ром, пиво, сигареты, вкусная еда, разнузданность и разврат. В одном занюханном борделе в Осаке Луисито насадил себе жемчужину на головку члена. Эта новинка обоих привела в восторг. Они терлись друг о друга до экстаза, балансируя на жемчужине.

На третий день Луисито ненадолго ушел от Кармиты. Он отправился в гости к своей крестной матери. Подарил ей упаковку благовоний, фигурку Будды, шитый платок и пять долларов и попросил позвонить его братьям в Сантьяго.

Через два дня четверо братьев приехали в Гавану. Заросшие, очень черные, веселые и беспрестанно смеющиеся. В поезд они сели уже пьяными и только и ждали, как бы ввязаться в какую-нибудь заваруху, чтобы всем показать, что они — самые крутые мачо из всех крутых мачо. В общем, молодые, полные жизни, ищущие приключений. Луисито — старший из них. Ему тридцать три года. Младшему — двадцать семь. Каким-то образом они все набились в квартирку Кармен и там устроились. Праздник пошел по-новому. Эти прожорливые, голодные, мускулистые и развеселые мулаты отправились вместе с братом по магазинам и купили взамен своих лохмотьев новую, цветастую одежду, духи и в довершение — по толстой золотой цепи на каждого. Они попали в Рай — и в этом Раю были хозяевами. Музыка без конца, еда и выпивка. Тусовка не хуже карнавала в Сантьяго: на всю катушку, не думая о завтрашнем дне. Мужики веселятся, а баб — на кухню, подносить еду, пока их не потребуют в постель. Кармита трудилась, ни на минуту не отходя от плиты. Пятеро братьев расстарались, выставляя напоказ всю свою мужскую удаль в поглощении еды и выпивки. Они привели четырех местных шлюх и по очереди пользовали их в душе за занавеской.

Кармен терпела три дня, терпела четыре. На пятый день к ней пришла светлая мысль спрятать у соседки тот немногий скарб, который еще оставался в чемоданах. Она полазила по карманам Луисито, пока тот спал, и выяснилось, что осталось у него триста долларов и семьсот песо. Она почувствовала себя оскорбленной. Как этот гребаный алкоголик со своими четырьмя братьями-дебилами умудрился так быстро все потратить? От злости у нее слезы навернулись. Она едва сдержалась, чтобы не растолкать его. Но сдержалась. Деньги, которых хватило бы на два года безбедной жизни, испарились за пять дней. Сомневалась она только пару мгновений — потом решилась, схватила триста долларов и семьсот кубинских песо и спрятала под матрас. Затем разбудила Луисито, дергая его за ногу.

— Эй ты, проклятый, давай уже, поднимайся! Проспаться надо — вали дрыхнуть куда-нибудь в другое место!

Было два часа ночи, и крики услышал весь дом. Все соседи ждали этой ссоры, потому что знали, что Кармита вот-вот не выдержит и взорвется.

— Ты чего? Дай поспать спокойно!

Луисито — настоящий мужик, и женское недовольство для него в новинку. Эта была нормальная пьянка, которая, как и положено, должна была закончиться только вместе с деньгами. Так всегда и происходило. Тут просыпаются братья, и до них доходит, что Кармен собирается всех выставить из дома:

— Эй, Луисито, да не слушай ты эту бабу. Будь мужиком, всыпь ей как следует.

Но Кармита уже держала в руках мачете:

— Тому, кто поднимет на меня руку, отрежу ее!

Мачете свистит в воздухе в руках яростной и решительной женщины и убеждает самого разнастоящего мужика.

— Да у нее крыша поехала, ребят! Пошли-ка отсюда, пока она кого-нибудь не зарезала!

— Совсем охренела! Мы ей в доме такую движуху устроили, а она нас выбросить хочет.

Луисито попытался взять ситуацию под контроль:

— Выйдите на минутку на крышу, сейчас я с ней поговорю.

— Ты отсюда первый вылетишь — сейчас же, чертов алкоголик!

— Но как же, любовь моя, как же наше общее счастье — ты все это хочешь выкинуть вон? Я хочу жениться на тебе и...

— Да пошло оно все! Забирай братьев, и чтоб духу тут вашего больше не было!

Луисито прибегает к последнему средству — соблазнению. Вынимает из штанов свой огромный, красивый член и огромные, как у жеребца-осеменителя, яйца и начинает их по-

глаживать. — Это твоя игрушка, Кармен. Ты ведь не хочешь это потерять? Хочешь, я их отправлю домой, а мы опять останемся вдвоем — только ты и я?

— Нет, нет, хватит! Все кончено! Ты поменьше им махай, а то я тебя сейчас этим самым ножом кастрирую, козел! Ты — сволочь похотливая, а дружки твои — кучка дерьма! Вы мне тут не нужны.

— Кармита, нам же так хорошо было все время. Не горячись так из-за мелочей! Я хочу от тебя сына, любовь моя!

— Сына? Зачем? Чтоб вышел такой же пьяница и насильник, как ты?

— Любовь моя, я два года мечтал о тебе, там, на корабле. Не надо так со мной.

— Мечтал обо мне? Другим будешь эти сказки рассказывать. За два года ты мне не написал ни одного письма, не прислал ни одного песо, а теперь являешься тут на готовенькое. Пшел вон!

— Жизнь моя, но я безумно тебя люблю!

Так продолжалось еще некоторое время. Кармита стояла, не выпуская мачете из рук и не позволяя Луисито вкрадчиво приблизиться к ней. Наконец, моряк сдался. Оделся и весь в слезах вышел на крышу. Братья остались им недовольны.

— Ну ты даешь, Луисито! Мужики не плачут! Ты мужик или педик?

— Да ну на фиг такую бабу! Веселей давай! Поехали в Сантьяго дальше тусоваться!

Кармита бросила им вслед пустой чемодан:

— Сматывайтесь быстрее, а не то я сбегаю за полицией, заявлю на вас — и сядете! Вон отсюда!

И она захлопнула дверь у них перед носом. Луисито подобрал пустой чемодан, и они пошли прочь.

На следующий день Кармита пробежалась по соседям, с целью сбыть фигурку слона, сделанную под фарфор. Большую, шестнадцать дюймов в высоту. Запросила за нее пять долларов. Какая-то соседка взяла за три. Кармита, ликуя, схватила купюры:

— Ну вот, это последнее, что оставалось от моряка!

И тогда она спустилась по лестнице и направилась к телефонной будке — звонить Мигелито.

Перевод Александра Лебедева

Сенель Пас

Волк, лес и новый человек

Перевод Дарьи Синицыной

МЫ с Исмаэлем вышли из бара и распрощались, бывай, Давид, два часа уже, и я остался один и хотел дальше с кем-то говорить и не хотел быть один. Сначала я собрался в кино, но уже у самой кассы передумал и решил лучше позвонить Вивиан, но уже у самой телефонной будки передумал и сказал себе: так, Давид, вообще-то лучше всего переждать до прихода автобуса в "Коппелии", Храме Мороженого. И вот тут-то... ах, Диего.

Храмом Мороженого называл это место один пидор, мой друг. Я говорю "пидор" любя — ему бы не понравилось, скажи я по-другому. У него была своя теория. "Гомосексуалисты — это которым мужики до некоторой степени нравятся, но они могут держать себя в руках, — говаривал он, — а еще это люди, которых собственный социальный (в смысле, политический) статус так приостанавливает, что они, в конце концов, ссыхаются, как изюм". Я отчетливо слышу его, вот он стоит у балконной двери, в руках непременная чашка чаю. "Но те, кто, как я, при одном намеке на фаллос теряют всякий человеческий облик, проще говоря, борзеют, те — пидоры, Давид, пи-до-ры, и кончен разговор".

© Senel Paz, 1991
© Дарья Синицына. Перевод, 2015

Мы как раз тут и познакомились, в “Коппелии”, в такой день, когда не знаешь, вниз или вверх по улице побредешь, встав из-за стола. Он явился к моему столику, уселся напротив, пробормотав “с вашего позволения”, и тут же завалил все кругом пакетами, сумками, зонтиком, рулонами бумаги и вазочкой с мороженым. Я бросил на него взгляд: и дураку ясно, на какую ногу он хромает; к тому же он взял клубничное мороженое, хотя в тот день завезли и шоколадное. Мы сидели в самом центре кафе, а от “Коппелии” рукой подать до Университета, и в любую минуту нас мог увидеть кто-нибудь из моих знакомых. Потом станут донимать — что это за мамзель скрашивала мое одиночество в мороженице да когда же я приведу ее в общежитие и всем представлю. Смеха ради, без задней мысли, но я-то знаю: когда я ни в чем не виноват, у меня хуже всего получается отбрехаться и я жутко нервничаю, а значит, шутки шутками, но возникнут подозрения, и к этому приложится, что Давид какой-то таинственный, Давид слова в простоте не молвит, вот вы слышали, чтобы он сказал: “едрить вашу за ногу”?, да у Давида нет девушки с тех пор, как Вивиан его бросила, так это она его бросила? а чего она его бросила?; в общем, все доводы разума указывали, что надо бросать мороженое и рвать когти, все равно — вверх по улице или вниз. Но в то время я уже отучился внимать доводам разума, не то что раньше, когда этими самыми доводами чуть себе жизнь не загубил... Вдруг я почувствовал, будто коровий язык облизывает мне лицо. Блудливый взгляд вновь прибывшего — так я и знал, уж такие они; у меня аж под ложечкой засосало. В маленьких городках женоподобные мужчины беззащитны, всякий норовит над ними посмеяться, и они стараются не высовываться, но в Гаване, я слыхал, совсем другое дело, тут у них свои повадки. Если он снова на меня заглядится, а я ему так врежу, что он полетит, выблевывая клубнику, на пол, то он тут же раскричится, да так, чтобы все расслышали: “Ох, миленький, за что? Ни на кого я не оборачивался, честное слово, любимый!” Так что пусть облизывает сколько угодно, я на провокации не поддаюсь. Сообразив, что выразительные взгляды не возымели действия, он выложил на стол еще один сверток. Я про себя улыбнулся, понял, что это наживка, ну да я и не подумаю ее заглатывать. Только искоса глянул, это были книги, зарубежные издания, а на самом верху бросилось мне в глаза — потому что наверху — издательство “Сейш Барраль”, серия “Краткая библиотека”, Марио Варгас Льоса, “Война конца света”. Боже ты мой, чтобы прямо вот эта книга! Варгас Льоса, конечно, реакционер и поносит Кубу и социализм везде, где только рот откроет,

но я так мечтал прочесть его последний роман, и на тебе пожалуйста: все-то эти пидоры первыми раздобудут. "С твоего позволения, сейчас все уберу", — сказал он и сгреб книги в сумку на длиннющих ручках, свисавшую у него прямо с шеи. "Мать моя женщина, — подумал я, — да у него сумок больше, чем у кенгуру". "Сумок у меня больше, чем у кенгуру, — заметил он с улыбочкой, — слишком взрывоопасные материалы, чтобы выкладывать на публике. Полиция у нас культурная. Но если хочешь, могу показать тебе книжки... Только не здесь". Я переложил красную членскую книжицу Союза Юных Коммунистов из одного нагрудного кармана в другой: пора бы ему сообразить, что мои читательские интересы никак нас не сближают. Или он хочет, чтобы я вызвал какого-нибудь культурного полицейского? Намека он не понял. Снова воззрился на меня с усмешкой, медленно поддел кончиком ложки кусочек мороженого и поднес к кончику языка: "Восхитительно, не правда ли? Единственное, что научились хорошо делать в этой стране. Того и гляди русским приспичит заиметь рецепт, и придется ведь дать". Почему я должен терпеть такое от пидора? Я набил полный рот мороженого. Он умолк на мгновение. "А я тебя знаю. Ты ой как часто по улицам бродишь, с газеткой под мышкой. Все больше по Гальяно". Я молчу. "Один мой приятель, скрытный такой, тоже тебя знает, видел на региональном совещании чего-то там и сказал, ты из Лас-Вильяс, как Карлос Ловейра[1]". Тут он привзвизгнул: обнаружил в мороженом почти целую клубничину. "Да у меня сегодня счастливый день: такие чудесные находки". Я молчу. "Вот все говорят — кто не хочет быть с Востока, тот хочет быть гаванцем... А вот вы, из Лас-Вильяс, и рады быть из Лас-Вильяс. Глупости какие". Он старался взгромоздить клубничину на ложку, но клубничина не желала взгромождаться. Я доел мороженое и теперь не знал, как уйти, такая уж у меня проблема: не умею ни начать разговор, ни закончить и обязательно все выслушаю, что мне говорят, даже если мне ни капельки не интересно. "Интересуешься Варгасом Льосой, товарищ юный коммунист? — спросил он, подпихнув клубничину пальцем. — Стал бы его читать? Здесь его никогда не напечатают. Тот, что ты видел, — последний роман — мне недавно прислал Гойтисоло[2] из Испании". Опять уставился на меня. Я стал считать в уме: доберусь до пятиде-

1. Карлос Ловейра (1882—1928) — кубинский писатель-натуралист. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Хуан Гойтисоло (р. 1931) — испанский писатель.

сяти — встану и только меня и видели. Он дал мне досчитать до тридцати девяти. Поднес ложечку ко рту и, смакуя во всех смыслах клубничку, произнес: "Если пойдешь со мной и позволишь расстегнуть тебе ширинку пуговка за пуговкой, одолжу почитать, *Торвальд*".

Знай Диего, как на меня подействуют его слова, он оставил бы этот выпад при себе. Удар пришелся по больному месту. В голову мне бросилась кровь, вены на шее вздулись, голова закружилась, в глазах потемнело. Четыре года назад моя учительница по литературе в старших классах, профессионально несостоявшаяся сразу на двух поприщах — учительницы по литературе и театрального режиссера, — решила, что вот он, ее шанс, когда наша школа осталась без первого места на межрайонном конкурсе из-за недостатка внеклассных культурных мероприятий. Она отправилась на прием к директору и убедила его, что, во-первых, нам с Ритой не занимать актерского таланта, а во-вторых, она вполне способна поставить под нас "Кукольный дом", каковая пьеса, хоть и иностранная — как сказал Марти[1], товарищ директор, весь мир да вольется в нашу Республику, — лишена идеологической отравы и входит в школьную программу, одобренную Министерством в прошлом году. Директор с восторгом согласился (это был и его шанс), а Рита и подавно: пусть страх сцены мешал ей отвечать на классной перекличке, зато она была тайно и беззаветно влюблена в меня. Я же категорически отказался. Мое высокое представление о мужском начале — точнее даже, представление о нем моих одноклассников — исключало всякое актерство. Директор переубедил меня простейшим способом: он велел рассматривать роль как задание, задание, Альварес Давид, данное вам Революцией, благодаря которой вы, сын крестьянской бедноты, получили возможность учиться; борьба с империализмом разворачивается в данный момент не на театральных подмостках, позвольте напомнить, а в тех странах Латинской Америки, где ваши ровесники ежедневно страдают от угнетения, а мы от вас всего-то и хотим такой малости, как сыграть *Ибсе́на*. Я уступил. И не потому что меня приперли к стенке. Он говорил убедительно. Он был прав. За неделю я выучил свою роль и Ритину заодно: бедняжка так серьезно пестовала свою тайную влюбленность, что всякий раз, приближаясь ко мне, лишалась дара речи. Она была одной из тех бледных, беззащитных, некрасивых девиц, как правило, сирот, которые очень

1. Хосе Марти (1853—1895) — кубинский писатель, философ, публицист, духовный лидер нации, борец за независимость Кубы от Испании.

часто влюбляются в меня и с которыми я из жалости — и потому что не люблю, когда кому-то плохо, — начинаю-таки встречаться. В день нашего единственного спектакля — когда Диего впервые увидел меня и заприметил на всю оставшуюся жизнь — Рита нервничала на сцене сильнее, чем обычно: из-за публики, из-за жюри, а в особенности из-за того, что сегодня она в последний раз окажется в моих объятиях, точнее, в объятиях этого малого из XIX века, которого я с успехом изображал в костюме, сшитом учительницей по литературе. И вот, ближе к финалу, она не выдержала и онемела посреди сцены, воззрившись на меня, словно ягненок, которому вот-вот перережут горло. У учительницы началась одышка, у директора сломался зуб, зрители зажмурились. Лишь я, актер поневоле, не утратил самообладания в этот тяжкий для Родины и Театра миг. "Ты смущена и хранишь молчание, Нора", — промолвил я, медленно приблизившись к ней в надежде подсказать текст или ткнуть ее в спину. "Я знаю, мы должны поговорить. Мне присесть? Разговор наверняка выйдет долгим". Но все без толку, Рита застопорилась не на шутку, и спектакль вылился в самокритичный монолог Торвальда, длившийся, пока учительница не отмерла, не спустила на сцену два экрана и под музыку из "Лебединого озера" — единственную, что нашлась на звукорежиссерском пульте, — не начала показывать слайды с рабочими и партизанами, выдержками из постановлений Первого Конгресса по Образованию и Культуре[1] и стихами Хуаны де Ибарбуру, Мирты Агирре[2] и ее собственными, отчего, как она впоследствии отмечала, постановка приобрела размах и актуальность, какими сам по себе ибсеновский текст не обладал. "Я в жизни не чувствовал себя так неловко, — рассказывал потом Диего. — Не знал, куда деваться из кресла. Половина зала за тебя молилась, кто-то даже хотел устроить короткое замыкание. Да еще в этом красно-зеленом клетчатом пиджаке и черных панталонах ты был похож на какой-то африканский флаг. Нас тронуло твое хладнокровие, то, как наивно ты выставлял себя на посмешище. Поэтому мы не поскупились на аплодисмен-

1. Первый Конгресс по Образованию и Культуре состоялся в апреле 1971 г. и фактически определил культурную политику государства на предстоящее десятилетие. На Конгрессе, в частности, обсуждалась тема гомосексуальности: постановление специальной комиссии гласило, что гомосексуалистов не рекомендуется принимать на работу в учреждения, связанные с воспитанием молодежи, а их творчество не должно представлять Кубу за рубежом.
2. Хуана де Ибарбуру (1895–1979) — уругвайская поэтесса, представительница испаноамериканского модернизма. Мирта Агирре (1912–1980) — кубинская поэтесса и литературовед, видный деятель Кубинской коммунистической партии.

ты". Это и было хуже всего: как жалостливо мне хлопали. Я стоял в свете софитов, слушал овации и горячо молился, чтобы всех присутствующих накрыла тотальная амнезия и чтобы никогда, никогда в жизни, *never*, слышишь, Господи? я не встретился ни с одним из них, ни с кем, кто мог бы меня узнать. Взамен я обязался впредь лучше думать, если мне снова дадут общественное задание, а еще не заниматься онанизмом и пойти получать научно-техническую специальность, потому что в них страна как раз нуждалась в те времена.

И я сдержал слово, не считая научно-технической специальности, потому что насчет онанизма Бог должен был понять, что это от отчаяния и по неопытности, но, с другой стороны, ведь и Он не внял моим молитвам: забыл об обещанном и поставил на моем пути в "Коппелии", да еще в такой день, когда я плохо соображал, субчика, который видел мой позор и возомнил, что может меня шантажировать.

"Шучу, шучу, спокойно! — Диего испугался, увидев, что меня вот-вот хватит удар. — Прости, это я не всерьез, конечно, — так, растопить лед. На, выпей водички. Хочешь, провожу тебя до Каликсто Гарсии[1], до приемного покоя?" — "Нет! — отрезал я и поднялся, приняв окончательное решение. — Идем к тебе, посмотрим книги, поговорим, о чем надо поговорить, и все". Вот отчего я так разнервничался. Он уставился на меня, открыв рот. "Собирайся!" Но собрать все расшвырянное по столу оказалось делом не быстрым, так что он успел прийти в себя. "Давай-ка сначала проясним кое-какие вопросы, чтобы ты потом не говорил, будто я тебе задурил голову. Ты до того наивен, что представляешь опасность. Я, во-первых, голубой. Во-вторых, верующий. В-третьих, у меня бывали проблемы с системой: они считают, мне не место в стране. Ну да пусть умоются: я тут родился. Я, прежде всего, патриот и лесамианец[2], и отсюда меня не выкурят, даже если ракету в жопу засунут. В-четвертых, я сидел в ВЧСП[3], когда они еще были. И в-пятых, соседи

1. Имеется в виду Университетская больница имени генерала Каликсто Гарсии, находящаяся неподалеку от "Коппелии".
2. Лесамианец — человек, сообразующий свою жизнь с эстетической системой Хосе Лесамы Лимы (1910—1976) — кубинского писателя, поэта, эссеиста, теоретика необарокко, автора одного из важнейших романов кубинской литературы — "Рай" (1966). В социалистическую эпоху Лесама Лима, обвиненный, как многие интеллектуалы, Че Геварой в "первородном грехе" изначальной "не-революционности", оставался на острове, но жил во "внутренней эмиграции" и практически не печатался.
3. ВЧСП (Военные части содействия производству) — существовавшие в 1965—1968 гг. лагеря, куда на принудительные работы кубинские власти отправляли гомосексуалистов, активных приверженцев религии и инакомыслящих.

за мной следят: секут всех, кто приходит. Все еще хочешь в гости?" — "Да", — отвечал сын крестьянской бедноты хриплым голосом, который сам едва узнал.

Квартирка, которую в дальнейшем я буду называть *берлогой* — она не избежала общей участи: гаванцы обожают давать прозвища своей крохотной холостяцкой жилплощади (я знавал Ящик, Шкаф, Астероид, Альтернативу и Хату-где-дают-без-спросу), — состояла из одной комнаты и ванной, частично превращенной в кухню. Потолок отстоял от пола примерно на километр, был украшен по углам и в центре коровьими лепешками, которые в Гаване так и называют — лепниной, и выкрашен, как и стены с мебелью, в белый цвет, в то время как всяческие детали интерьера, кухонная утварь, постельное белье и прочие вещи были красными. Все кругом отливало либо белым, либо красным, кроме самого Диего, одевавшегося в оттенки от черного до светло-светло-серого, белые носки, розовые очки и розовый же платок. В тот день почти все пространство занимали деревянные святые, все как один с вытянутыми лицами, от которых любой впал бы в депрессию. "Чудо, а не резьба", — заметил Диего, как только мы вошли, желая дать понять, что святые — предмет искусства, а не культа. "Герман, скульптор, — настоящий гений. Он так встряхнет наших деятелей искусства, что они света не взвидят. Уже заинтересовался атташе по культуре одного посольства, а вчера нам звонили из EFE[1]". Я не очень разбирался в искусстве, но, когда некоторое время спустя чиновник из Министерства культуры счел, что скульптуры "не передают никакого вдохновляющего посыла", я, в общем, склонен был с ним согласиться и так и сказал Диего. "Это пусть радио 'Часы' передает! — взвился он. — А тут у нас искусство. И я же не ради себя стараюсь, пойми ты. Ради Германа. Как только это дойдет до Сантьяго-де-Куба, там такое начнется! Его даже с работы могут выпереть".

Но проблемы с выставкой Германа начались гораздо позже. А пока я стою посреди берлоги в окружении мучимых резями в животе святых и все сильнее убеждаюсь, что попал не туда. Мне бы только выцепить у него книжку — и я тут же испарюсь. "Присаживайся! — пригласил Диего. — Я заварю чай, чтобы снять напряжение". И пошел закрыть дверь. Я его остановил: "Не надо!" — "Как угодно. Облегчим задачу соседям. Садись в то кресло. Оно особое, я не всем его предлагаю". Он

1. EFE — испанское новостное агентство.

скрылся в ванной и продолжал поверх звука льющейся мочи: "Сам я использую его исключительно для чтения Джона Донна или Кавафиса, хотя, что касается последнего, это непростительная с моей стороны леность. Кавафиса следует читать сидя на венском стуле или взобравшись верхом на неоштукатуренную стену". Он вновь появился в комнате, разъясняя, что Джон Донн — это английский поэт, совершенно у нас неизвестный, а он, Диего, как хозяин единственного переведенного сборника его стихов, неустанно подсовывает этот сборник молодежи. "В один прекрасный день о нем заговорят даже в баре 'Два брата'. Да садись же уже". Кресло Джона Донна просело подо мной так, что зад оказался ниже пяток, но, сделав одно простое движение, я отлично угнездился. "Поставить музыку? У меня все есть. Оригинальные записи Марии Малибран, Терезы Стратас, Ренаты Тебальди[1] и, разумеется, Каллас. Это мои любимицы. Они, и еще Селина Гонсалес[2]. Кто тебе больше нравится?". — "Не знаю, кто такая Селина Гонсалес", — честно сказал я, и Диего зашелся хохотом. Гаванцы думают, если ты родом из провинции, так ничего и не видал, кроме народных танцулек. "Превосходно, превосходно. Ты удостоился чести быть первым, кто услышит пластинку Каллас, только что присланную мне из Флоренции: запись 1955 года, она поет "Травиату" в Ла-Скале, в Милане. Из Флоренции, в смысле, из самой Италии". Он поставил пластинку и ушел на кухню. "В чем твой прикол? Меня зовут Диего. И вечно меня дразнят: "Скажи, Диего?", ну, знаешь, есть такая присказка. Или вот Антона всегда будут сравнивать сам знаешь с чем. А тебя как зовут?" — "Хуан Карлос Рондон, к вашим услугам". Он выглянул из кухни. "Вот врунишка, оно и видно, что ты из Лас-Вильяс. Тебя зовут Давид. Я все про всех знаю. Ну, про интересных людей. Ты вот пишешь". Диего вплыл в комнату с сервизом на подносе, споткнулся и пролил на меня молоко. И не успокоился, пока я не согласился снять рубашку. Он в мгновение ока выстирал ее и повесил на балконе рядом с манильской шалью, которую тоже принес из ванной. Потом уселся напротив и положил мне на колени кулек шоколадных конфет. "Наконец-то мы можем спокойно побеседовать. Предлагай тему, я

1. Мария Малибран (1808–1836) — испанская оперная певица, одна из первых мировых звезд оперы. Сестра Полины Виардо. Тереза Стратас (р. 1938) — канадская оперная певица. Рената Тебальди (1922–2004) — итальянская оперная певица.
2. Селина Гонсалес (р. 1928) — кубинская певица, автор и исполнительница, работающая в стиле так называемой "крестьянской музыки".

не хочу ничего навязывать". Вместо ответа я опустил голову и уставился в плитку на полу. "Ничего в голову не приходит? Ну да ладно, я знаю: расскажу-ка, как я стал пидором".

Это случилось, когда ему было двенадцать и он учился в католическом интернате. Однажды днем ему зачем-то понадобилось зажечь свечу, а спичек не нашлось, и он отправился в спальню старшеклассников, машинально зайдя со стороны душевых. Там, под душем, голый и намыленный, стоял парень из школьной баскетбольной команды и распевал: "Ах, разве / такой любви, как наша, / не суждено сложиться? / не спрашивай меня...". "Он был рыжий, кудрявый, — уточнил Диего со вздохом, — и в таком, знаешь ли, возрасте, когда уже не четырнадцать, но еще и не пятнадцать. Луч света с высоты, достойный скорее витражей Нотр-Дама, чем слухового окошка нашего монастыря братьев-маристов, освещал его со спины, и все тело переливалось в брызгах пены". Парень был возбужден, оглаживал свой член и ему-то как раз и пел, и Диего, как завороженный, не мог отвести взгляда, а парень смотрел в ответ и позволял на себя смотреть. Никто не произнес ни слова: полубог взял Диего под локоть, развернул лицом к стене и овладел им. "Я вернулся в спальню с незажженной свечой, — сказал Диего, — но изнутри я весь светился, и у меня было чувство, будто я разом понял все в мире". Но судьба уготовила ему горькую участь. Два дня спустя, вновь отправившись за свечой, он узнал, что его насильник погиб от удара копытом: во время игры мяч улетел с площадки, и он попытался достать его из-под ног у мула, возившего уголь для школы, а мул, безразличный к очарованию юноши, насмерть лягнул его в голову. "С тех пор, — сказал Диего, глядя на меня, — вся моя жизнь заключается в поиске идеала — того баскетболиста. Ты на него слегка походишь".

Было заметно, что он прекрасно владеет техникой пробуждения интереса у солдатиков и студентов, а также расслабления напряженных, как он потом выразился. Последняя состояла в том, чтобы заставить нас видеть и слышать то, чего мы видеть и слышать не желали, и давала превосходные результаты с коммунистами, говорил он. И все же со мной у него продвинуться не получалось. Я пришел, как все остальные, он усадил меня в особое кресло, как всех, но никто до меня не всматривался так внимательно в плитку на полу, не отрывая от нее взора ни под каким предлогом. Его уже подмывало показать мне порножурнал, хранимый для самых сложных случаев, или налить мне выпить из бутылки с надписью "Чивас Ригал", всегда пальца на четыре налитой скверным ромом, но он сдержался, поскольку не такого поведения ждал от меня; к вечеру

он проголодался, понял, что не готов делить свои запасы со мной, и уже не знал, как завершить затянувшийся визит. Диего умолк и задумался. Он давно ждал нашей встречи, признается он потом, с тех пор, как увидел меня в роли Торвальда. Ему даже несколько раз снилось наше знакомство, и он пару раз хотел подойти ко мне на улице Гальяно, потому что с самого начала что-то подсказывало ему, что мы подружимся. Но вот теперь я, прямой как палка, и немой как рыба, сидел посреди его берлоги и казался таким пресным, что Диего начал подозревать, а не пал ли он снова, как бывало уже много раз, жертвой миражей, собственной склонности приписывать чувствительность и талант всякому пышущему невинностью личику. С удивлением и горечью он понимал, как во мне ошибся. Я был его последним козырем, последним доводом, который оставалось проверить, прежде чем окончательно убедиться, что все пропало, что Бог ошибался, а Карл Маркс и подавно, и что все эти сказочки про нового человека, на которого он возлагал такие надежды, — всего лишь поэзия, насмешка, социалистическая пропаганда, потому что если и есть новый человек в Гаване, то уж, конечно, это не красавцы-силачи из Отрядов Особого Назначения, а кто-то вроде меня, способный выставиться на посмешище, и вот его-то он и желал встретить однажды, привести к себе в берлогу, напоить чаем и говорить с ним, черт возьми, говорить, ведь не всегда же у него только об одном мысли, будет объяснять мне он в очередной страстной речи. “Я пошел”, — сказал я в конце концов и поднялся на ноги и взглянул на него; мы обменялись взглядами. Он заговорил, не вставая со стула: “Давид, заходи еще. Кажется, сегодня я не слишком понятно рассказывал. Быть может, наболтал лишнего. Как всякий говорящий много, я говорю глупости. Это от нервов, но с тобой я как-то по-другому себя чувствую. Очень важно говорить, а вести диалог — еще важнее. Пожалуйста, не пугайся и возвращайся. Я, как любой человек, знаю границы дозволенного, а помочь тебе могу во многом: одалживать книги, доставать билеты на балет, мы с Алисией Алонсо друзья не разлей вода, и как-нибудь в пять пополудни я хотел бы привести тебя в гости к Лойнас[1] и представить ей; как ты еще туда попадешь, если не через меня? И еще я хочу угостить тебя лесамианским обедом, а я не всякому это предлагаю. Знаю,

1. Алисия Алонсо (р. 1921) — кубинская балерина, руководитель Национального балета Кубы... в гости к Лойнас... — имеется в виду знаменитый особняк аристократического семейства Лойнас, к которому принадлежали сестры-поэтессы Дульсе Мария Лойнас (1902–1997) и Флор Лойнас (1908–1985).

доброта пидарасов — обоюдоострая, как пишет где-то сам Лесама, но не в этом случае. Хочешь знать, почему мне нравится с тобой беседовать? Предчувствие. Думаю, мы в итоге поймем друг друга, хоть мы и такие разные люди. Я знаю, в Революции много хорошего, а со мной происходило много другого, плохого, и к тому же много о чем у меня свое мнение. Может, я и ошибаюсь, понимаешь. Но я хочу об этом говорить, чтобы меня выслушали, чтобы мне объяснили. Я готов рассуждать, пересмотреть свои идеи. А мне еще не доводилось говорить с революционером. Вы только между собой разговариваете. Вам вообще плевать, что там остальные думают. Возвращайся. Тему педерастии я замну, обещаю. Вот, возьми 'Войну конца света', а еще забирай 'Три грустных тигра'[1], их тоже в городе просто так не найдешь". — "Нет!" — ответил я так резко, что напугал его. "Почему, Давид, что такого?" — "Нет!" — и я вышел, хлопнув дверью.

Неплохо получилось, сказал я себе на улице, а хлопнувшая дверь все еще гремела у меня в ушах: и не отобрал у него книжки, и в подарок не принял. И Дух мой, все это время терзавшийся внутри меня, успокоился и начал испытывать определенную гордость за своего мальчугана, который на поверку оказался крепышом. Именно этого он, мой Дух, и ждал от меня, юного коммуниста, который на собраниях под конец всегда просил слова и, даром что изъяснялся корявенько, всегда говорил, что думает, и Бруно уже дважды его выдвигал. Но то — Дух, потому что с Совестью все не так просто, и не успел я дойти до угла, а она уже просит разъяснить ей, только медленно и по порядку: Давид Альварес, зачем, если ты мужчина, ты отправился в гости к голубому, если ты революционер — зачем пошел к контрреволюционеру, если ты атеист — зачем пошел к верующему? Вот что устраивала Совесть, пока я шел до остановки, влезал в автобус и получал свою порцию пинков и тычков. Почему в моем присутствии высмеивают Революцию (твою, между прочим, Революцию, Давид), выпячивают нездоровые наклонности, расхваливают всякое гнилье, а я этому не препятствую? Разве я не чувствую членскую книжицу в кармане? Или, может, она там просто так лежит? Кто ты есть, парниша? Ты, наверное, начал забывать, что ты всего лишь горемычная деревенщина, а Революция тебя подняла из грязи и привела в Гавану учиться? Но если я

1. "Три грустных тигра" (1967) — роман кубинского писателя-диссидента Гильермо Кабреры Инфанте (1929–2005). Фрагменты романа опубликованы в журнале "Иностранная литература" (2010, № 12).

чему в жизни и выучился, так это не отвечать Совести в трудную минуту. Наоборот, я ее удивил до невозможности: вышел на остановке у Университета, на всех парах поднялся по лестнице, нашел Бруно, припер к стенке и спросил, что нужно делать, кого информировать, если ты познакомился с кем-то, кто хранит у себя иностранные книги, непочтительно отзывается о Революции, да еще и верующий? Что, Совесть, съела? Бруно решил, что дело серьезное, снял очки и отвел меня к другому товарищу, и я, как только увидел другого товарища, сразу отчетливо понял, что сейчас опять дам маху. У него, как у Диего, был ясный пронизывающий взгляд, будто в тот день все, у кого был ясный пронизывающий взгляд, сговорились и решили отравить мне существование. Он провел меня в кабинет, указал на стул — ни на долбаную толику не венский — и велел рассказывать. Я сказал, что мы, революционеры, всегда должны быть начеку, всегда бдительны и что, как раз будучи начеку и бдя, я и познакомился с Диего, пошел к нему в гости и теперь знаю про него то, что знаю. Зарубежные книжки и эти шуточки его сразу показались мне подозрительными. Понимаете? Либо он не понимал, либо рассказ не произвел на него впечатления. Он пару раз зевнул и даже принялся листать какие-то бумаги, делая вид, что слушает. Это еще одно мое слабое место: если от моего рассказа человеку становится скучно, я начинаю махать руками и без конца сыпать подробностями. “Этот тип — контрреволюционер, — подчеркнул я. — Он знаком с атташе по культуре одного посольства и заинтересован во влиянии на молодежь”. Я все ждал, что товарищ сейчас скажет: “То есть ты пошел к верующему контрреволюционному пидору в гости, потому что нужно быть начеку, так, что ли?” — “Ну, конечно”. Но он такого не сказал. Он устремил на меня ясный пронизывающий взгляд, и меня прошиб озноб по всему позвоночнику, потому что я догадался, что сейчас он скажет: “Ну и жалкий же ты пентюх, юноша, а оппортунист из тебя знатный выйдет!” Но и такого он не сказал. Вместо этого улыбнулся и заговорил снисходительным, ироничным или дружелюбным — на мой выбор — тоном: “Да, всегда следует быть начеку. Как, говоришь, тебя зовут? Давид? Враг действует там, где мы меньше всего ждем, Давид. Ты выясни, с каким посольством он имеет связи, и записывай, если будет спрашивать про перемещения военных частей или про местонахождение руководящих лиц. А потом ко мне. У тебя теперь есть задание, ты теперь агент. О’кей?” Вот такой он, Исмаэль. Со временем мы подружимся и полюбим друг друга, как братья, и в один прекрас-

ный день я угощу его лесамианским обедом, потому что и в его жизни была учительница по литературе.

Я кинематографично спустился по университетской лестнице: под военный марш лечу на всех парах, а в вышине развевается стяг с одинокой звездой[1]. Добравшись до общежития, я долго стоял под душем, на макушку лилась щедрая горячая струя, пока я не почувствовал, что последняя тревога дня утекла в слив и теперь я смогу уснуть. Но тут я решил завершить день на высоте и позаниматься и растянулся с учебником на кровати. Это была ошибка. С моей кровати видно море, в тот вечер прекрасное и спокойное, ярко-синее, а море всегда действует на меня отвратительно. Во мне, кроме Совести и Духа, проживает еще и Контр-совесть, сволочь похуже первых двух, и она зашевелилась и вознамерилась проснуться и задать мне пару вопросов, а я против Контр-совести ничего сделать не могу. Один ее вопрос — и я уже готов взбежать на двадцать четвертый этаж и выброситься оттуда вниз головой. Я отложил учебник и, глядясь в зеркало в ванной, сказал себе: "Едрить вашу за ногу!" И пообещал смотревшему на меня, что помогу ему, что ни при каких обстоятельствах не вернусь в дом ни этого и никакого другого Диего, честное-пречестное.

Я не сдержал свое слово, а Диего не сдержал свое. "Мы, гомосексуалисты, образуем еще одну классификацию, даже интереснее, чем та, про которую я на днях тебе рассказывал. То есть делимся на собственно *гомосексуалистов* — этот термин следует повторить, поскольку даже в наихудших обстоятельствах он не теряет определенного флера сдержанности; *пидоров* — ох, и этот термин не грех повторить — и *хабалок*, низшая разновидность каковых — это так называемые *хабалки-давалки*. Положение на шкале определяется предрасположенностью субъекта к общественному долгу либо к голубизне. Если весы склоняются в пользу общественного долга, перед тобой — гомосексуалист. В эту категорию входят те — и сюда же я причисляю себя, — для кого секс является частью жизни, но не заменяет собой жизнь. Как герои или политические активисты, мы ставим Долг выше Секса. Дело, которому мы посвящаем себя, — абсолютная ценность. Мое подвижничество — Национальная культура, ей я отдаю львиную долю своего интеллекта и времени. Без ложной скромности: мои исследования кубинской женской поэзии XIX века, составленный мною перечень оконных и балконных — в том числе, разделяющих общий балкон между соседями, — решеток улиц Офисиос, Компостела, Соль и Мура-

1. ...стяг с одинокой звездой... — кубинский флаг.

лья или исчерпывающая коллекция карт Острова, начиная с прибытия Колумба, необходимы для изучения этой страны. Когда-нибудь я покажу тебе мой список зданий XVII–XVIII веков, где каждое снабжено рисунком фасада и основного интерьера, выполненным тушью; это очень важно для будущих реставрационных работ. И все это, равно как и мои бумаги, из которых самое ценное — семь неизданных текстов Лесамы, — плод долгих бессонных трудов, дорогой мой, и то же могу сказать о моем сопоставительном исследовании жаргона активных пидоров Порта и Центрального парка. Что я имею в виду: если я буду сидеть на балконе, где развевается манильская шаль, с ручкой наперевес и править свой текст о поэтике сестер Хуаны и Дульсе Марии Борреро[1], я не отвлекусь от работы, даже если мимо пройдет самый что ни на есть роскошный мулат из Марианао и, завидев меня, ухватит себя за яйца. Мы, гомосексуалисты этой категории, не теряем время из-за секса, ничто не отвратит нас от наших трудов. Глубоко ошибочно и оскорбительно распространенное мнение о том, что мы падки до взяток и по природе своей вероломны. Нет, господа, мы так же патриотичны и тверды, как все остальные. Между хером и Кубой я выбираю Кубу. За наш умственный труд и плоды наших усилий нам полагается место, которого мы всегда оказываемся лишены. Марксисты и христиане — слушай меня внимательно — так и будут брести с камушком в ботинке, пока не отведут нам место и не признают в нас союзников, ибо мы чаще, чем принято думать, страдаем, как и они, при виде социальной несправедливости. *Пидоры*, как все промежуточное, не заслуживают отдельного объяснения; ты поймешь это, когда я опишу тебе *хабалок*, которых подвести под определение очень легко. В мозгу у каждой из них накрепко засел фаллос, они действуют исключительно из-за него и ради него. Бездумная потеря времени — их основная характеристика. Если бы все часы, угроханные на флирт в парках и общественных туалетах, они потратили бы на общественно полезный труд, мы бы уже были в двух шагах от того, что вы называете коммунизмом, а мы — раем. Наиболее ленивые из всех — так называемые *давалки*. Я их ненавижу за глупость и легкомыслие и за то, что в силу отсутствия элементарного такта они превратили в социальный протест такие простые и необходимые действия, как окрашивание ногтей на ногах. Они провоцируют общество и противны его глазу не столько из-за жеманства, сколько из-за того, что вечно

1. Хуана Борреро (1877–1896), Дульсе Мария Борреро (1883–1945) — кубинские поэтессы, сестры.

ржут без причины и судят о том, чего не знают. Отторжение сильнее, если *хабалка* негроидной расы, поскольку у нас негр – символ мужественности. А если бедняжки живут в Гуанабакоа, Буэнависта или где-нибудь в деревне, их жизнь и вовсе превращается в ад, ведь тамошние люди еще нетерпимее. Данная типология применима и к гетеросексуалам обоих полов. В случае мужчин самое слабое звено, соответствующее хабалкам-давалкам, то есть склонное к тупой потере времени и вечно изнывающее от жажды совокупления, – это *рукосуи*, которые могут направляться на почту опустить письмо, к примеру, а по дороге облапать даже одну из нас без ущерба для мужской репутации, просто потому что не могут удержаться. У женщин шкала заканчивается, естественно, шлюхами, но не теми, которыми кишат отели, где они охотятся на туристов, и вообще не теми, кто это делает ради выгоды – таких у нас, как верно оповещает официальная пропаганда, немного, – а теми, кто отдается из чистого удовольствия видеть, – по меткому народному выражению, – как молочко течет. Так вот, и хабалки, и рукосуи, и прошмандовки обитают в нашем подзвездном раю, а я, констатируя этот факт, не более чем подписываюсь под словами одного английского писателя: "Неприятные вещи не исчезают из этого мира, если мы просто отворачиваемся от них".

И вот так, за этой и другими беседами, мы незаметно сдружились и привыкли вместе проводить вечера, попивая чай из жутко дорогих, по утверждению Диего, чашек и превратили в священнодействие воскресные обеды, для которых припасали самые интересные темы. Я ходил по берлоге босиком, снимал рубашку и самовольно открывал холодильник: именно по этому последнему поступку можно заметить, что провинциал или стеснительный человек достиг высшей степени доверия и спокойствия в чьем-то доме. Диего очень хотел прочесть, что я пишу, и, когда, в конце концов, я отважился дать ему один текст, он промурыжил меня две недели, не делая никаких комментариев, и только потом выложил рукопись на стол. "Буду честен. Мужайся: это никуда не годится. Что это за манера – писать *мужик* вместо гуахиро[1]? Ты явно перечитал того, что издают "Мир" и "Прогресс"[2]. Нужно все начать сначала, потому что таланта тебе не занимать". И он взял на себя ликвидацию моей безграмотности. "На, читай, – говорил он, вручая мне книгу, –

1. Гуахиро – кубинский крестьянин.
2. Книги, выпускаемые советскими издательствами "Мир" и "Прогресс" (наряду с выделившейся из "Прогресса" "Радугой"), составляли огромную часть печатной продукции, к которой имел доступ кубинский читатель в 60–80 годы.

"Сахар и население Антильских островов", – и я читал[1]. "Читай 'Исследование чотео', – и я читал. "Читай 'Литературный американизм и кубинизм'", – и я читал. "Читай 'Кубинский контрапункт табака и сахара'", – и я читал. "Эту оберни обложкой журнала 'Верде оливо'[2] и не оставляй где попало на потеху любопытствующим: это 'Лес', понимаешь? О лирике вот тебе "Кубинское начало в поэзии", а еще – чистое золото: полная подшивка журнала 'Орихенес', у самого Родригеса-Фео такой нету[3]. Забирать будешь по одному номеру. А вот – но это на потом; все, что мы делаем, – не более чем подготовка к встрече с ним – творчество Маэстро, поэзия и проза. Подойди, положи руку на эту книгу, погладь ее, впитай ее соки. Как-нибудь ноябрьским вечером, когда на Гавану изливается самый прекрасный свет, мы прогуляемся перед его домом на улице Трокадеро. Мы свернем с Прадо и побредем по противоположному тротуару, будто непринужденно беседуя. На тебе будет что-нибудь голубое, тебе так идет этот цвет, и мы вообразим, что Маэстро жив и в эту минуту поглядывает на нас из-за жалюзи. Вдохни дым его сигары, вслушайся в его одышку. Он скажет: 'Вы только посмотрите на эту хабалку и ее эфеба, как она старается превратить его в своего ученика, а лучше бы засунула добрых десять песо ему в пиджак'. Не обижайся, такой уж он. Я знаю, он оценит мои усилия, одобрит твою чувствительность и ум, а в особенности его обрадует твое революционерство, хоть он сам и остался непонятым. В этот день ему будет не так тяжка обязанность читать в течение получаса свои произведения бюрократам из Совета по Культуре, направленным в царство Прозерпины, а это ведь обширная аудитория". На картах, разложенных по полу, мы находили самые интересные здания и площади Старой Гаваны, обязательные к осмотру витражи, решетки изящнейшего рисунка,

1. На, читай... – далее перечисляются основополагающие работы по кубинской и карибской культуре: "Сахар и население Антильских островов" (1927) Рамиро Герры – о социальной роли сахарной промышленности, "Исследование чотео" (1928; доп. изд. – 1955) Хорхе Маньяча – об особенностях национального характера, "Литературный американизм и кубинизм" (1931) Хуана Маринельо, "Кубинский контрапункт табака и сахара" (1940) Фернандо Ортиса – о влиянии заявленных в заглавии продуктов на кубинскую культуру и о ее метисном, синкретическом характере, "Лес" (1954) Лидии Кабреры – об афро-кубинских культах, "Кубинское начало в поэзии" (1958) Синтио Витьера – о движении национальной поэзии к вершине, воплощенной в теории Образа Лесамы Лимы.
2. "Верде Оливо" (в переводе примерно – "Хаки") – журнал кубинских вооруженных сил, существует с 1959 г.
3. "Орихенес" (1944–1956) – журнал, издаваемый одноименной группой поэтов и писателей, во главе которой стоял Лесама Лима. Хосе Родригес-Фео (1920–1994) – кубинский деятель культуры и меценат, финансировавший "Орихенес".

колонны, упомянутые Карпентьером, и трехсотлетние участки крепостной стены. Он составлял точный маршрут, которому я следовал неотступно, а потом возвращался, взволнованный, чтобы рассказать об увиденном в уютной квартирке, запертой на все засовы, пока мы пили чамполу, сантьяжский пру или коктейль из черимойи и слушали Саумеля, Катурлу, Лекуону, трио "Матаморос" или — тихонько, чтобы соседи не слышали — Селию Крус или "Сонора-Матансера"[1]. Что касается балета, где Диего чувствовал себя, как рыба в воде, то я не пропускал ни одного спектакля. Он всегда доставал мне билеты, как бы трудно ни приходилось, а в совсем уж безнадежных случаях уступал мне свой пригласительный. В театре мы никогда не здоровались, даже оказавшись рядом на входе или выходе, делали вид, что не замечаем друг друга, и его место всегда было далеко от моего. Чтобы избежать встречи, я оставался в антракте на месте и пересчитывал гласные в программке. "Меня в нашей дружбе поражает, — бывало, говорил он, — что сейчас я о тебе знаю так же мало, как в самом начале. Расскажи мне что-нибудь, старик. Твой первый сексуальный опыт, в каком возрасте ты научился кончать, какие у тебя эротические сны. Не надо увиливать, с такими-то глазками, когда ты себя не контролируешь, все вокруг, должно быть, огнем полыхает". "И почему, — вновь нападал он, стоило мне только замереть в смущении, — теперь, — мы же уже как братья, — ты не позволяешь мне увидеть тебя голым? Я предупреждаю: у меня в памяти не задерживается образ мужчины, у которого я не видел письку. В принципе, я и так себе представляю: у тебя, должно быть, она нежная, как голубка, хотя, позволь тебе сообщить, некоторые юноши твоего типа, такие все чувствительные и духовные, раздевшись, обращаются в самых что ни на есть варваров".

1. Чампола — молочно-фруктовый коктейль, как правило, на основе анноны, гуайявы или черимойи. Пру — традиционный на востоке Кубы прохладительный напиток на основе ямайского перца, доминиканской сассапарели, определенного вида лианы и сахара. Мануэль Саумель (1817—1870) — кубинский пианист и композитор. Алехандро Гарсия Катурла (1906—1940) — кубинский композитор. Эрнесто Лекуона (1896—1963) — крупнейший кубинский композитор первой половины XX века. Трио "Матаморос" (1925–1960) — ансамбль, развивший такие направления кубинской музыки, как болеро и сон. Исполнители, в частности, знаменитейшего болеро "Черные слезы". Селия Крус (1925—2003) — кубинская певица, одна из самых известных исполнительниц сальсы. "Сонора-Матансера" (образован в 1924 г.) — оркестр, исполнявший на протяжении своей истории практически все жанры кубинской музыки. Образован как ансамбль, играющий соны, в городе Матансас. В составе "Сонора-Матансера" долгие годы выступала Селия Крус: именно она была солисткой, когда оркестр отправился в 1960 г. на гастроли в Мексику, после чего более не возвращался на Кубу.

На лесамианский обед он заставил меня прийти в пиджаке и галстуке. Костюм мне одолжил Бруно, да еще насильно всучил десять песо — думал, что я веду девушку в "Тропикану". Исключительная сущность обеда, как писал сам Лесама в "Рае" (узнал я потом), проявлялась в кружевной скатерти — не красной и не белой, а кремовой, — на которой особо изысканно отсвечивала эмаль белого сервиза с жжено-зелеными окаемками. Диего поднял крышку супницы, полной густого бананового супа. "Я желал омолодить тебя, — промолвил он с таинственной улыбкой, — перенести в самое раннее детство, а потому добавил в суп тапиоки..." — "А что это?" — "Маниок, мальчик, не перебивай. На поверхности бульона плавают кругляши кукурузы, ведь стольким вещам мы радовались в детстве и все же с тех пор ни разу не пробовали их. Но не печалься, это не так называемый суп-вестерн, даром что некоторые гурмэ, только услышав о кукурузе, уже видят повозки первопроходцев на пути в Калифорнию, катящиеся по прериям племени сиу. А теперь мне следует взглянуть за стол эфебов", — прервал он свою странную декламацию, которой я внимал с дурацкой улыбкой, якобы пытаясь угнаться за его игрой. "Сменим, — сказал он, убирая тарелки из-под превосходного супа, — проворную канарейку нерадивой креветкой: входит вторая перемена блюд, легкое суфле из даров моря, на вершине которого несет стражу отряд креветок, они расставлены, как хор, связаны попарно, их клешни испускают дым, восходящий от плотной массы словно бы из белого коралла. Кроме того, в суфле участвует рыба, называемая император, и омары, являющие иссиня-лиловое недоумение, с каким их панцири приняли допрос светильника, выжегшего их выпученные глаза". Я не нашел слов, достойных суфле, или в самом языке их не нашлось, но это и оказалось лучшей похвалой. "После этого блюда, столь искусного в исполнении открытых цветов, подобных пламенеющей почти что барочности, но, тем не менее, все еще готике — из-за способа запекания и из-за аллегорий, что выкидывают в нем креветки, умастим обед салатом из свеклы, сбрызнутой майонезом, с любекской спаржей, и смотри в оба, Хуан Карлос Рондон, — наступает кульминация церемонии". Диего приступил к нарезке свеклы, и тут один круглый кусочек отцепился и упал на скатерть. Он недовольно хмыкнул и попытался исправить промах, но свекла вновь принялась кровоточить и, когда он поддел ее в третий раз, разошлась в том месте, где до того ее пытались разрезать, и соскользнула: половинка осталась на вилке, а вторая опять плюхнулась на скатерть, оставив три кровавых островка среди розанов. Я раскрыл рот, огорченный этой переделкой, но он заявил, просияв: "О лучшем и мечтать нельзя. Три этих пятна поистине сообщают обеду вели-

колепную выпуклость". И, почти нараспев, добавил: "В свете, в упорном терпении ремесленничества, в предзнаменованиях, в том, как дети сгустили травяную кровь, три этих пятна приоткрыли сумрачную завесу ожидания". Он весело улыбнулся и с счастливым видом открыл мне секрет: "Ты сейчас присутствуешь на семейном обеде, который донья Аугуста дает на страницах 'Рая', глава седьмая. Отныне ты можешь говорить, что тебе довелось отобедать, как настоящему кубинцу, и навсегда посвящаешься в братство обожателей Маэстро – осталось лишь свести знакомство с его текстами". После мы лакомились жареной индюшкой и сливочным мороженым, также лесамианским, рецепт которого он записал мне, чтобы я потом отдал маме. "Сейчас Бальдовина должна бы внести блюдо с фруктами, но за неимением таковой я сам внесу. Надеюсь, ты простишь мне отсутствие яблок и груш, я заменил их манго и гуайявой, совсем неплохо в сочетании с мандаринами и виноградом. Затем наступит черед кофе, мы будем пить его на балконе, и я буду читать тебе стихи поруганного Сенеа[1], а сигары мы пропустим, никому из нас они не нравятся. Но сперва, – прибавил он, вдруг вдохновившись видом манильской шали, – немного фламенко, – и выдал головокружительную дробь каблуками мне на радость, а потом замер. – Ненавижу ее, – сказал он и забросил шаль подальше. – Не знаю, простишь ли ты меня когда-нибудь, Давид". Я думал о том же и чувствовал себя все хуже и хуже, потому что, пока я наслаждался обедом, кое-какие клетки моего мозга не приняли приглашение, не отведали ни кусочка и бдели, рассуждая, что омаров, креветок, любекскую спаржу и виноград он мог достать в специальных магазинах для дипломатов, а это доказательство его контактов с иностранцами, о которых я как агент обязан сообщить товарищу – тогда он еще не был Исмаэлем.

Время весело летело, и вот однажды в субботу, когда я пришел на чай, Диего высунулся в дверь, не пуская меня внутрь. "Тебе сейчас нельзя. У меня тут один гость, пожелавший остаться инкогнито, мы отлично проводим время. Заходи потом, ладно?" Я ушел, но не дальше другой стороны улицы – очень хотел увидеть пожелавшего остаться инкогнито. Диего спустился почти следом за мной, один. Я заметил, что он нервничает; вот он глянул вправо, влево и быстро завернул за угол. Я кинулся за ним и успел увидеть, как он садится в неприметно припаркованную машину с дипломатическими номерами. Мне пришлось отскочить за колонну – так стремительно они сорва-

1. Хуан Клементе Сенеа (1832–1871) – кубинский поэт-романтик, расстрелянный испанскими колониальными властями.

лись с места. Диего в дипломатической машине! У меня в груди все заболело. Боже мой, так это правда. Бруно оказался прав, а Исмаэль ошибался, говоря, что с такими каждый случай надо рассматривать по отдельности. Нет. Всегда нужно быть начеку: пидоры — предатели по природе, таков их первородный грех. А что до меня, то никакого лицемерия и не было. Можно обо всем забыть и жить себе припеваючи: с моей стороны это был просто классовый инстинкт. Но радоваться не получалось. Мне было больно. Как больно сознавать, что тебя предал друг, как же это, черт возьми, больно и как мерзко оттого, что я опять свалял дурака, что мною крутили, как хотели. Как неприятно признавать — а что еще остается, — что догматики правы, а ты просто жалкий сентиментальный лох, готовый с кем угодно спеться. Я дошел до Малекона, и, как водится, природа подстроилась под мое состояние духа: небо тут же затянуло тучами, гремело все ближе и ближе, и в воздухе запахло дождем. Ноги несли меня прямиком к Университету, найти Исмаэля, но мне достало трезвости ума — или чего-то другого, меня сложно уличить в трезвости ума — понять, что я не выдержу третьей встречи с ним, с его ясным пронизывающим взглядом, и тогда я остановился. Вторая встреча состоялась после лесамианского обеда, когда мне нужно было навести порядок в голове, а иначе бы она взорвалась. “Я ошибся, — сказал я ему тогда, — он хороший человек, так, — бедолага; не стоит дальше за ним следить”. — “Ты же говорил, он контрреволюционер? — ответил он иронично. — Так или иначе, мы вынуждены признать, что его отношения с Революцией — не такие, как у нас. Трудно быть с кем-то, кто требует от тебя, чтобы ты перестал быть тобой, и только тогда этот кто-то тебя примет. В итоге...” Но я не стал ничего подытоживать, я еще не настолько доверял Исмаэлю, чтобы сказать напоследок то, что хотел сказать: “Его поступки — такие же, как он сам, как его мысли. Он обладает такой внутренней свободой, от которой и я, юный коммунист, не отказался бы”. Исмаэль смотрел на меня и улыбался. Ясные пронизывающие взгляды Диего и Исмаэля (и хватит уже о тебе, Исмаэль, это не твой рассказ) отличались тем, что взгляд Диего только указывал тебе на какие-то вещи, а взгляд Исмаэля требовал, чтобы, если эти вещи тебе не по нраву, ты тут же начал действовать и что-то менять. Поэтому он был лучшим из трех. Он говорил со мной о каких-то пустяках, а на прощание положил руку мне на плечо и просил заходить как-нибудь. Я так понял, что он освобождает меня от обязанностей агента, и теперь мы будем просто дружить. Что он решит теперь, когда я расскажу, что видел? Я вернулся к дому Диего и приготовился ждать, сколько потребуется. Диего приехал на такси, лил ли-

вень. Я проскочил на лестницу за ним и ввинтился в квартиру прежде, чем он успел закрыть дверь. “Мой жених уже отбыл, – пошутил он. – А что у нас с лицом? Уж не ревнуем ли мы часом?” – “Я видел, как ты садился в дипломатическую машину”. Он такого не ожидал. Побледнел, глянул на меня, рухнул на стул и опустил голову. Долго сидел, а потом поднял глаза, постарев сразу на десять лет. “Я жду”. Сейчас пойдут признания, покаянные речи, мольбы о прощении, он скажет мне, как называется их контрреволюционная ячейка, и я отправлюсь прямиком в полицию, я пойду в полицию. “Я собирался тебе сказать, Давид, только не так скоро. Я уезжаю”.

“Я уезжаю”, сказанное тем тоном, каким сказал Диего, обросло среди нас ужасными смыслами. Это означает, что ты навсегда покидаешь страну, стираешься из ее памяти, а ее стираешь из своей и вольно или невольно признаешь себя предателем. Ты знаешь и принимаешь это с самого начала, потому что это включено в цену билета. Если у тебя в руках билет, ты уже никого не разубедишь: все станут думать, что покупал ты его, не помня себя от радости. Это не твоя история, Диего. Что ты будешь делать вдали от Гаваны, от жаркой грязи улиц, от гвалта гаванцев? Что ты, дорогой Диего, будешь делать в другом городе, где не родился Лесама и Алисия не танцует каждые выходные свой последний балет? В городе без бюрократов и догматиков, чтобы их критиковать, и без Давида, который уже почти полюбил тебя? “Это не потому, что ты думаешь, – сказал он. – Ты знаешь, политика мне – что в лоб, что по лбу. Это из-за выставки Германа. Ты не очень наблюдательный и, видимо, не заметил, как далеко все зашло. Его с работы не выперли, зато выперли меня. Герман как раз добился понимания, снял комнату и переезжает в Гавану развивать народное искусство. Да, я слишком яро защищал его работы, нарушал дисциплину и, пользуясь служебным положением, гнул свою линию, и как мне быть теперь? С такой записью в трудовой книжке меня только в сельское хозяйство возьмут или на стройку, дадут мне кирпич, и что мне прикажешь с ним делать? Куда класть? Это просто выговор, но кто меня такого примет на работу, кто за меня поручится? Несправедливо, я понимаю, закон на моей стороне, и рано или поздно мою правоту признают и восстановят меня. Но что мне делать? Бороться? Нет. Я слабак, а ваш мир не для слабаков. Вы и так живете, будто нас не существует, будто мы такие, какие есть, только чтобы вас бесить да контачить с политэмигрантами. У вас все просто: вы не страдаете от эдипова комплекса, вас не терзает красота, у вас не было любимого кота, которого ваш отец умертвил у вас на глазах, чтобы сделать из вас мужчину. Бывают и сильные пидоры. Примеров

хоть отбавляй. Я это прекрасно понимаю. Но это не мой случай. Я слабый, меня пугает старость, я не могу ждать десять или двадцать лет, пока вы там передумаете, — как бы я истово ни верил, что Революция исправит, в конце концов, свои ошибки. Мне тридцать. Полной жизни осталось еще двадцать, не больше. Я хочу что-то делать, жить, строить планы, замереть перед 'Менинами'[1], как перед зеркалом, прочесть лекцию о поэзии Флор и Дульсе Марии Лойнас. Разве у меня нет на это права? Будь я примерным католиком, я бы верил в вечную жизнь и в ус бы не дул, но ваш материализм заразителен, а уже сколько лет нас им пичкают. Вот она жизнь, другой нет. По крайней мере, наверняка есть только одна. Ты понимаешь? Здесь меня видеть не хотят, что же я все, как белка в колесе? Я себе нравлюсь, какой есть, люблю иногда распушить перышки. Кому от этого плохо, от моих перышек"?

Не все его последние дни здесь были печальными. Иногда я заставал его радостно копавшимся в старых бумагах и пакетах. Мы пили ром и слушали музыку. "Пока не пришли с описью, забирай пишущую машинку, электроплитку и вот, консервный нож. Твоей маме пригодится. Это мои исследования по архитектуре и градостроительству. Много, правда? И совсем неплохие. Если я не успею, отошли анонимно в Городской музей. А здесь свидетельства о приезде Федерико Гарсиа Лорки на Кубу. Очень подробный маршрут, фотографии мест и людей, с моими подписями. Есть один неопознанный негр. Возьми себе антологию стихов к Альмендаресу[2], а если кто-то напишет еще, добавь туда, хотя какие уж там стихи, когда Альмендарес в таком виде. Взгляни: это я, во время Кампании по Ликвидации Безграмотности. А это мои семейные фотографии. Их я все увезу с собой. Какой красавец был мой дядя, подавился фаршированной картошкой. Здесь я с мамой, смотри, какая красивая. Так-так, что я еще хотел тебе оставить? Бумаги ты уже забрал, верно? Статьи, какие сочтешь удобоваримыми, пошли в редакцию "Революсьон и Культура", может, там кто сумеет оценить. Выбирай про прошлый век, они лучше идут. Остальное сдай в Национальную библиотеку, знаешь — кому. Связи с ним не теряй, время от времени угощай сигарой и не обижайся, если он отвесит тебе комплимент — большего он себе не позволит. Номер моего человека в Балете я тебе тоже оставлю. А эти чашки, Давид Альварес, из которых мы столько чаю выпили, я сдаю те-

1. "Менины" (1656) — картина Диего Веласкеса, находящаяся в музее Прадо в Мадриде и изображающая семейство Филиппа IV.
2. Альмендарес — река в Гаване.

бе на хранение. Если подвернется случай, перешлешь мне. Как я говорил, это севрский фарфор. Но ценность даже не в этом: они принадлежали семейству Лойнас дель Кастильо, и это подарок. Ладно, чего уж там, я их спер. Мои пластинки и книги уже уехали, твои ты забрал, а те, что остались, — это на потеху тем, кто с описью придет. Достань мне плакат с Фиделем и Камило, маленький кубинский флаг, фотографию Марти на Ямайке и Мельи в шляпе[1], только поскорее: я их вышлю дипломатическим багажом, с фотографиями Алисии в "Жизели" и коллекцией кубинских монет и банкнот. Возьмешь для мамы зонтик или плащ?" Я все молча брал, но иногда у меня начинала теплиться надежда, и я приносил вещи обратно: "Диего, а что, если кому-нибудь написать? Подумай, кому мы могли бы написать. Или я сам пойду на прием к какой-нибудь шишке, а ты в коридоре подождешь". Он печально смотрел на меня и не соглашался. "Может, ты знаком с каким-нибудь адвокатом, ну, таким, полувражьим, остались же еще такие? Или со скрытым пидором на высокой должности? Ты стольким людям помогал. Я в июле закончу Университет, в октябре, значит, уже буду работать, смогу давать тебе пятьдесят песо в месяц". Я замолкал, когда видел слезы в его глазах, но он всегда быстро собирался с духом. "Дам тебе последний совет: следи внимательно за одеждой. Ты, допустим, не Ален Делон, но не лишен очарования, и вид у тебя загадочный, а это, чтобы там ни говорили, — ключ ко всем дверям". Тут уж я не находился что ответить, опускал взгляд и начинал перекладывать и пересматривать пакеты. "Нет! Только не это, не разворачивай. Это неизданные тексты Лесамы. Не надо на меня так смотреть. Клянусь, что никогда не пущу их на неправедное дело. Правда, я клялся, что никогда не уеду, а сам уезжаю, но это другое. Я не стану ими торговать и не отдам никому, кто может использовать их в политических целях. Если мне удастся пережить бурю, я их верну. Да не смотри ты на меня так. Думаешь, я не сознаю ответственности? Но если придется совсем туго, они меня выручат. Ты вогнал меня в тоску. Налей мне выпить и уходи".

По мере того как приближалась дата отъезда, Диего стал чахнуть. Он плохо спал, исхудал. Я проводил с ним все свобод-

1. "Достань мне плакат с Фиделем и Камило... фотографию Марти на Ямайке и Мельи в шляпе..." Камило Сьенфуэгос (1932—1959) — соратник Фиделя Кастро и Че Гевары, один из лидеров Кубинской революции, пропавший без вести вскоре после ее триумфа. Хулио Антонио Мелья (1903—1929) - основатель Кубинской коммунистической партии. Что касается Хосе Марти — действительно, известен его снимок, сделанный во время визита в Кингстон в октябре 1892 г.

ное время, но он почти не говорил со мной, думаю, иногда вообще меня не видел. Он сидел, съежившись в кресле Джона Донна, с книгой стихов и распятьем — его религиозность обострилась, — и, казалось, из него вытекли все краски и вся жизнь. С ним была Мария Каллас, она пела тихонько и нежно. Однажды он вгляделся (ты вгляделся, Диего, мне не забыть этот твой взгляд) в мое лицо особенно пытливо. "Скажи мне правду, Давид, — попросил он, — ты меня любишь? Тебе пошла на пользу наша дружба? Я относился к тебе неуважительно? Ты считаешь, я вреден Революции?" Мария Каллас перестала петь. "Да, наша дружба была правильной, и я очень уважаю тебя". Он улыбнулся. "Ты все не меняешься. Я говорю не об уважении, а о любви двух друзей. Пожалуйста, давай не будем бояться слов". Да я, в общем, это и хотел сказать, но у меня трудно выговариваются слова, и, чтобы дать понять, что я к нему привязался и что в каком-то смысле я уже другой, изменился за время нашей дружбы и приблизился к тому "я", каким всегда хотел быть, я добавил: "Приглашаю тебя завтра на обед в 'Конехито'. Я пораньше займу очередь. А ты просто приходи до двенадцати. Я угощаю. Или хочешь, зайду за тобой и пойдем вместе?". — "Нет, Давид, не надо. Все и так хорошо". — "Диего, я настаиваю. Я все прекрасно обдумал". — "Ну, ладно, но только не в 'Конехито'. В Европе я планирую стать вегетарианцем". И если уж я так хочу выйти с ним в свет, если так я обрету внутренний покой или еще что, то будь по-моему. Он появился без десяти двенадцать, когда толпа уже штурмовала двери ресторана, с японским зонтиком и в таком наряде, что ничего не стоило различить его за два квартала. Выкрикнул мое имя и обе фамилии с другой стороны улицы, потрясая кучей браслетов на вытянутой руке. Подойдя, поцеловал меня в щеку и принялся описывать потрясающий прикид, который только что видел в витрине и который на мне сядет, как влитой, и тут я к своему удивлению — и удивлению Диего и всей очереди — принялся отстаивать другой стиль, да так красноречиво, что совершенно затмил оппонента; такие уж мы, стеснительные — как разойдемся, так нас заслушаешься. Этим обедом мы отпраздновали его безотказную технику размачивания коммунистов. И, продолжая мое образование, он добавил несколько заглавий к моему обязательному списку литературы. "Не забудь про графиню де Мерлин[1], начинай уже к ней под-

1. Графиня де Мерлин (Мария де лас Мерседес Санта-Крус-и-Монтальво, 1789—1852) — кубинская писательница, писавшая по-французски и по-испански.

бираться. У вас с этой женщиной состоится встреча, о которой еще долго будут вспоминать". За десертом мы отправились в "Коппелию", а потом в берлоге распили бутылку "Столичной". Все было чудесно, пока выпивка не закончилась. "Пришлось откупорить русскую водку, чтобы сказать тебе две вещи напоследок, Давид. Начну с той, что полегче. Давид, мне кажется, тебе недостает инициативы. Нужно быть решительнее. Ты не зритель, ты — актер. Уверяю тебя, на сей раз получится лучше, чем в 'Кукольном доме'. Будь и дальше революционером. Ты скажешь — кто я такой, чтобы так говорить? Но у меня есть ценности; как я уже заявлял, я патриот и лесамианец. Революции нужны такие люди, как ты, потому что даже не янки, а гастрономия, бюрократия, эта ваша пропаганда и высокомерие не ровен час все загубят, и только такие, как ты, могут этому помешать. Предупреждаю, это будет нелегко и потребует присутствия духа. А вторая вещь, хоть бы не сбиться, черт, как же стыдно, долей мне там, что от водки осталось, так вот: помнишь, как мы познакомились в 'Коппелии'? Я тогда поступил подло. Все было подстроено. Я гулял с Германом, мы увидели тебя и поспорили: я сказал, что затащу тебя в берлогу и в постель. Пари было в валюте, я заключил его, чтобы собраться с силами и подойти к тебе — ты всегда мне внушал уважение, и я никак не решался. И я не случайно пролил тогда молоко. Я должен был вывесить твою рубашку на балкон вместе с манильской шалью в знак победы. Герман, само собой, все разболтал, а теперь он меня ненавидит, и его и подавно не заткнуть. В некоторых кругах — я ведь в последнее время занимался только тобой — меня прозвали Красной Хабалкой, а кое-кто думает, что мой отъезд так обставлен для виду, а на самом деле меня забрасывают на Запад как шпиона. Ты сильно не переживай: когда о мужчине ходят такие слухи, это ему вовсе не вредит, а, напротив, придает загадочности, и еще много женщин, желающих вновь направить тебя на путь истинный, упадет в твои объятия. Ты прощаешь меня?" Я промолчал, из чего он заключил, что прощаю. "Вот видишь, не так уж я хорош, как ты думаешь. Ты бы такое смог провернуть у меня за спиной?" Мы посмотрели друг на друга. "Так, сейчас я заварю тебе чаю в последний раз. Потом уходи и больше не возвращайся. Не хочу никаких прощаний". Этим все и кончилось. Когда я оказался на улице, дорогу мне перерезал пионерский отряд. На них были свежевыглаженные галстучки, и они несли букеты: и, хотя пионер с цветами — порядком затасканный символ будущего, они мне понравились, и я засмотрелся на одного, а он заметил и показал мне язык, и тогда я сказал ему (сказал, не пообещал), что следующего Диего, который попадется на мо-

ем пути, я буду защищать не на жизнь, а на смерть, пусть даже никто меня не поймет, и от этого я не рассорюсь со своим Духом и своей Совестью, как раз наоборот, потому что, как я понимаю, это и значит бороться за лучший мир для тебя, пионер, и для меня. И я захотел перевернуть страницу, как-то отблагодарив Диего за все, что он сделал для меня, и для этого я пошел в "Коппелию" и заказал такое мороженое, как ем сейчас. Пусть завезли и шоколадное — я взял клубничное.

Анхель Сантиэстебан

Волки в ночи

Перевод Светланы Силаковой

"ГОТОВ, Эстебан?" Вместо ответа он кивает, вид у него перепуганный. Выходим в путь. Уже поздний вечер, накрапывает дождь, под которым и простудиться недолго. Ступаем легко, тихонько, чтобы не привлекать внимания. Хорошо еще, что теперь жильцы больше не выходят на дежурства от Комитета[1]: никто не настучит, что мы ведем себя подозрительно. На улицах холодно, безлюдно: похоже, идеальный денек. Но когда идем мимо полицейского участка, становится страшно: часовой у ворот косится на нас. "У, пугало", — говорит Эстебан. Я подавляю смех: если часовой заметит, что над ним потешаются, ему достаточно пальцем шевельнуть — и мы долго будем плакать за решеткой. Прижимаю к себе мешок со всем необходимым: два ножа, точило, целлофановые пакеты, веревка. Хорошо, что луна сегодня тощая: оберегает нас. Снова спрашиваю Эстебана, взял ли он документы, хлопаю себя по карману: мои на месте. Прошу Эстебана, почти умоляю, не шлепать по лужам так шумно. Мне кажется, я чувствую эхо его шагов: отражается от стен, такое же

© Ángel Santiesteban, 2000
© Светлана Силакова. Перевод, 2015

1. Комитет Защиты Революции — на Кубе орган, в функции которого входят гражданская оборона, политпросвещение и слежка за гражданами. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

пугливое, как и он. Эхо может нас выдать. Снова прошу: "Потише наступай. Еще тише". Эстебан смотрит раздраженно, кривится. Говорю себе: а может, я преувеличиваю опасность и только больше нервирую Эстебана своими придирками.

С каждым шагом мешок наливается тяжестью: это из-за дождя. Перекладываю мешок на другое плечо. Через дорогу перебегает черная кошка; стараюсь не смотреть на Эстебана, но чувствую его пристальный взгляд. "Может, лучше вернемся?" — говорит Эстебан. Мы как раз проходим под фонарем на перекрестке, и Эстебан замечает, что мне не по себе. "Не будь трусом", — говорю ему, когда он уже отводит взгляд. Но мне вспоминается, как сыро в тюремной камере, как там воняет, и я тоже начинаю паниковать. И тогда, чтобы ободрить Эстебана или самого себя, точно не знаю, я снова повторяю, что Орула[1] разрешил нам пойти, а крестный Миранда говорит, что Орула никогда не ошибается. Эстебан крестится, целует свой амулет — бусы Ошун[2], закуривает сигарету.

Станция уже близко. На время оставляю Эстебана и мешки в подворотне. Не успеваю отойти на несколько шагов, а он уже просит: "Ты не тяни, позови меня поскорей, чтобы я недолго был тут один". Озирается по сторонам, засовывает руки под мышки, чтобы не замерзнуть. Я киваю ему, машу: объясняю жестами, что волноваться нечего, все пройдет гладко, вот увидишь. Подхожу к перрону. "Добрый вечер!" Никто не откликается. Ни одного воспитанного человека тут нет. Значит, и образовательный уровень — чуть выше нуля, и социальный статус низкий, пожалуй, даже чересчур. То есть самый подходящий для таких делишек. Мысленно делаю панорамный снимок: тут всех надо знать в лицо. Заметно, что тут все поголовно — преступные элементы, страх и невзгоды источили их голоса, разъели слова, потому что молчаливость и упертость для этого промысла — самое то.

Спрашиваю, кто последний, всматриваюсь в лица. Похоже, собрались одни завсегдатаи. На углу кто-то быстро вскидывает руку и тут же опускает. Убеждаюсь: тут все заодно, никто не втерся, никто не предъявит красную книжечку "Вы, мол, арестованы". Достаю платок, сморкаюсь. То есть подаю сигнал. Вижу, как приближается силуэт Эстебана. Говорю

1. Орула — божество племени йоруба и сантерии. Символизирует обновление, загадку, трудные поиски и т. п. Крестный — в сантерии наставник начинающего адепта.
2. Ошун — божество племени йоруба и сантерии. Символизирует чувственность, любовь и плодовитость. Бусы Ошун (или другого божества из пантеона сантерии) — талисман.

ему, чтоб убрал мешки в наш обычный закоулок, пока не появится поезд; если будет облава, при нас не найдут никакого компромата. Эстебан тут же бежит, засовывает мешки за куст, возвращается все так же вприпрыжку, останавливается передо мной, улыбается. “Покури пока”, — советую. Надо же его чем-то занять. Не переставая улыбаться, он берет у меня сигарету, но спички отсырели, и он расстраивается, огорченно таращится, но упрямо продолжает чиркать. Еле-еле вырываю у него коробок, начинаю сам возиться со спичками. Много извел зря, пока одна не загорелась.

Укрываемся от дождя, как и другие пассажиры, но ветер швыряет нам струи воды прямо в лицо. Не успели прийти, а уже не терпится, поскорей бы поезд пришел и нас забрал. Эстебан наклоняется, загораживая лицо от дождя, прикуривает новую сигарету от окурка. Он прямо липнет ко мне — видно, тоскует по своей теплой постели. Не напоминаю ему, что табачный дым меня раздражает; пусть уж Эстебан расслабится. Я же знаю, какой он дерганый. И боюсь его лишиться: очень трудно найти напарника, готового на этот огромный риск; нас выслеживают усерднее, чем убийц, а мы почти никогда не можем даже дать показания в свою пользу, потому что в нас стреляют на поражение. Когда из-за горизонта всплывают огни поезда, пассажиры встают в очередь. Даю Эстебану отмашку. Он моментально приносит мешки.

Локомотив дышит на нас теплом, ласковым, как женская грудь. Выбираю самый темный вагон, сажусь у дверей. Эстебан никогда не жалуется, ходит за мной, как верная собачонка. Вот и сейас усаживается рядом. “Только смотри не засни, даже если сильно захочется”, — говорю ему. В знак отрицания он мотает головой, как конь. “А не помолиться ли нам, Эстебан? Мы же обещали крестному”, — шепчу, но он меня не слышит: притих, неотрывно уставился в потолок.

Холодно, но окон никто не закрывает. Высовываемся в окна, чтобы следить за дорогой, вовремя заметить полицейскую засаду, вовремя сбежать. Чувствую, как кнуты дождя хлещут по щекам, а потом стекают по всему телу и заполняют ботинки. Эстебан отчаянно дергает меня за рубашку: хочет спросить, не вижу ли я чего такого. “Да нет там ничего, — отвечаю ему и прошу: — Не дергай меня больше за одежду, ты ведь знаешь, как это меня бесит”. Он обижается, но скоро успокаивается, словно ребенок; дети быстро забывают про свою печаль и снова начинают задавать дурацкие вопросы. А мне хочется отдохнуть от Эстебана. Встаю, притворяюсь, что иду в сортир, — на самом деле мне надо изучить обстановку. Эстебан вцепляется в мою руку, просит вернуться побыстрее. Иногда он ставит ме-

ня в тупик, даже не знаю, как ему ответить: он же не понимает, что в этой маргинальной среде любой, кто заметит эту нашу взаимную привязанность, ни на секунду не подумает, что мы с детства дружим, что в нас, вопреки всему, жива человечность, что на этот промысел мы выходим только от безысходности. Нет, нас могут неправильно понять, решат, что мы парочка, что мы такие мужчины, которые с мужчинами целуются. От одной этой мысли у меня появляется желание хорошенько оттолкнуть Эстебана: пусть научится себя вести. Приглядываюсь к окружающим: все нормально, никто нами не интересуется, тут каждый думает о чем-то своем. Никто не спит. Все вслушиваются в любой шум, который может предвещать удачную ночь. Кое-как высвобождаю руку. Неторопливо иду по вагону, держась за спинки сидений. Железнодорожный полицейский шушукается с целой компанией. Увидев меня, все замолкают. Разговор возобновляется, только когда я отхожу подальше. Наверняка его подельники, принесут ему его долю, и машинисту тоже. Почти у всех в вагоне глаза бегают, а еще сверкают, как у настороженных котов. Хочется спать. Высовываю голову в окно. Вижу, как огни поезда распугивают темноту, распугивают, распугивают... и вдруг гаснут. Меня переполняет внезапная радость. Иду за Эстебаном. Он уже посапывает. Трясу его. Зашевелился. "Сюрприз", — говорю, иду к дверям. Когда поезд снова включает огни, стадо коров, задремавших на теплых шпалах, уже совсем рядом. Эстебан беспрестанно дергает меня за рубашку — спрашивает, много ли их. И вдруг ослепительный луч, разрывая ночь, светит в глаза животным, и глаза сияют во мраке, как фонари, идеальная картина для художника, которым я хотел бы стать... Невольно ухмыляюсь — не могу сдержать свои чувства. Коровы пытаются встать, но они такие медлительные, такие массивные, что просто не успевают пошевелиться, а свет ослепляет их, и поезд их сбивает поочередно, а они даже уклониться не могут. Одна корова свалилась в ложбину. Провожаю ее взглядом, чтобы приметить место. Бежим к задней двери вагона. Оглядываюсь на Эстебана — а он с пустыми руками. Кричу: "Мешок бери", а он только разевает рот, ковыляет вперевалочку к скамейке, возвращается с мешком; как же меня бесит его недотепистость, но ругать Эстебана нельзя, чтобы не сорвать все дело в последнюю минуту.

Поезд замедляет ход, полицейский загораживает мне дорогу, чтобы его люди могли выйти первыми; наконец, протискиваюсь мимо, и мы устремляемся вперед, как волки — на добычу. Соображаю: коров мало, народу много, большинство мясников уже взялось за дело, кричу Эстебану: "Иди за мной". Он все твердит: "Да вот же, вот, тут уже есть", но очень трудно завладеть ко-

ровой, чтобы другие добытчики не окружили ее моментально. Не хочу попасть в обычную для таких случаев историю: отчаяние, раж, ненависть заставят ножи ошибиться, вонзиться в мою руку, отрубить мне пальцы... И тогда, возможно, я встречу рассвет рядом с ободранными скелетами этих коров, и в аорте у меня будет дырка. Бегу дальше, говорю Эстебану: "Ты меня слушай, я хочу, чтобы нам на двоих досталась целая корова", бегу, а сам понимаю: если я ее не отыщу, придется ждать, пока закончат остальные, подбирать за ними ошметки. Эстебан кричит: "Ты спятил, постой". Не обращаю внимания. Спускаюсь в ложбину: вот она, дожидается нас молча; пока Эстебан улыбается, невинной радостной улыбкой ребенка, и завязывает ей рот, чтобы нас не выдал ее стон, не привлек внимание какого-нибудь случайного полицейского, я достаю нож и втыкаю в ее ногу, и струя крови бьет мне в лицо; поджимаю губы, жмурюсь, продолжаю резать. Корова пытается встать, но не может. Когда она роняет голову, начинает резать Эстебан. Думаю о том, как сейчас волнуется моя жена, уже, наверно, ждет вести, что меня арестовали на станции. Думаю, как она обрадуется — не только лицо, желудок заулыбается, предвкушая отдых от соевого фарша да рыбы с привкусом болотного ила. Думаю о коробке с медалями и дипломами, которую храню под кроватью. О том, как бы удивились сейчас мои товарищи, которые, говоря по-нынешнему, "разделяли со мной эпохальные моменты истории".

Засовываем мясо в целлофановые пакеты, кладем в мешки. Утираю лицо. Совсем вымотался. Мы резали мясо, должно быть, целый час. Правда, когда нервничаешь, чувство времени запросто может обмануть. "Надо торопиться на полустанок. Эстебан, поезд вот-вот поедет обратно". Говорю ему это один раз, не спрашиваю, слышал ли он. Еще ответит как-нибудь неподходяще, а я обижусь, и дойдет до драки. Мешок тяжелый, тащу его еле-еле, меня шатает. Завидую Эстебану: сильный, как мул, свой мешок несет без усилий; зато движется заторможенно, а думает еще медленнее. И поскольку он сам знает свои недостатки: как-никак, учился в спецшколе для умственно отсталых, — обычно он ведет себя покладисто и признает, что я — главный.

— Живее, Эстебан, когда подойдет поезд, кидай мешок в вагон и залезай сам поскорее, а то еще останешься. Не забывай: поезд тут не останавливается, только тормозит.

— Ты меня одного не бросай... Тут темно, я начну орать, пока меня не заберут. Поклянись, что не бросишь меня одного.

По логике вещей, его ответ должен был меня рассмешить; но мое чувство юмора куда-то кануло — по крайней мере, в таких ситуациях; даже не вспомню, когда я в последний раз смеялся от

души; возможно, мне следовало бы пожалеть Эстебана, но и жалости во мне тоже нет; сейчас мне больше всего жалко себя, потому что от моего везения зависят три женщины, которые ничего не умеют, кроме как благодарить меня за все мои труды.

— Клянусь, я тебя не брошу, только ты меня не доставай, ладно? Не талдычь одно и то же, помолчи, а?

Вот и полустанок. Стоп, а если я весь изгваздался в крови? Правда, дождь припустил сильнее. Нахожу лужу, ополаскиваю лицо и рубашку, чтобы никакого следа не осталось. Челюсть ноет, потому что я очень долго невольно стискивал зубы: даже не знаю, от холода или от страха. Те же самые настороженные мужчины, с которыми мы ехали сюда, снова сбиваются в черную, безмолвную массу. Замечаем огни поезда, идущего в обратный путь. Огни выныривают вдали, словно маленькое солнце раскалывает темноту. Поезд подходит через несколько минут, но эти минуты кажутся мне часами. Подходим поближе к путям, слышу скрежет металла, похожий на крики. Практически на бегу вскакиваю в вагон. Эстебан швыряет свой мешок в тамбур, но не успевает схватиться за поручень, потому что поезд начинает снова набирать скорость, пальцы Эстебана вытягиваются вперед, его тело клонится, я подаю ему руку, но не могу достать, уже еле различаю его перепуганное лицо, скорее воображаю, чем вижу, а Эстебан зовет меня, его детский голос теряется в скрежете металла, гаснет в ночной тишине, а я начинаю паниковать: если Эстебана схватят, он меня выдаст, скорее всего, выдаст. Отодвигаю мешки от дверей, чтобы другие больше не спотыкались о них, раздраженно присвистывая. А то и отнять могут, это еще хуже. Как и другие мясники, кладу мешок на свободное сиденье: если вдруг железнодорожные полицейские устроят обыск, можно сказать, что мешки не наши, а чьи, не знаем. Ко мне подходит Эстебан, пихает меня в бок. В полумраке я не вижу его лица, но отлично знаю: вид у него безумный.

— Я просил не бросать меня одного, — говорит он громко.

— Я тебя не бросал одного, перестань хватать меня за рубашку.

— Бросил, а я тебя предупреждал: не бросай меня одного.

— Я тебя не бросал, потому что никогда бы не бросил, понимаешь? Я знал, что ты сможешь забраться через другую дверь, а если бы ты не смог забраться, я бы спрятал мешки у полустанка, сбегал домой за велосипедом и вернулся бы тебя искать; я же не подонок, и не ори больше.

— Но мне нужно знать, что ты никогда не бросишь меня в темноте.

— Конечно, никогда не брошу. Черт, а как, по-твоему, я без тебя дотащил бы все это мясо? Мне тоже нужно, чтобы

ты был при мне, я же тебя не просто так взял, а? И говори шепотом, на нас смотрят.

Он смягчается, озирается, начинает осознавать, где он и чем занят. Садится на соседнее место, не сводя с меня глаз, пытаясь угадать мои истинные намерения: — Ты бы правда вернулся?

— Да, — говорю, — мясо сегодня есть, а завтра нет, и деньги — тоже дело наживное, но дружба, Эстебан, — совсем другое дело.

Слегка успокоившись, он усаживается поудобнее, откидывает голову назад. Спрашивает: "Ты на меня обиделся?" — "Не нуди, — говорю, — спи уж". Пользуюсь случаем, чтобы тоже расслабить тело. Ум все равно не расслабится. Железнодорожный полицейский, как всегда, притворяется спящим, но я ни за что не могу свыкнуться с его присутствием. Все равно ему не доверяю, постоянно боюсь, что он вдруг встанет и скажет: "Вы арестованы". Поглядываю на его пистолет, и в голове крутится вопрос: "А если внутри этого пистолета — пуля, от которой зарыдает моя семья?"

Снова принимаюсь думать о том, как здорово, когда есть еда, когда ее можно принести домой. Как хорошо на душе у мужчины, когда он может это сделать. И каким страхом, каким напряжением приходится расплачиваться. И еще думаю, что несколько дней отдохну от упреков жены: "Что ж ты не согласился уехать за границу". Впереди — еще один опасный отрезок пути, а мешки, пропитанные водой и кровью, становятся все тяжелее. Эстебан уже не дремлет. Лицо у него скорее радостное, но все равно он курит сигарету за сигаретой и тоже с подозрением косится на типа в форме, который до сих пор косит под спящего. Эстебан тычет меня локтем каждый раз, когда полицейский ворочается, устраиваясь поудобнее.

Едва стали видны первые городские огни, люди и мешки начинают перемещаться, чтобы быть поближе к дверям и не зевать: если на станции нас, как почти всегда, поджидают для обыска, надо дать деру, затеряться на пустырях. В отсветах от огней поезда замечаю, как блеснула белая крыша полицейской машины, различаю на перроне фигуры полицейских. Первый порыв: схватить мешок и спрыгнуть в темную пустоту; но я знаю, что мой товарищ этого сделать не сможет, да еще и разревется, и тогда остальные наверняка смекнут, что впереди засада, и захотят последовать моему примеру, и полиция насторожится. Оцепят район, заберут нас всех. Возвращаюсь к Эстебану, говорю ему — а голос у меня вот-вот сорвется, — говорю, чтобы взял свой мешок и шел за мной следом; он хочет спросить, в чем дело, но я стискиваю его плечо, говорю: "Делай все, что я скажу, ничего не

спрашивай, хотя бы сегодня"; он кивает, прячет глаза, берет мешок, мы подходим к двери, которая выходит на противоположную сторону от перрона, ищу глазами что-нибудь приметное, ага, дерево, вышвыриваю свой мешок из тамбура, как следует размахнувшись, чтоб упал подальше от путей; Эстебан смотрит испуганно, прошу его: "Делай, как я", но он медлит, не хочет кидать мешок, упирается, в отчаянии крутит головой. "Оно мое, — говорит, — никому не отдам", крепко обнимает мешок, я наклоняюсь к Эстебану, уговариваю его: "Чтобы не отдавать, сделай то, о чем я прошу", Эстебан начинает дрожать, я беру его руки в свои и моментально — он не успевает среагировать — отбираю у него мешок и тоже вышвыриваю из тамбура, а Эстебан меня толкает, стукаюсь головой о стенку, даже сдачи ему дать не могу; кое-как загораживаюсь коленкой, не даю ему снова прикоснуться ко мне, он орет: "Зачем ты это сделал?", хочет спрыгнуть с поезда и бежать на поиски мешка, но его сдерживает темнота, она — точно стена, через которую не перепрыгнешь, и Эстебан нерешительно мнется, а я, опасаясь, что он с перепугу свалится под поезд, тяну его за ногу, чтобы потерял равновесие. Эстебан поневоле бухается на пол рядом со мной. Кое-как нагибаюсь к его уху, шепчу, что на станции полно полицейских, и тогда он впадает в ступор, смотрит на меня бескрайними безумными глазами, как всегда, когда ждет опасности. Мы встаем, я его предупреждаю, чтобы ничего не говорил, пока не спросят. "А когда полицейские начнут расспрашивать, ответишь, как всегда: едем от друзей, они живут около Ломы-дель-Танке[1]". Теперь Эстебан на все соглашается, а моя ушибленная голова до сих пор гудит. Усаживаемся на скамейку, ждем полной остановки поезда. Кто-то вскрикивает — подает сигнал тревоги. Смотрим, как суетятся остальные, заметив засаду, но мясо уже не спрячешь; и тогда все, нервно ежась, шарахаются от мешков. Железнодорожный полицейский бежит прятаться на локомотив, бормоча под нос "Я ничего не видел". Полицейские заходят в вагон через все двери и сразу направляются к мешкам. Спрашивают, чьи мешки, но никто, естественно, не отвечает, пялимся на них невинными глазами. Они допытываются, почему мы едем на поезде, проверяют документы, спрашивают, кто мы по профессии. Мне становится ясно: сколько бы они ни пытались нас запугать, в участок не потащат. Ни нас, ни, скорее всего, это мясо. Полицейские говорят: "Раз хозяева не отыскались, мешки придется забрать". Уволакивают мешки, потом возвращают нам до-

1. Лома-дель-Танке — населенный пункт в провинции Майябеке (Куба).

кументы и уходят, а мы сидим в темном вагоне, не говоря ни слова, пока фары отъезжающих машин не рассекают мрак.

Выходим на перрон. Разглядываю отпечатки колес полицейских машин в грязи. На станции все спокойно. Теперь стоит поблагодарить дождь за то, что он зарядил надолго и разогнал полицейских, пусть даже потом мы будем целую неделю температурить и кашлять.Пассажиры расходятся кто куда. Говорю Эстебану, что лучше обождать, пока другие отойдут подальше: еще попросят поделиться или вздумают отнять наше мясо. И вот, наконец, подходим к нужному месту. Разыскиваю дерево, которое я приметил, дерево, около которого должен валяться мой мешок. Эстебан находит свой первым: вот ведь — псих, а везучий. Потом и мой мешок отыскался, правда, не сразу. Идем домой. Мешки почти неподъемные, еле переставляем ноги. И все-таки мы делаем крюк, чтобы не проходить мимо полицейского участка. Ничего, как-нибудь дойдем. Когда в темноте мелькают фары машин, бросаем мешки и останавливаемся: вдруг полиция. Или стукач какой-нибудь, вызовет охрану, и тогда нам не дадут даже сдаться — застрелят, как почти всегда бывает в этих случаях незаконного забоя скота.

Вот и мой квартал. Мигом оглядываю все двери и окна: может, кто подглядывает и сдаст нас из зависти или с досады, что у самого-то не хватило храбрости добыть мясо. Поэтому если меня кто-то замечает с мясом, я даю ему кусок забесплатно, и сразу все забывается. Но соседи все равно не спускают с нас глаз: уходим — примечают, возвращаемся — уже поджидают, чтобы выцыганить свою долю. Сегодня мы с Эстебаном сговорились их обмануть: перепрыгнули через забор на задворках, встретились у похоронного бюро. И теперь я уверен: соседи попались на удочку и думают, что мы давно уже спим. Час-то поздний...

С ужасом вижу: в подворотне моего дома кто-то стоит. Два человека. Надо бы бросить мешок, но я знаю: силы на исходе, хватит только, чтобы доковылять до дома; если брошу мешок, поднять уже не смогу. Решаю рискнуть. Робко семеню к дому, пока не различаю знакомые лица: это мои стоят, жена с матерью, ждут меня, накрывшись целлофановым пакетом.

— Кой черт вы тут мокнете? — говорю я им. Они помогают мне тащить груз. Эстебан переходит улицу и швыряет мешок в свою дверь, чтобы распахнулась. В подъезд входим молча. Правда, от наших шагов — грохот, словно целый табун скачет. Подхожу к нашей двери, толкаю ее, зашвыриваю мешок внутрь. По кафельному полу бежит тоненькая струйка крови.

Сначала присесть и ждать, пока пройдет ломота в шее, руках и спине. Мать, поблагодарив святых: она постоянно ста-

вит им свечки, жертвует ром, зажигает сигару, — приносит мне таблетку и стакан воды. Жена снимает с меня ботинки, улыбается; на мешок смотрит сияющими глазами, и мне вспоминаются коровы в момент, когда их давил поезд; теперь-то жена не жалуется, что у меня ноги плохо пахнут, а растирает мне ступни руками, трется грудями.

В такие мгновения и вопреки всему я горжусь собой, глажу жену по голове, и мне грустно, что я заставляю ее волноваться: этим жестом я прошу прощения за то, какую жизнь ей приходится вести. Она такого не заслужила, мы оба не заслужили. А потом смотрю на маму, а та стоит, прикрыв глаза, молча шевелит губами, то и дело крестится.

Стук в дверь. У меня сердце проваливается в пятки. Жена безуспешно пытается оттащить мешок подальше, куда-нибудь спрятать. Мать распахивает глаза, беспокойно оглядывает святых, умоляет их не делать ей эту подлость в последнюю минуту. "Это я, Эстебан", — слышится голос. Иду в прихожую на подгибающихся ногах. Выглядываю через решетку в двери — и правда, Эстебан. Открываю дверь. "Ты что со своим думаешь сделать?" — спрашивает он. "Съем, — отвечаю, — продавать не буду, очень уж рискованно, еще посадят. А ты хорошенько все продумай и только потом делай, а если тебя заберут, веди себя, как настоящий мужик, моего имени им не называй. Лучше всего тоже съешь все мясо сам, забудь про весь мир на несколько дней". Он говорит, что я, наверно, больше не захочу его брать, потому что он плохо себя ведет. "Завтра поговорим, — отвечаю, — время позднее". — "Вообще-то, — говорит он, — я не знаю, хватит ли у меня храбрости идти с тобой опять, я тебе только спасибо скажу, если больше не позовешь". Я говорю ему, что устал, тяну на себя дверь, закрываю. Он замолкает, уходит, не простившись. Эстебан каждый раз мне закатывает такую сцену, когда возвращаемся домой. А потом, через несколько дней, мясо и деньги у него кончаются, и он уже сам начинает мне надоедать — все время спрашивает, когда опять пойдем.

Закрываю дверь, вываливаю мясо из мешка на стол. Огромные красные комья. "Разжигайте огонь, — говорю, — сейчас наедимся до отвала". Мать бежит на кухню, чтобы заправить керосинку, жена готовит кастрюли, поглядывая на меня радостно.

В дверь снова звонят, мы снова пугаемся, хотя и сознаем: снова Эстебан пришел с новыми вопросами. Открываю — а это соседка из квартиры напротив, держит в руках большую тарелку. Слышу голос матери: она говорит, что это уже ни в какие ворота не лезет, и жена верещит: "Ну просто шантаж", а сам смотрю на эту сеньору — а она пытается спрятать глаза, еще больше

морща свое морщинистое лицо, и чувствую, что ей за себя стыдно; беру у нее тарелку, отрезаю кусок мяса, отдаю; не успеваю закрыть дверь, как передо мной возникают еще три фигуры, другие соседки, одна говорит мне, что у нее дочка заболела, жена отвечает: "Так своди ее в поликлинику", но соседка настаивает, умоляюще смотрит на меня, ее подбородок подрагивает; шумно перевожу дух, беру тарелки у всех женщин, чтобы поскорее покончить с этим и расслабиться, хотя бы попробовать расслабиться, посмотреть, как моя семья пирует; пока я отрезаю мясо, соседки жалуются, что Эстебан не захотел им даже дверь открыть. "Плохой он сосед, — говорят, — вам и в подметки не годится". Мать втолковывает им, что нельзя всем варить мясо одновременно, а то запах разнесется по всей округе, выдаст нас с потрохами. Соседки кивают. Мать просит: "Дайте нам два часа, потом начнешь ты, — показывает на одну, та покорно кивает. — Потом ты, а она — последняя". Жена сует им тарелки и в сердцах хлопает дверью. Мама говорит: "Ты не обязан с ними делиться, несправедливо это, у них есть свои сыновья и мужья, почему их сыновья и мужья не жертвуют собой, все ты да ты? А если тебя, не приведи Господи, посадят (мать осеняет себя крестом), ни одна из этих баб ради тебя ничего не сделает, зато дадут волю языкам, всем уши прожужжат, что ты уголовник и тунеядец". Я глажу мать по плечу, говорю: "Дайте мне отдохнуть, ну пожалуйста, не хочу ни о чем думать". Мама улыбается, расцеловывает мне руки, возвращается на кухню.

Они начинают жарить первые ломти мяса, и все, что жарят, тут же съедают. Хватают ломти руками, дуют на них. Им не терпится запустить зубы в мясо. Так они кухарничают чуть ли не до зари. Мать иногда рыгает, нечаянно, но я чувствую, ей это самой приятно — рыгать от сытости. Жена так набила живот, что расстегнула пуговицу на юбке, а сама косится на остатки неутолимо голодными глазами. Для дочки пожарила несколько бифштексов: пусть позавтракает перед школой. По крайней мере, ребенку не придется каждое утро слышать мамины причитания: "Да почему же мы до сих пор не сели на плот и не уплыли в Майами". Я не смог притронуться ни к единому жалкому кусочку. Нервы не дают покоя: переволновался, промерз до костей. Страшно подумать, что мясо закончится, и мне снова придется точно так же рисковать. Смотрю на маминых святых, прошу: пусть в моей жизни произойдет какой-то большой поворот, спасите меня, пусть мне больше не придется это делать.

Как знать, надолго ли хватит моего везения?

Давид Митрани

Возврата нет, Джонни[1]

Перевод Светланы Силаковой

— Я здесь, что вы хотеть? — дерзит нам великан. Мы с Конем переглядываемся удивленно, испуганно, неуверенно. Этот тип неузнаваем. Вроде тот же, а совсем другой. Моя депилированная черепушка доходит ему максимум до середины груди, и то если на цыпочки встану. А Конь, даром что немного толще меня, на его фоне — как нитка против каната. Блондин огромен. Монстр североамериканской военщины. Давеча нам показалось, что это чувак среднего роста, не самый сильный, не самый злобный, а он взял и обернулся центровым игроком из НБА: грудную клетку расперло, пуговицы на рубашке гнутся, тычет в нас пальцем, толстым, как ручка метлы. Перед нами средневековый воин, закаливший мускулы в бесчисленных битвах, осторожный гладиатор-ветеран. Совсем другой человек. Двести с лишним фунтов, сосредоточенные в основном выше пояса, этакий страховидный арбуз с ногами... раньше казалось, любой из нас сделает его в одиночку, теперь же мы смекаем: да-

© David Mitrani, 2000
© Светлана Силакова. Перевод, 2015

1 Возможно, название — отсылка к польскому фильму "Возврата нет, Джонни" (1969). Это история американского офицера и вьетнамского пленного, которые, скованные одной цепью, блуждают по джунглям. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

же навалившись вдвоем, не сумеем его хотя бы поцарапать; а он мазнет нас разок по скулам, и все: синяки, кровоизлияния, походы к окулисту, насмешки, раскаяние.

— Вы недавно, — лепечет Конь, — одного нашего друга обидели.

— А-а, он ваш друг, нет? — иронизирует центровой, переоценивает свои силы, чешет затылок, нарочно выпячивая правый бицепс, смакует дрожь в голосе моего друга. И добавляет: — А я клал с прибором на это.

Нас впечатляет, что, несмотря на английский акцент, он владеет семиотикой окраин, вековым жаргоном наших пацанов, что, застыв перед нами, устроив нам западню на бетонном пороге мастерской, он сгибает свои передние лапищи и принимает позу величественной гориллы. Нас впечатляет, что в его лице ничего не дрогнуло: только ноздри раздулись и голубые глаза широко раскрылись. Нас впечатляет, что в знак презрения к нам, простым смертным с Антильских островов, он состроил рыбью морду.

С Лилой я проводить время прекрасно, получать подлинный удовольствие. Обалденная негритянка, красотка. Кубинский женщины не такой, как наш. Наш женщины — смесь с saxons[1], saxons холодные, жесткие... а здесь кубинки — смесь с испанский, арабский, африканский люди. You are different, yes[2]. Лила — она ходить-танцевать, она шевелить свой по-яс-ница, свой руки: Селия Крус, да, Селия Крус[3]. Вы не замечать это, потому что вы внутри этот ваш среда, вы просто не сознавать... На Кубе де-фи-цит money[4], для Куба нужно a lot of money. If I had[5]... э-э... Если я иметь money, я делать магазины, много, and hotels на пляжах, много, and... тогда вы увидеть про-цве-та-ни-е. Это чудесная страна, люди здесь тоже чудесные and hot, I mean[6]...огонь, yes, огненные. Я вижу великие дела когда-нибудь будут быть здесь. Мы, I mean[7], мои друзья и я, мы верить, это быть хороший страна в будущем. Когда я ехать на Куба каждый раз, я везти одежда для вас, и для дети, потому что у нас лишний. Люди кидать на помойка то, что вы мог носить. Там меня спрашивать: "Джонни, это годится для кубинцы?" Yes, yes, я им говорить, everything, все годится. Я всегда мечтать

1. Здесь: саксы (*англ.*).
2. Вы другие, да (*англ.*).
3. Селия Крус — известная кубинская эстрадная певица. После кубинской революции эмигрировала в США, где выступала много лет.
4. Деньги (*англ.*).
5. Деньги, много денег. Если бы у меня... (*англ.*)
6. И страстные, я хочу сказать (*англ.*).
7. Я имею в виду (*англ.*).

приехать на этот остров. Мой дед был в La Habana в тысяча-восемьсот-девяносто-восемь, с наш армия, and... он всегда мне рассказывать о здесь. Ну, я был ребенок, imagine[1], yes.... я воображать, когда играть с мои солдатики, с машинки... я воображать, что иду воевать против испанский люди. Сегодня я смеяться, раньше нет, это был мой страсть. Потом я расту, учу ваш история, знаю Масео[2], the battles[3]... eh... жены, которые он иметь, его дети... Он был самый великий на Кубе. Он был смелый, сильный человек, очень сильный.

Ну, мам, естественно, все так, как с кубинцами! Но есть детали. Например, он со мной всегда по-английски разговаривает, но иногда переходит на испанский, особенно определенные слова... Ну знаешь, эти, сами слетают с языка, когда возбуждаешься. Да, мамуль, только не говори, что у тебя они не вырывались, когда ты с папой жила. Да-да, те самые, он их кричит во весь и, естественно, с акцентом, но энергии уйма... От него мне эти слова кажутся слаще, чем от кубинцев. Только не воображай все в слишком розовом свете. Иногда у него подмышки начинают вонять — аж святых выноси! Первое время я ни за что не сказала бы ему про это, хоть режьте, а теперь приказываю, как будто так и надо: "Сходи, милый, поиграй с водичкой". И он, бедняжка, сразу идет в ванную, без звука. Думаешь, это помогает? Какое там! Все равно немножко пованивает, слегка, но противнее, чем в общественном туалете. Правда, хуже всего европейцы. Нет, серьезно-серьезно! Жан-Пьер вообще смердел. Счастье, что я с ним только две недели встречалась. С водой этот француз дружил не больше, чем кот. Зайдет в ванную, побреется, попрыскает на себя дезодорантом, надушится, и думает, что он теперь чистый. Мне кажется, у него вообще обоняние не работало. Когда я с ним была, да, мам, в том борделе, меня аж мутило, тошнота подступала к горлу. А еще у него были всякие странные затеи. Увидит, например, попрошайку какого-нибудь, который на Святого Лазаря просит, — подойдет и начнет с ним разговаривать, словно с главным историком Гаваны. Это что — тупость, вывих мозгов или что-то третье? Джонни не такой. Ты ведь его видела. Он на нас похож, у него чувство юмора такое же, и ведет он себя, как мы. Он и анекдоты наши рассказывает, и касино танцует: помнишь, когда мы праздновали... Хотя если со-

1. Вообразите (*англ.*).
2. Хосе Антонио де ла Каридад Масео-и-Грахалес (1845–1896) — генерал освободительной армии на Кубе. Воевал за независимость острова от испанской метрополии.
3. Сражения (*англ.*).

всем честно, с ним как-то не ощущаешь такого родства, как с кубинцами. Когда я начала встречаться с парнями, то очень много с ними болтала, про все на свете: я им и про ссоры соседей, и про торговый центр, и про бразильские сериалы... Но с тех пор, как у меня появился мой первый юма[1], мне чего-то скучно: они такой бред несут. Знакомство с Джонни — это была большая удача в некотором роде. Джонни — не красавец. Насмотришься кино и думаешь, что юмы, с которыми у тебя что-то завяжется, обязательно будут похожи на главных героев, и забываешь, что на свете — хоть на Кубе, хоть среди янки — полным-полно лысых, длиннозубых, лопоухих. По-твоему, Джонни похож на Человека-Волка? Ну, это твое мнение. У тебя всегда вкус был плохой. А по мне, у Джонни только один настоящий недостаток — ноги подкачали. На днях он стоял голый, причесывался перед трюмо, спиной ко мне, и я смогла исподтишка его рассмотреть. У него вся спина мускулистая, сверху донизу, а зад волосатый и накачанный, как у балетного артиста. С макушки до этого места — просто идеал. Гляжу ниже — а ляжки-то худые, а коленки — точно два здоровенных футбольных мяча, а икры — кажется, вот-вот переломятся. Да, да, я на него глазела, сколько влезет. Потом он обернулся, застукал меня с поличным и спрашивает: "Ну как я выглядеть — красивый?" Я ответила, избегая глядеть на его ноги, уставившись на грудь и живот: "Блеск, миленький, просто блеск".

Он нас отлупит обеими руками, сто процентов. Своей недавней жертве он наподдал, как следует. Наверное, поэтому его левая рука теперь похожа на надутую хирургическую перчатку или, скорее, на вымя голштинской коровы. Потому что предыдущему противнику он начистил портрет в свое удовольствие, потому что, абсолютно не чувствуя боли, выплеснул свой гнев сполна, излил его из своего организма, словно обычные физиологические выделения; казалось, кровавая река — кипящая, бурная — приняла форму кулаков и обрушилась на пьянчугу, а тот лишь хныкал. И так продолжалось, пока местные не сбежались, не обступили их. Тогда юма сбежал, потому что дело могло принять нехороший оборот. Потом, опираясь на руки зрителей, избитый привстал, доковылял до кабины своего грузовика и довез нас туда, куда мы ехали. И наконец-то матрас, предназначенный для невесты Коня, приземлился посреди ликующей компании, которая вышла его встречать. Прежде чем дать по газам и скрыться из виду, шофер сумел достучаться до наших сердец: он обиделся, что мы не вмешались, и обозвал

1. Юма (сленг) — на Кубе иностранец, преимущественно американец.

нас трусами, подстилками, крысятами, недоделками, и еще добавил, что мы отступники, американские подпевалы, низкопоклонники, жополизы. Тогда-то мы и вышли на охоту за беглым американцем. Найти его логово было непросто. Сначала мы вернулись на место событий, но там о нем никто ничего не знал. Местные предположили, что мы близкие друзья шофера, и расспрашивали о нем с неподдельным беспокойством. "Ему уже лучше", — успокоил их Конь. Мы прочесали Старую Гавану и Центральную Гавану, как сыщики, натыкались на недоверчивые взгляды, пустопорожние, уклончивые ответы. Уже хотели плюнуть, но решили порыскать в районе Десятого Октября и недалеко от булочной Тойо набрели на автосервис, где заметили синий "шевроле" пятьдесят седьмого года с помятой дверцей. И сообразили: готово, нашли мы этого юму. К тому моменту мы совсем вымотались. Мы ведь с десяти утра до пяти вечера колесили туда-сюда, вдвоем на одном китайском велосипеде, подгоняемые жаждой мести, крутили педали посменно: один крутил, другой ехал на багажнике, потому что Конь уже не тот, раньше он был неутомимый, а теперь, когда орда паразитов выстлала ковром его кишки, зачах и все время боится, что даже его могучий анальный клапан уступит напору осмотического поноса. Эх, зря мы все это затеяли. Вообще-то я на этом корабле случайный пассажир: сегодня утром я собирался заняться более мирным делом — навестить свою бабушку. Но Конь, этот пройдоха, перехватил меня и упросил помочь с матрасом: типа, это для уюта их с невестой супружеской жизни, а я у них на свадьбе буду свидетелем, и пива смогу выпить на халяву, несколько кружек. Против таких аргументов я был бессилен. Матрас требовалось перевезти к родителям невесты и найти для этого подходящий транспорт. В районе Вирхен-дель-Камино, в узеньком квартале, который примыкает к ресторану "Терри", нам и попался тот замызганный зеленый грузовик — стоял на парковке одиноко, точно нас дожидался. "Я мужчина свободный, это моя жена замужем" — прочел я наверху лобового стекла. Шофер спал: храпел, пускал слюни. Мы подошли. "Эй, дядя, — говорю, отодвинув помпон, который свисал с зеркала заднего вида, — хочешь подкалымить?" Шофер неохотно, точно жуя сырую котлету, отвечает: "Гоните пятьдесят песо, иначе сделки не будет. — И добавляет, скрестив на груди руки: — Нет у меня сегодня настроения крутить баранку". Таращит на нас глаза, доверху залитые пивом, кривит рот, плюет в окно кабины. Свинцовая мокрота, увлажнив нам лица этакой проспиртованной росой, пролетает над нашими макушками. И все же, несмотря на наше стесненное финансовое положение, несмотря на то, что сочетание шофера и кабины оскорбляло наше эсте-

тическое чувство, мы согласились на этот тариф. “Ну ладно”, – смирился Конь и спросил, не добавлю ли я ему двадцать песо. “Могу, – говорю, – я к тебе в свидетели пошел не просто так, не чтобы поразвлечься”. Начинаем запихивать ветхий двуспальный матрас в кузов. Чтобы крепче ухватиться, сую руку в одну из прорех в обивке, вцепляюсь в две пружины, тяну матрас на себя. Конь с шофером толкают его снизу. Матрас вползает в кузов наполовину. Выдергиваю руку, нечаянно разодрав ткань, подхватываю угол. Матрас валится в кузов. Потом мы втроем забираемся в кабину, и на первом же повороте только счастливый маневр руля не дает нашему хмельному шоферу раздавить медлительный, обшарпанный мотоцикл “Карпаты”. Еще тогда мы забеспокоились, что нас везет пьяный. Пока я это вспоминаю, Конь, не говоря ни слова, отвечает на вызов янки – хватает оцинкованную полудюймовую трубу, которая подвернулась ему под руку, а я, не желая отставать, завладеваю двусторонним гаечным ключом шесть на тридцать.

Нет, Лилита, Джонни никогда не выучит испанский. Если он так и будет якшаться с твоим кузеном Тато и с соседями по дому, то приучится разговаривать, совсем как они. Вчера я впервые услышала от него нехорошие слова, а сегодня он тоже выругался, вылез из машины и выругался. Пнул проколотую покрышку и сказал: “Сука!”, и его ни капельки не смущало, что его слышат прохожие. По-моему, он это проделывает, чтобы подольститься, потому что на тротуаре засмеялись, а потом он сам засмеялся. Вообще-то он и правда людям нравится, а когда подарки привез, все соседи были сражены. На такое не каждый способен: ни про кого не забыл, представляешь? Нельсе привез трусики, Тато – одноразовые бритвы, даже дурачок Фелипе выпросил у него кепочку... А как он с нашими соседями себя держит – тот же принцип. Задумайся, он никем не брезгует, со всеми общается, вот на днях, во вторник, когда он здесь у тебя ночевал, я утром встала, пошла стирать постельное белье и вешать на просушку. Смотрю, а он с Меньей разговаривает. И смех, и грех. Ну знаешь, Менья у нас с приветом. И вот она, как всегда, плачется: молока не достать, свет отключают, а он – я все подробно рассказываю, чтобы ты поняла суть, – стал ей говорить ровно то же самое, что говорит Фидель: что больницы бесплатные, что у них операция стоит тысячи долларов, а здесь даже таким, как мы, доступна. Даже про Марти стал ей толковать. Менья примолкла, просто не знала, что ответить, а потом говорит, вся такая поникшая: “Ну хорошо, можешь сто раз объяснять мне и разобъяснять, я только знаю, что очень уж голодно...” Тут же ушла в свою квартиру и там снова начала разговаривать, сама с собой. С Джонни не соскучишься. Но если

Тато не перестанет его учить этим хохмам, он нас однажды осрамит в самый неожиданный момент. Позавчера твой кузен ему объяснял, я сама слышала: мол, чтобы пригласить девушку на рюмочку, надо спросить: "Солнышко, хочешь, покувыркаемся?" А вместо "Пойду спать" пусть скажет: "Господа, мне жаль вас покидать, но я сейчас обо..." Даже повторять не стану, так это грубо. Можешь себе вообразить, Лилита? Не смейся. Хорошо, что ты всегда вместе с ним и удерживаешь его от этой нецензурщины. Хоть бы он не ляпнул что-нибудь какому-нибудь важному человеку!

Этот "шевроле", такой, там — очень дорогой, для меня он — то, что надо. Если оригинальный детали, и не быть ни один авария, машина стоить дорого. Когда я открываю и вижу — мотор просто блеск, it looks wonderful[1], then я хотеть арендовать его, потому что я умею водить старый автомобили хорошо, потому что я живу в другой время, я пе-ре-но-сить-ся назад, я ставлю музыку: Нэт Кинг Коул, Фрэнк Синатра, even[2] Элвис Пресли... and then, э-э... мечтаю, друг мой, мечтаю.Так жить мне по душе. Отели, бассейны, restaurants — это shit, дерь-мо. Лучше всего среди вас, пью ром, ем шкварки, играю в домино, и Лила всегда со мной, чтобы целовать. Вы не знать, как вы счастливый. Моя страна не человеческий, моя страна есть машина, не любить, а только думать о деньги. Вы об-щи-тель-ный. Там люди не такой. Есть один поговорка: тепло греть сердце, а холод охлаждать его. It's bullshit[3]. Это неправда. Тепло — не солнце, не воздух, не пляж, не ром. Понимаете? It's culture, yes, куль-ту-ра, румба, язык, смесь разный кожи, смесь разный религии, yes!, они смешаться, как химический вещества, и давать реакция, и выделять тепло. Не умею сказать на испанский. Эк-зо-тер-миз-мо? Нет? Тепло — он идти и от вас, от ваш смех, от рассказы.

Я уверен, он ничего не сделает. Наверно, юма ждет, пока мы нападем на него первые, хотя я лично дожидаюсь, пока начнет Конь. Механик включил автоген, распустились огненные бутоны ацетилена; ну и ну, неужто у него комплекс ангела-истребителя прорезался? Ничего себе, ведь этот мулат холит свою мастерскую, как садовод — цветы, а сейчас благоразумно держится в стороне. Сперва механик нам пригрозил: если мы создадим ему проблемы, он этого не потерпит. И поднес горелку к моему носу — еще немножко, и обжег бы. "Я в курсе, зачем вы пришли, но, если драку затеете, я вмешаюсь", — сказал он,

1. Выглядит чудесно (*англ.*).
2. Даже (*англ.*).
3. Брехня (*англ.*).

как отрезал. Конь пообещал, что ничего такого не будет. Мол, я только хочу, чтоб тот тип извинился. То же самое Конь пообещал мне несколькими часами раньше, когда пьяный шофер оскорбил его, а Конь заявил: "А ну вылазь из кабины". — "Конь, ты лучше не заводись, — советую ему, — заберем матрас и дотащим сами, тут недалеко". Мой друг уже собирался внять голосу разума, когда шофер, настроившись повоевать, выпрыгнул из кабины и двинулся к нам. Он то махал руками на уровне подбородка Коня и изображал, будто их остервенело моет, то плевал на землю, то истошно бранился прочувствованной и вульгарной прозой: хрен выдерну, башку ногами раздавлю, понял, кретин? Наконец, Конь ему врезал. Прямой удар в подбородок — и оскорбленный шкипер грузовика падает на колени! Потом снова встает, а Конь проводит более элегантную комбинацию: начинает левая рука, прямой удар правой, swing[1] левой, чтобы добить; и слегка разбивает ему нос, и все, противник грузно садится на задницу. Потом я вмешался. Разрядил напряженность. Пьяный с сокрушительной злобой принялся оскорблять Коня: ууумудакдаятебяврот, да я тебе зад раздеру, голубойсукаяжтебяиматьтвою... Даже не знаю, как я уговорил всех продолжить путь, но только мы втроем снова забрались в кабину и покатили по закоулкам Старой Гаваны. Шофер не переставал ругаться последними словами, твердил, что мы, гады, на какие-то дебильные улицы его заманили, где сам черт не разберется, а дебильность заразна, а значит, мы с Конем — два полудурка. Конь терпел все молча, сглатывал обиду, а я, опасаясь, что шофер снова откажется нас везти, примирительно подмигивал Коню и улыбался. Конечно, не так, как сейчас. Сейчас я внушаю ему своей улыбкой: "Не лезь в неравный бой". Блондин встал в стойку вовсе не как начинающий боксер, а с уверенностью и изяществом Рокки Марчиано[2] на пике славы. Он вскидывает левую руку, и она готова, словно извивающийся кнут, обрушить свой jab[3] на наши переносицы. Могучий правый кулак — сгусток концентрированной силы — ждет в засаде, на уровне подбородка. Юма — словно бронзовое изваяние, непобедимый колосс, а наше оружие против него — пшик. Да, лучше всего было бы срочно сдать назад, сказать ему: "Обознались мы, mister, прощайте".

Послушай, дочка, ты только не кипятись. Я не спорю, Джонни сделал нам много добра, и Тато, и вообще всей семье,

1. Здесь: вид удара в боксе, боковой удар с большого расстояния.
2. Рокки Марчиано — американский боксер-профессионал, чемпион мира.
3. Прямой сильный удар в боксе (*англ.*).

и всему кварталу. Но людей тоже надо понять. Когда ты вышла на улицу, главный кошмар был уже позади, ты, считай, вообще ничего не видела. Тот парень даже не защищался. Правда, он был пьян в стельку, но кто ж теперь не пьет? Вон Тато напивается каждый день, неужели его бить за это? Сама понимаешь. А этот твой, дочка, чересчур вспыльчивый. Выскочил, как дикий зверь, и ну терзать беднягу. Я понимаю, как он носится с этой машиной: едва увидел ее, взял хозяина в оборот и не успокоился, пока не договорился об аренде. Все время ее драит, начищает, точно она его собственная, ищет самую лучшую музыку для своего драндулета. Да-а, я бы тоже не отказалась от такой машины, все вспоминаю, какая у твоего дедушки была... правда, не такая, а "форд", дед его перед смертью продал... И вот вижу: из-за угла вылетает тот грузовик, ну прямо ракета, и я перепугалась, зажмурилась, а когда снова посмотрела, они уже столкнулись. У меня и в мыслях не было, что Джонни поднимет руку на шофера, агрессивность беспричинная. Самое лучшее, что ты можешь сделать, дочка, — уладить все с соседями. Обзвони всех соседей поодиночке, попроси прощения. А по-твоему, как они должны были поступить? Если бы Джонни просто колотил по дверце грузовика... Но зачем было вытаскивать этого беднягу наружу, хватать его за шкирку и мутузить кулаками? Лилита, соседи и так долго терпели. Если бы ты еще немного промедлила, даже не знаю, что бы стряслось. Ты заметила, что этот бедняга еле доковылял до грузовика? Или ты вообще ничего не видела? И еще твердишь, что шофер собирался вылезти и подраться с Джонни. Не перечь мне. Да этот шофер — его соплей перешибешь, Лилита, и вообще по нему заметно, что он добряк добряком, когда он столкнулся с "шевроле", то первым делом устыдился. Уронил голову на руль и зарыдал, как девчонка. Если бы Джонни не прищемил ему ногу дверцей, они бы договорились по-хорошему, я уверена, потому что шофер был, похоже, человек неплохой. Он просто хотел выйти из машины и объясниться, так принято. А твой Джонни, этот зверь — да, зверь и есть, — вцепился в дверцу и ну его по ноге: пам-па-та, пам-па-та. Нет, доченька, нет, люди совершенно правильно себя повели. Зачем только ты их оскорбила? Хорошо еще, ты посоветовала Джонни сбежать, ведь потом, ты сама видела, когда они как следует разглядели синяки шофера и услышали его стоны, несколько ребят захотели переломать Джонни все кости. Например, двое — по-моему, те, которые на грузовике ехали, недавно заходили сюда, его искали. Господи помилуй, хоть бы не нашли, потому что мне он полюбился, жалко будет, если с ним что-нибудь стрясется... Уладь все с людьми, Лилита. Я же тысячу раз предупреждала Джонни: не ставь эту машину здесь, в этом квартале,

и не только потому, что воров полно: улицы узкие, беда приходит нежданно.

Я его люблю, мамочка. Да, только не смейся. Думаешь, если я над ним посмеиваюсь, то и не люблю? Он меня человеком сделал. Раньше, в школе еще, белые девчонки смотрели на меня через губу, я от них вся закомплексованная стала. Смотришь, как они трясут своими волосами и болтают: от какого шампуня бывает перхоть, надо сходить позагорать, какой усилитель загара лучше... Столько комплексов мне навязали. А в двенадцатом классе? Только хуже. Нас было три чернокожих: Нельса, Катюска и я. Еще были две мулатки с хорошими волосами, но те нас чурались. Мы три были одинаковые, зашуганные до невозможности... Не то, что в других классах: там черные сбивались в свои компании, насмехались над беленькими, доводили их до слез на раз-два. Я бы жизнь свою отдала, чтобы учиться в тех классах, а не в моем! Когда ты меня уговорила пойти в университет, я надеялась, что там будет лучше. Думала, культура многое меняет. И что ты думаешь — фигли. Там было всего две чистокровных черных, как я это называю. Одна приехала из Конго, даже не помню, как ее звали, а другая — я. В довершение всего та девчонка прилипла ко мне, как банный лист. Видела, наверно, этих уличных шавок, которые вдруг начинают тебя преследовать, виляют хвостиком, навязываются. Вот и она так, один в один. Я пыталась разорвать с ней отношения, но она ко мне подсаживалась на лекциях, а потом и на семинарах. Можешь себе представить, каково мне было, когда нас стали называть "конголезки". Сбылись мои худшие опасения. Плюс наши из дома меня отвлекали от учебы, сбивали с дороги. Нельса — и та занялась бизнесом, и я вся обзавидовалась, что она хорошо одета, а я все в том самом зеленом платье, помнишь? И в черных кроссовках, обшитых лейблами, чтобы дырки прикрыть. Как ты думаешь, на кого я была похожа в коридорах универа? Нет, мамочка, ты ни в чем не виновата. Я тебя никогда ни в чем не упрекала. Так устроена жизнь. А теперь глянь, как на меня смотрят, когда я выхожу из машины, а за мной идет Джонни. Смотрят во все глаза, чего только ни придумают, чтобы подойти со мной поздороваться. На днях даже Катюска, когда мы с Джонни в магазин ходили, подходит вся такая темпераментная, распускает перед ним хвост, по-английски заговорила и все такое. А я стою и мысленно ржу. Она, между прочим, хотела стать врачом. И кто она теперь? Во-во. И поделом! Когда она совсем раздухарилась, я холодно прервала разговор — помри от зависти! — и ушла с моим блондином. Раньше я никогда бы так не сделала, ни за какие сокровища. Когда я бросила университет, от меня даже Катюска отвернулась: думала, я неудачни-

ца. Но стоило мне встретить Джонни, вся моя жизнь перевернулась. У меня начались настоящие отношения с мужчиной. Я взглянула на себя другими глазами, стала открывать в себе положительные стороны, ценить себя... Вот почему вчерашняя история так меня расстроила и взбесила тоже, потому что Джонни, при всех его недостатках, человек получше нас. Мог бы приезжать на Кубу, чтобы получать удовольствие за свои деньги, но он же этого не делает. Вечно хлопочет, как бы нам помочь, как бы с нами сблизиться. Помнишь, я однажды устроила скандал, когда Нельса продавала комнату, а он отказался дать мне денег, зато здорово потратился на кислородный аппарат для больницы... Короче, в тот день я с ним обошлась хуже, чем с собакой, и тогда-то узнала, как сильно любит меня этот мужчина. Он мне подарил часики на браслете, просто прелесть, и двух плюшевых поросят с транспарантом "Друзья навеки". В тот день мое сердце растаяло. Потому-то позднее я ему простила, что он ездил на полевые работы с комуняками. Ты-то не знаешь, но он так увлекся, что был готов и меня с собой потащить. Хорошо еще, что все как-то обошлось и я осталась дома, это тогда у меня были шашни с Джакомо и Витторио. Через месяц Джонни вернулся, весь заросший грязью: в ушах можно было маниоку сажать, ногти — как свиные копыта. Я его отмыла, отдраила мочалкой, и он благоухал, как младенец. Хорошо еще, что ему больше не вздумалось туда ездить, он больше стал пожертвованиями заниматься.

Конь продемонстрировал, что храбрости ему не занимать: яйца, как у Масео. Я-то не такой, пока он наступал, я предусмотрительно отступал. Наверно, потому что у меня яйца нормальной величины, плюс я рассудил, что инициатива исходила от Коня, пусть он ее и воплощает. И все равно мне стало как-то неловко, оттого что мой друг идет на нашего врага в одиночку, а механик, секунду назад сохранявший нейтралитет, спешит преградить ему путь своим огнедышащим оружием, пока я, болван, чувствую усталость из-за какого-то странного снижения давления, врач сказал бы: "Вазовагальный синдром", а пацаны из нашего квартала "Изнурение", а мой папа — "Воспаление трусости". Действующие лица драмы теряются в каком-то тумане, но мне тут же становится больно, что Племенной Конь, как мы его прозвали в школе, настоящий храбрец, а я даже подражать ему не пытаюсь. И тогда я бросаюсь вперед, с ключом в руке, и теперь я — викинг с боевым молотом, кусаю сам себя за язык, строю жуткие рожи... Я иду в сторону устрашающего арбуза с ногами, извращенца, влюбленного в "шевроле". Янки разглядывает меня, изумленно таращит глаза, словно перед ним не я, а мини-копия Фран-

кенштейна. А еще разводит руками, поднимает их в знак капитуляции и говорит: “Okay, I give up[1], что вы хотеть?”. Механик отходит в угол. Великан — вот ведь чудеса — съеживается. “Я просить у вас прощение, — говорит он, — я был crazy[2], потому что ваш друг ломать авто, а эта авто не моя, я обещать ее беречь...” И печально косится на дверцу “шевроле”. Его прорвало: говорит и говорит, чуть не плача: “Моя жизнь быть очень счастливый до сегодня, вы посмотрите эта авто, посмотрите дверца, катастрофа (голос у него срывается), я сочувствовать ваш друг, я...” Он опускает голову, трет рукой лоб. Конь высовывается из-за моего плеча и непреклонно угрожает: “Мы тебе хрен оторвем, если ты не выложишь баксы, понял? Извинений недостаточно”. Конь грозит, размахивает трубой, поднимает брови. Юма не понимать, не знать, чего мы от него хотеть. “Вы должны нам компенсировать”, — говорю я. Мой боевой товарищ снова замахивается трубой. Touché[3] таким оружием сулит травмы и невесть что еще. Я снова кусаю собственный язык. Включаю метод Станиславского: стать бандитом, гангстером, задирой, недобро сощуриться. “Компен-что?” — “Ты не понимать белобрысый, что наш друг несколько дней не сможет работать, а ему денежки нужны, да, доллары на масло, бананы и мыло, да еще мелочь на чупа-чупсы. Не понимать, что наш друг иметь пять ребятишек и что ты вывести его из строя, изуродовать ему лицо, сломать ему нос, выбить ему зуб, а это наказываться по закону, как в любой другой стране”. — “Деньги?” — “Да, пятьсот, это самое малое”, — требует Конь. Не зря у него мегаогромные яйца. Теперь труба — спортивный снаряд, легкая бейсбольная бита, а Конь — бейсболист, жаждущий завалить центрового НБА. Точнее, бывшего центрового: юма усох, тянет разве что на питчера Большой Бейсбольной Лиги. “Okay, я давать тебе четыреста”. Увидев, что мы опускаем оружие, он сует руку в карман. Блондин удивляться кубинцы каждый день, хотя кубинцы прощают его от всего сердца, раз уж он платит отступные за прикосновение своих недостойных кулаков к харе шофера; хотя кубинцы жмут ему руку, словно старинные друзья; хотя кубинцы улыбаются и говорят “Zenkiu”[4], а он отвечает: “You are welcome”[5].

1. Хорошо, сдаюсь (*англ.*).
2. Обезумел (*англ.*).
3. Здесь: укол (фехтовальный термин).
4. Спасибо (*искаж. англ.*).
5. Пожалуйста (*англ.*).

Командор, я настоящий мужик. В рейсах у меня всегда при себе мачете, заметил? Я его хорошо наточил. Если кто вздумает меня провоцировать, я ему мало что руку, я ему голову отрежу. Я сам никогда ни с кем первый не связываюсь, но кто ко мне полезет, тот нарвется, а кто сделает мне подлянку, пусть надеется только на Бога: я не прощаю. Помнишь, один мулат мне палец сломал, даже гипсовать пришлось? Я его чуть не пришиб. Ну, правда, он потом пришел извиняться: типа, он не нарочно, и я его простил, потому что он женат на моей троюродной сестре, и мелкий у них есть, два года, а я не люблю оставлять деток сиротами. В общем, палец-то у меня зажил, рука как новая. Но все равно, как про это вспомню, — всё, ко мне не подходите. Вот давеча я маленько выпил и поехал к этому мулату, и его спасло только одно — я его дома не застал. А то его бы уже похоронили. Да, командор, я человек опасный. Вот видишь, я весь в синяках, а почему — потому что никому ничего не спускаю. В последний раз у меня была жуткая драка с одним юмой. Этот субчик просто с катушек слетел, потому что я немножко помял его "шевроле". Он думал, разделается со мной в два счета. Эх, ты бы его видел. Человек-шкаф... Рука — как моя нога в обхвате. Знаешь, на кого похож, один в один... тот янки, ну, Рокки он в кино играл? Короче, я ему дал разок — аж морду наизнанку вывернул. А у него кожа белая-белая, моя пятерня отпечаталась. Я его уже убивал, но тут на меня навалились — с ним была целая шайка фарцовщиков, — стали меня колошматить, но я им устроил, одному нос сломал и еще пнул в живот, он аж задохнулся. А потом выбежала профурсетка этого юмы, негритянка, макака макакой, тоже драться полезла. Ну, я им показал, что почем. Правда, мне сломали левую ногу, раздробили челюсть, но клянусь — я в долгу не остался. Я тебе честно говорю, хошь верь, хошь не верь: меня надо уважать, а кто не уважает — будет мне хер сосать. Вот так, командор. Ты не смотри, что с виду я хлипкий.

Мамочка, мы обманули его надежды. Нет, ты вообрази: люди, которых он так любил, приняли сторону какого-то пьянчуги, а пьянчуга этот им даже спасибо не сказал, козел. Вчера я заметила, что он сильно загрустил, а в наш квартал не захотел даже въезжать: высадил меня в сквере у автостанции и сказал: "Увидимся здесь, завтра". Мы вместе пообедали, и он сказал, что через неделю уезжает, возвращаться не планирует. Разочаровался. В открытую он этого не сказал, но я сама вижу. Мамуля, если он уедет, то не вернется. Последней каплей стали те двое, которые его искали. Когда Джонни мне про них рассказывал, он был весь на нервах. Двое уголовников, мамуля, с арматурой и с ножами, чуть его не убили, хо-

рошо, что один человек вышел и за него заступился, а иначе... И те четыреста зеленых, которые он мне должен был оставить на телевизор, теперь накрылись. Мам, он их уголовникам отдал, пришлось. Но ты не переживай, я завтра найду одного ирландца, меня с ним вчера Нельса познакомила, и все: через месяц, самое позднее, будешь смотреть сериалы на цветном экране.

Механик мирно наблюдает за сделкой: "Извините, что с деньгами так получилось". Мы ретируемся. Бросаем на юму последний взгляд. Идем молча, сами не веря, что провернули такую штуку. И только дойдя до Старой Гаваны, начинаем вспоминать вслух и обсуждать. Конь восхищается моей смелостью. Сознается: "А я-то уже сдрейфил. Если бы не ты, юма бы не прогнулся". И кричит: "Яйца у тебя железные, чувак!" Я воздерживаюсь от комментариев. Приглашаю его выпить пива. "Люди вроде тебя, те, кто мало треплется, — и есть самые храбрые", — нахваливает он меня. И впадает в самобичевание: "А я очкую". Садимся за столик, вплотную придвинутый к стене, пьем пиво, потихоньку от других делим деньги. "А как твоя водянка яичек — операцию все-таки сделали?" — спрашиваю я. "Конечно, сделали, но они все такие же большие". — "И как, не мешают?" — допытываюсь я. "Я на них никогда не сажусь", — отвечает Конь серьезно. "В школе они у тебя были, как два мамея[1]", — вспоминаю я. "Зато теперь от баб отбою нет", — огрызается он. "Наверно, думают, у тебя спермы немерено", — говорю я. "А по-моему, причина другая: тебе разве не нравятся большие сиськи?" Смеюсь, отпиваю большой глоток пива. "А та девка, ну, которая выбежала вслед за юмой, — моя бывшая", — исповедуется Конь. — И добавляет: — Дело давнее. Ни она, ни ее чокнутая мамаша меня даже не вспомнили".

1. Мамей — тропический фрукт.

Мария Элена Льяна

Пятьсот лет выдержки

Перевод Светланы Силаковой

Бесполезно умолять, когда человек уже грезит о том, что за горизонтом.

Алехо Карпентьер
Ночи подобный

Посвящается Марлен Васкес

— Гад! Ласарито, со мной так нельзя!

— Все, перестань за меня цепляться! Они же без меня уплывут.

— Но, Ласарито, я тоже хочу уплыть с тобой.

— Нельзя, черт подери, не поместишься! Лодка битком набита, скажи спасибо, что хоть мне дали шанс.

Она смотрит, как он удаляется в сторону бульвара Прадо, с рюкзаком на одном плече. А она сгибается в дугу, сжимает кулаки, сама себя колошматит по бедрам, по голове. Потом кидается в угол, за бутылкой. Рассматривает ее на просвет. Подносит к губам, запрокидывает. И начинает подвывать. Не

© María Elena Llana, 2005
С любезного разрешения издательства “Letras Cubanas”, Sr Rogelio Riverón.
© Светлана Силакова. Перевод, 2015

уезжай, Ласарито, не бросай меня, другой мужчина мне не нужен. Снова пьет, до дна. Ром дрянной, оставляет блестящую каемку вокруг рта. Жадно облизывает эту каемку. Все, остается только ворошить тайники: может, наберется на маленькую, на трехсотграммовку за десять песо. Ни гроша. Она выходит на улицу — дома сидеть невмоготу, комната стала ее могилой. Бредет по крытым галереям на Прадо, тоскует, ничего не видит вокруг, и уже кажется, что Чабела[1] Хрипунья, бедовая мулатка, отпела и схоронила весь свой жизненный напор.

— Ласарито, сволочь, как ты мог! — вопит она на перекрестке с улицей Консуладо, когда ее мужчина — уже не больше, чем тень, тень среди ночных теней, бегущая к набережной. Ой, мамочки, каким же путем они поплывут? Смилуйся, Пресвятая Дева, пусть его не схватят, пусть он доплывет до Майами! Ну почему же, сучий потрох, ты не взял меня с собой? Тут она вспоминает последний миг, когда Ласарито полез ей за пазуху, а она заупрямилась, вывернулась: подумала, ласкаться лезет. Она сует руку под блузку. Бумажка. Пять долларов. Чабела застывает, разинув рот, умиляется: пять зеленых! Ох, Ласарито, ты мне все свои деньги оставил, но я хочу тебя, пропади все пропадом, тебя! И Чабела снова сгибается под тяжестью тоски, прислоняется к колонне. А потом, даже не раздумывая, идет искать киоск с цветными зонтиками — единственными цветами, не закрывающими бутонов даже в глухую полночь. И вскоре разживается бутылкой рома, настоящего, с Хиральдильей, этой малорослой дамочкой, которая словно бы бросает вызов всем ураганам. Первый глоток — тост за Ласарито, за того, кто уезжает, за того, кто ее не слышит, за того, кто сыграл с ней шутку: сказал, что Чабела не поместится в лодке. Чушь собачья, уж одного-то человека всегда можно в лодку втиснуть! И второй глоток, долгий, журчащий в горле, чтобы рана больше не жгла так, как жжет сейчас, чтобы заснуть и проспать до утра, а утром Ласарито будет уже далеко, больше не будет тенью, уходящей по Прадо... по бульвару Прадо, с которого вдруг исчезают все деревья и фонари, и по обе стороны расстилается сплошная пустошь, ни тротуаров, ни бронзовых львов. Обатала[2], неужели я чокнулась, где я? Из какой бутылки выплыло это дикое поле и ощущение, будто я вижу его в пер-

1. Чабела — уменьшительная форма имени Исабель. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

2 Обатала — одно из божеств африканского племени йоруба. Также входит в пантеон сантерии — популярной в Карибском регионе синкретической религии, соединившей католицизм с традиционной культурой йоруба. Отец всех людей, творец всего живого. Обатала — мужское божество, но в то же время ассоциируется со Святой Девой (Virgen de las Mercedes).

вый раз, но этот “первый раз” — не сегодня, а прежде, давным-давно? Чабела бросается бежать по еле заметным тропинкам, спотыкаясь, хлюпая носом, пока не налетает на кого-то, на другую тень среди теней, пока ее не подхватывают чьи-то руки.

— Сударыня, что с вами приключилось?

Только этого и не хватало: испанская туристка!

— Да что со мной приключится! Тьфу! — огрызается Чабела. Но, похоже, туристку разжалобило ее нытье. — Да ничего, ничего, бывает и хуже, — говорит Чабела. — Ну, уехал он на север, что ж теперь?

— Север помрачает им рассудок! Завтра, с первой зарей, уезжает мой супруг.

— Тьфу, это же совсем другое! Вам приехать и уехать — раз плюнуть, вы-то самолетами летаете, а мы... — Чабела надолго присасывается к бутылке, нелюдимость немного отступает, и, не успев опомниться, она начинает рассказывать этой первой встречной обо всем, что грызет ее сердце: зачем только Ласарито сел в эту паршивую лодку, море и акулы разобьют ее в один момент, разве что какой-нибудь большой корабль придет на помощь, но в наше время такого не бывает. Конечно, если они доплывут, если только ступят на сушу — все, спасены, там уж как-нибудь сами выкрутятся, но сначала надо доплыть, надо ступить на сушу, а это ой как трудно!

— Только ступить на сушу, — бурчит под нос испанка, — экспедиция зело дивная!

А Чабела все говорит, не заткнешь: *в принципе Ласарито тут на жизнь хватало, крутиться он умеет, не было у него никакой необходимости сваливать*. Это его дружки подбили своими россказнями, напели, что он большим человеком станет.

— Так было испокон веку. Ох, рассказы о превеликих чудесах! Ни злая судьба Понсе, ни невзгоды Нарваеса не заставили Эрнандо раздумать, но только дон Альвар Нуньес окончательно перевернул разум его вверх дном. Загадка того, что Кабеса де Вака[1] повидал во Флориде, решила участь супруга моего.

Рука Чабелы с бутылкой замирает, слегка вздрагивает. Кабеса де Вака! Чабела хихикает, уже собирается сказать: “Хо-

1. Хуан Понсе де Леон, Панфило де Нарваес, Альвар Нуньес Кабеса де Вака — испанские путешественники-конкистадоры XV—XVI вв. Понсе де Леон открыл Флориду. Нарваес совершил трудную экспедицию вглубь американского континента. Кабеса де Вака оказался среди индейцев, много странствовал по их землям, пока не смог вернуться в Испанию. Его рассказы породили миф о богатейших Семи Городах Сиболы, которые якобы находились где-то на североамериканском континенте.

рошего вы себе напарника нашли! Небось во всех полицейских компьютерах числится, за спекуляцию мясом[1]". Но испанка продолжает:

— В погоне за россказнями дон Эрнандо отплывает к берегам Флориды. Пребывание его на Кубе было только предлогом для великого предприятия, — ее голос дрожит. — Он уплывет, а я должна буду остаться, в одиночестве лютом.

Теперь уже Чабела должна посочувствовать испанке. Ром слегка разогнал ее мрачность, и мулатка понимает, что нехорошо зажиливать свою бутылку из валютного киоска; протягивает ее туристке, а та, чуть-чуть поколебавшись, соглашается пить прямо из горлышка. Бутылка переходит из рук в руки, и, наконец, обе женщины присаживаются на высохшую глинистую землю, прислоняются спинами к незнакомой стене, еле освещенной каким-то далеким огоньком, который выхватывает из мрака размытые пятна — вроде бы виднеются люди и бочки; мулатка никак не поймет, на какой улице они сейчас, и только бриз, который дует прямо в лицо и теребит блузку, подталкивает к догадке, что... Чабела пытается стряхнуть с себя одурь:

— Послушай, сестра, а что такое с маяком на Морро[2]? Только не говори, что даже там электричество вырубилось?!

— Сударыня, я не понимаю, о чем вы говорите.

— Ты что, до сих пор Морро не видела? Недавно приехала, значит?

— Прошло меньше года.

Мулатка чешет в затылке: что-то не так с этой дамочкой, которая рассказывает про отъезд мужа и глушит ее "Гавана Клуб". Чабела собирается потолковать с ней начистоту, но иностранка даже в темноте разглядела этикетку на бутылке, завороженно всматривается, а Чабела, сама себе удивляясь, выдает на манер экскурсовода: — Это Хиральдилья. Так и называется — "маленький флюгер". Статуя такая, жутко старинная, стоит в крепости на башне, но сейчас ее не видно, потому что свет вырубили на хрен.

— Маленький флюгер... — задумчиво произносит испанка и оборачивается к Чабеле. — Скажите, статуя сия особливое значение имеет?

1. Кабеса де Вака — буквально "коровья голова" (*исп.*). На Кубе продукты выдаются по карточкам, так что спекуляция, в том числе мясом, — противозаконный промысел.
2. Морро (Замок Трех Королей-Волхвов Дель Морро) — одна из главных достопримечательностей Гаваны. Старинная крепость с маяком, который в наше время электрифицирован.

Чабела пожимает плечами:

— Она — все равно, что Гавана, типа того, но ты меня не очень слушай — я такого наболтаю...

Испанка кивает и задает другой вопрос:

— А не везет ли ваш супруг в трюме сию настойку?

— Везут ли они ром! Еще бы, сестренка!

"Ром", — повторяет женщина, словно пытаясь выучить это слово, и Чабелу прорывает, приветливость сменяется сварливостью:

— Слышь, подруга, я не вчера родилась. Этот твой наверняка какими-то странными делами промышляет. Ладно мы: сидим тут, как дураки, нас никуда не выпускают, но испанцу необязательно ехать на Кубу, чтобы ошалеть от мечты о Майами. В какие такие происки впутался твой муж, а?

— Никак не пойму, сударыня, что вы такое говорите, но, если вы спрашиваете о моем супруге, я могу сказать вам, что дон Эрнандо, идальго из древнего эстремадурского рода, добыл себе в Перу звание капитана да славу человека храброго, честного и справедливого.

Чабела хохочет, шлепает себя ладонью по бедру.

— Ну вот, так я и знала! Кто говорит "Перу", имеет в виду "Колумбия". Видно, дела у вас серьезные, но берегитесь: тут могут разбить котелок не только этому вашему, как его, Кабеса де Кака, но и мужу твоему, и тебе, сестренка.

И угощает себя за догадливость долгим глотком рома.

Собеседница улыбается:

— Вы ведете такие речи, что я просто не знаю, как на них ответить. Но одно ясно: обе мы страдаем по похожим причинам.

Не в бровь, а в глаз. Чабелу растрогали слова о страданиях. Она подавляет раздражение, пытается рассуждать логично:

— Но ты все-таки, старуха, растолкуй. Вы приехали на Кубу, и твой супруг, этот твой идальго, тебя бросает, уезжает в Майами.

— Он отправится в сторону Флориды.

— Подруга, это же одно и то же!

Собеседница зачарованно приникает к бутылке, делает еще один глоток. Чабела успокаивает себя: ничего, эта много не выпьет, только губы смочит. А испанка уже вновь задумывается о своем. И улыбается, словно рада поделиться своей историей с кем угодно:

— Я всегда знала, что не поеду с ним в экспедицию, ибо, когда я его узнала, он уже прославился своими завоеваниями.

— У-у, хитренькая! Любишь по бабникам страдать, — выпаливает Чабела и с заговорщицким видом шлепает ее по коленке, но туристку это не коробит.

— До Кубы он покорил Золотую Кастилию, Никарагуа[1] и Перу. Он вернулся в Испанию с туго набитым кошельком, но меня пленило иное — его осанка, сударыня, знаете ли... Когда мужчина преодолел превратности судьбы в мирах, кои нам совершенно неведомы, и вновь возвращается к своим пенатам, в нем есть какая-то особенная стать, словно каждый его мускул под плащом и шелковым камзолом испытывает упоение. Он словно леопард, все его мышцы движутся слаженно, гармонично; доспехи он снял, аркебузу поставил в угол, но доспехи и аркебуза облагородили его. Лазурные глаза Эрнандо смотрели на меня словно бы отовсюду, а улыбка его свидетельствовала, что он в союзе с самим Господом Богом, потому что вернулся с победой из мест, усеянных телами таких же воинов. Многие воины были зверски изувечены, все они глубоко разочаровались в мечтах своих несбывшихся — вот худшая из судеб; и, хотя я прекрасно знала, что ни мольбы, ни разумные доводы не отвратят дона Эрнандо от замыслов его, я ничуть не возражала, не желала чувствовать подле себя молчание мужчины, отказавшегося мечтать о своем собственном мире. Ибо Кортес и Писарро смогли завоевать только то, о чем грезили прежде, они, мечтая, гнались за мечтой своей, пока не осуществили ее. Эрнандо странствовал в поисках земель, до открытия коих не дожил Понсе де Леон, и я сказала себе: ты счастливица, с тобой обвенчался человек, который вот-вот получит королевский указ о назначении — первое повеление отправиться на Кубу, выданное Его Величеством лично. Король наш Карл уже решил спровадить этих Колумбов, людей драчливых и ничем не примечательных. Колумбы вздумали управлять всем с Эспаньолы[2]. Править миром с маленького островка!

— Эй, эй, подруга, стоп... — у Чабелы уже заплетается язык, — вот про это не надо! Я еще не такая бухая, чтобы лезть в политику... Тебе-то что, у тебя паспорт, а я?

1. Золотая Кастилия — испанская колония, территория которой простиралась от юго-востока Центральной Америки до северных районов Южной Америки. "Никарагуа" — здесь провинция Никарагуа, выделенная в 1527 г. из территории Золотой Кастилии.
2. Эспаньола (Санто-Доминго) — остров, открытый Христофором Колумбом в 1492 г. На Эспаньоле разместилась резиденция вице-короля Индий Диего Колумба, сына Христофора Колумба. Ныне остров занимают два государства — Гаити и Доминиканская республика.

Туристка, захмелевшая от собственных мыслей, только просит жестом, чтобы Чабела передала бутылку. И заводит разговор о чем-то почти сокровенном для себя.

– Помимо прочих богатств, он вполне может отыскать источник[1], каковой разыскивал Понсе, – произносит она почти с надеждой, – и тогда вернется помолодевшим, правда, сударыня?

– А как же! – оживляется Чабела. – Альфонсо Носатый уехал костлявый, бледный, как смерть, а за три года отъелся, округлился, приехал розовый, прямо младенчик.

– Ужели отыскали? Из какого рода сей дон Альфонсо, кому из капитанов он служит? – спрашивает испанка словно бы с испугом, но тут же снова погружается в свою обычную отрешенность. А Чабела пропускает еще глоточек и задумывается над словами испанки, и в ней просыпается оптимизм: кто сказал, что это трепло не вернется? Может, взглянет одним глазком и назад...

– Слушай, а твой-то когда уехал?

– Он отплывает завтра, а я остаюсь вместо него, буду Губернатором Острова.

– Ну ты даешь!

Чабела заходится философским, мурчащим смешком: мужики – подлецы, творят, что взбредет, но всегда стараются подсластить пилюлю, эту бабу муж назначил на какую-то должность, мой подарил мне пять зеленых, и на его щедроты мы здесь теперь вместе горюем. И, снова смягчившись, оборачивается к незнакомой подруге:

– Ничего, сестренка, каждый сходит с ума по-своему. Давай, правь Островом в свое удовольствие, а твой муж когда-нибудь заявится, и тогда – кто старое помянет, тому глаз вон, а? Я тоже буду жить потихоньку, а года через два Ласарито наверняка пришлет мне вызов, и я к нему уеду.

– Как вы сказали, сударыня?

Мулатка пытается выжать из бутылки последний вздох. Бесполезно.

– Я сказала: все, финиш, кончилась! Пошли за другой, сестренка, пошли в бар в твою гостиницу... ничего, даже если свет отрубили, бар должен работать, наверно, должен. Теперь угощаешь ты... да, ты, и никаких гвоздей. Вы, сударыня!

– Мне нужно побыть с доном Эрнандо, – она встает. Но, прежде чем удалиться, оглядывается, смотрит ласково: – Храни вас Бог.

1. Намек на легенду об источнике вечной молодости во Флориде.

И уходит так спокойно, что Чабела просто не верит своим глазам, возмущается, несмотря на свое пьяное благодушие:

– Эй, меня-то подожди... Твой черед, ты мне тоже должна поставить, разве нет?

Но ее уже не видно, она затерялась во мраке той единственной ночи, когда Чабела Хрипунья не видела прожектора на маяке Морро. Чабела пытается встать, не выпуская из рук бутылку. Где я, черт подери? Бурчит: "Тоже мне, подруга. Оказалось, змея!" Еле-еле выпрямившись, кричит с бессильной обидой в темноту:

– И кто ж ты после этого?

Ответ доходит откуда-то издалека, описывая круги, в шелестящем вихре сухих листьев:

– Я – донья Исабель де Бобадилья[1].

Чабела уже собирается крикнуть: "Иди ты к черту!", а одновременно подносит к губам бутылку; попытка тщетная, и настроение падает до нуля. Ласарито отшвырнул меня, как горячую картошку; а туристка, донья Хитродилья, бросила меня здесь валяться на земле, как грязную тряпку. В Чабеле вскипает коктейль из возмущения и рома. Она отшвыривает бутылку. И в момент, когда стекло ударяется обо что-то твердое, словно бы разбиваются все стекла в Гаване. Чабела вздрагивает, крутит головой: маяк Морро выбрасывает мощный сноп лучей, загораются уличные фонари, а кустарник и грязная немощеная дорога прямо на глазах Чабелы оборачиваются каменным боком крепости Фуэрса. Чабела пересекает широкий тротуар и бросается бежать в сторону набережной; ее вдруг снова охватила страсть к Ласарито, а в голове отдается этот звон разбитого стекла, неожиданно-громкий, перекатывается эхом, такой звон слышен на пять столетий вглубь.

– Что сие было? – Эрнандо де Сото вскакивает с кошачьей быстротой, пытается выглянуть в зарешеченное окно, которое выходит в переулок. Подходит к внутренней двери

1. В 1539 г. губернатор Кубы Эрнандо де Сото, отправился в экспедицию во Флориду. Его жена, донья Исабель де Бобадилья, осталась ждать его на Кубе. В 1540 г. де Сото скончался на североамериканском континенте. Рассказывают, что вдова всю жизнь ждала его, неотрывно глядя на море. В XVII в., опять же по легенде, скульптор изобразил донью Исабель в виде женской фигуры с крестом. Эта фигура была установлена на крепости Реаль-Фуэрса в качестве флюгера. Ее так и прозвали – Хиральдилья, дословно "маленький флюгер". В наше время Хиральдилья – один из символов Гаваны.

дощатого дома с черепичной крышей, который служит резиденцией господина Губернатора и Аделантадо[1]: — Эй, слуги!

Раскрасневшаяся Исабель откидывает голову на спинку кожаного кресла. Она рада, что ей удалось втайне прогуляться по немощеным тропкам, которые зовутся здесь улицами. Прогулка принесла огромное утешение ее измученной душе в эту весеннюю ночь 1539 года, накануне великого похода на север.

— Нет там ничего, Эрнандо, не тревожьтесь, — окликает она мужа таким невозмутимым голосом, что он чувствует себя глупо: нельзя же всего пугаться.

— Я вижу, сеньора, что вы совершенно спокойны.

— После того как я смирилась с вашим отъездом, меня мало может взволновать шум на улице, даже на такой, как сия тропка возле нашего немудреного дворца.

— Сей мир только рождается, не забывайте, — говорит он менторским тоном.

— Если во Флориде вы найдете что-то большее: например, мир уже рожденный, то, может статься, через год или два сможете прислать мне вызов, — отвечает она. И добавляет, воодушевленно и дерзко: — Я бы тоже освежила свой румянец водами вечной молодости.

Он смотрит с укоризной:

— Вы только что сожалели о моем отъезде, а теперь не скрываете, что Куба обманула ваши ожидания.

— Куба — обман, Эрнандо. Ни золота, ни надежд. Она между двух огней: одни люди уезжают в Мексику или любое место в Тьерра Фирме[2], другие, корсары, беспрестанно грабят остров. И потому Куба — только ступенька посреди моря. Да и для вас, супруг мой, Куба — лишь порт, из коего вы отправляетесь в новые миры, не правда ли?

Жена никогда не осмеливалась говорить с ним таким тоном, но этой ночью Эрнандо де Сото не вправе придираться.

Входит слуга с осколком стекла в руке. Донья Исабель улыбается. Губернатор замечает на осколке надпись: буквы и какой-то великолепный рисунок. Нигде, кроме старинных витражей, не видывал он такого. Эрнандо вертит стекляшку так и сяк. Супруга помогает — разворачивает картинку, чтобы Хиральдилья приняла вертикальное положение:

1. В колониальной Испании термином “аделантадо” обозначались различные высокие должности: губернатора пограничной провинции, верховного судьи, капитана-генерала.
2. Королевство Тьерра Фирме или просто Тьерра Фирме — первоначальное название всех северных прибрежных территорий Южной Америки от нынешней Гайаны до мыса Грасьяс-А-Дьос между современными Гондурасом и Никарагуа.

— Держите вот так.

— Вы знаете, что это?

— Флюгер в виде женской фигуры, разве вы не замечаете? На стержне, увенчанном Крестом Калатравы, надлежит укрепить стрелку с розой ветров.

Дон Эрнандо соглашается. Его жена всегда была большой разумницей, и именно поэтому на время своего отсутствия он оставляет ее на губернаторском посту, хотя и назначил ей в помощь вице-губернатора по делам войны. Она продолжает созерцать остроумную безделицу, а дон Эрнандо возвращается к своим заботам. Его девять кораблей уже нагружены провиантом, в его распоряжении двести тридцать семь лошадей и шестьсот человек. К закату все приготовления завершились, и, если не считать доставки бочек с водой, суета в порту затихла, замерла на ночь. С рассветом суета возобновится. Дон Эрнандо уносится в мир фантазий, переполняющих его с детства и обогащенных его собственным жизненным опытом. Он не только добудет сокровища, и не меньше, чем у дона Франсиско или дона Эрнана, нет, он непременно должен отнять у Альвара Нуньеса его горделивую славу единственного, кто воротился из Флориды живым и здоровым. Флорида, не зря нареченная "Цветущей", расцветет для него, для Эрнандо де Сото, капитана, схватившего за хвост и славу, и богатство!

— Вышел бы добрый флюгер для Крепости.

Эрнандо не отвечает, и Исабель отвлекается от осколка, любуясь профилем мужа: очертания лба, венчик рыжих волос, которые на солнце кажутся светлее, веки, не скрывающие лихорадочного блеска мечты в глазах, и сами глаза, которые у моря отливают голубизной, а в час невзгод темнеют. Она снова настойчиво обращается к нему, немного повышает голос, слегка охрипший из-за болезни горла, настигшей ее в плавании с Эспаньолы в Сантьяго:

— Нравится ли вам моя мысль?

Он оборачивается, захваченный врасплох где-то в дальних далях:

— Вы что-то сказали?

— Я говорю: когда будет достроена Крепость, вы могли бы заказать флюгер наподобие сего, из литой бронзы, чтобы указывать верный курс кораблям.

Де Сото кивает. Его Величество удостоил губернатора еще одной чести — чести возвести первый бастион в этих богоспасаемых Индиях. Он ласково отвечает ласковой даме, которую взял в жены в дворце ее отца, графа Де Ла Гомеры (а тот отдал ее с превеликим удовольствием, ибо не только ценил его свидетельства о дворянстве и христианском веро-

исповедании, но и знал, что де Сото участвовал в дележе сокровищ Атауальпы):

– Сударыня, флюгер закажете вы.

И возвращается к своим мечтам накануне великого похода, в час, когда в его жизнь еще не вошли слова “Алибамо” или “Миссисипи”[1]. Зная, что в его мыслях больше нет места для нее, Исабель трет пальцем влажную сторону осколка, подносит палец к губам, раздувая некое пламя, которое эта настойка словно бы разжигает прямо в крови, пробуждая необычную жажду.

Почувствовав немой жар ее взгляда, Эрнандо де Сото встает и устремляется к ней. Хотя все одиннадцать месяцев в качестве высшей власти на Острове были для него – один нескончаемый обильный пир вместе с другими идальго из экспедиции, с множеством дворян, какового сии края дотоле не видали; хотя он имел, под секретом строжайшим, свидания с индианками из самых пригожих и с дамами собственного своего губернаторского двора, нынешней ночью он обязан выполнить долг свой перед доньей Исабель, оставить вмятину на подушке, кою, как ему прекрасно известно, никогда не будет согревать голова другого мужчины. Тем более, что супруга его сейчас особенно хороша: разрумянились щеки, хмельная полуулыбка на губах играет. Он подходит поцеловать ее в губы, а она подставляет ему груди. Соприкоснувшись с его бородой, груди набухают, рубиновые пуговки сосков отвердевают. И, на один только миг, его мечтания о парусах и такелаже терпят кораблекрушение, разбиваясь об эти мягкие яблочки, такие податливые в его руках. Эрнандо и Исабель идут в спальню. Исабель впервые за два года супружества видит тело супруга во всем его великолепии, льнет к Эрнандо, расцеловывает грудь в завитках волос, лижет шрамы – память об усердных трудах в Тьерра Фирме, покусывает его ляжки, спускается до паха в поисках грот-мачты, которая на радость ее устам распрямилась сейчас, как никогда. Обезумевший Эрнандо, ибо прежде только он другими наслаждался, теперь же сам усладой сделался, отвечает ударом на удар, гладит, ласкает, сжимает, сосет, впивается, царапается, исторгает крики и кричит сам. Он дышит прерывисто и шумно, увлажняет лицо в роднике, только что брызнувшем из неведомых цитаделей супруги, и его таран входит в мягкий тун-

1. Алибамо – индейский город, который штурмовал де Сото во время той экспедиции. Позднее отряд вышел к Миссисипи. На ее берегах де Сото умер от лихорадки.

нель, пропитавшийся соком огненного миндаля, проникает в самую глубь бастиона, а бастион поддается, но не капитулирует, не спускает флаги свои, бастион воюет, берет его клинок в плен замысловатого механизма, который слаженно работает в ритме атак и отступлений, и оба — муж и жена — все сильнее задыхаются, пока не побеждают друг дружку, пока не овладевают друг дружкой одновременно, так, как еще никогда в жизни их не бывало: Эрнандо привык к торопливым соитиям в походах, а наслаждение Исабель прежде сдерживалось оковами ее стыдливости. Оба, побежденные и победившие, переплетенные конечностями, смотрят на рассвет. Оба так умиротворены наслаждением, что отъезд уже не вызывает у него эйфории, а у нее — печали. Когда они уже собираются разжать объятия, Исабель обращается к мужу с необычной просьбой:

— Эрнандо, если по дороге в Флориду вы встретите маленькую лодочку, не отказывайте ей в помощи.

— То, верно, беглые плывут, — возражает он, все еще разомлевший.

— Выслушайте меня, любезный супруг, вот моя последняя просьба: поднимите сих несчастных на ваш корабль, а едва вы ступите на сушу, пусть они выкручиваются сами. Будьте покойны: вы их больше не увидите. И смотрите не брезгуйте, — дама улыбается загадочно и искушенно, — настойкой, кою они вам предложат.

Стараясь не вдумываться в слова, за которыми угадывается протест против его отъезда, Эрнандо гладит жену по щеке:

— Я ни в чем не могу отказать вам, Исабель. И знайте, особенно сегодня, что я пленник ваш навеки. Молитесь за меня, ждите меня.

— Пока я жива, я буду ждать вас. И даже когда я умру, вы найдете мой дух в сем флюгере без стрелки, не сводящем глаз с моря.

— Бросает вызов ураганам, как и сей город.

— Выполняет предназначение свое: тревожится за тех, кто отправляется в путь.

Капитан покидает свое супружеское ложе.

Чабела Хрипунья идет варить кофе.

“На подвижной лестнице Ламарка / я займу последнюю ступень”

На большой глубине

На протяжении тридцати лет, после прихода к власти Фиделя Кастро, кубинская поэзия у нас выходила немалыми тиражами. Появлялись и антологии, и авторские книги отдельных поэтов, и журнальные — и даже газетные — подборки. Создавалась приятная иллюзия: уж кубинскую-то поэзию мы знаем.

На протяжении следующей четверти века — с 1991 года по сегодняшний день — отношения с Кубой вступили в новую фазу, очень вдобавок неоднородную по своей культурно-политической наполненности. В этот период могло создаться впечатление, что мы о кубинской поэзии не знаем ничего.

И то и другое, вообще говоря, неверно.

Как все страны со сложной, трагической историей, с большими внутренними противоречиями — Куба, несомненно, страна поэтов. Потому что только поэзия — выход из тупика, любого, как ни странно: морального, нравственного, а может, и политического, и экономического, ведь все эти сферы не так сильно разделены между собой, как принято думать. Только это мало кто понимает.

Поэзия может играть роль психоанализа для целого народа, но по сравнению с ней психоанализ это закусочная фастфуда рядом с рестораном “Максим”.

И в советское время, и в нынешнее вопреки всем конъюнктурным соображениям — а они меняются, но никогда не исчезают — просачивались к нам имена действительно значимые. Имена литераторов, без которых, по выражению Андрея Платонова, “народ не полный”.

Как ни парадоксально, в поэзии это часто таланты, обращающиеся в поисках слова к корням, к истокам, чтобы потом, минуя все промежуточные ступени, сразу взмыть в небо. Из инфузории непосредственно переродиться в ангела, минуя рыб, птиц, млекопитающих и человека как косную и банальную материю.

> Если всё живое лишь помарка
> за короткий выморочный день,
> на подвижной лестнице Ламарка
> я займу последнюю ступень.

© Наталья Ванханен, 2015

Эти строки Мандельштама и есть движение к корням, спуск на глубину, граничащий с абсолютным самопожертвованием. Потом, оттолкнувшись, можно будет — если выживешь! — взмыть, но сначала надо спуститься: углубиться в шахту, в бездну, к ядру земли.

Журнал "Орихенес", центром которого был поэт Хосе Лесама Лима, существовал на Кубе в сороковые-пятидесятые годы прошлого века. Название журнала можно перевести как "истоки", но можно и как "корни". То есть по смыслу — "изначальное", "основы". Поэты, сплотившиеся вокруг него, создали совершенно новую физику и геометрию слова. Открыли в речи, а значит, в культуре и жизни, иные, нетронутые, пласты. Это были люди порой с противоположными взглядами и убеждениями.

Синтио Витьер родился во Флориде, но во время Кубинской революции, отказался от американского гражданства. Он хочет быть с Кубой и с переменами, в ней кипящими, чем бы это ни грозило лично ему.

А кубинец Гастон Бакеро бежит от революции под крыло Франко — случай совсем уж не частый, если учесть, сколько выдающихся деятелей испанской культуры ушло в изгнание, в ту же Латинскую Америку, лишь бы во франкистской Испании не оставаться.

Роднит этих людей только одно — честное отношение к слову, погружение в ткань речи, без поблажек себе, без уступок другим.

Дульсе Мария Лойнас — другой случай. Она внутренний эмигрант, но, разумеется, не по своей воле. Ее несовпадение с кубинской реальностью второй половины XX века не политическое, а скорее эстетическое. В самом деле, к каким светлым горизонтам может звать синий кувшин, в котором плещутся последние тени сумерек? И стихи про розы тоже как-то не ко времени с точки зрения настоящей революционности...

Представляя подборку кубинских поэтов, мы хотим дать слово тем, кому его не давали или давали незаслуженно мало.

Открытие многих новых имен — еще впереди.

Наталья Ванханен

Гастон Бакеро

Переводы Ирины Черновой, Натальи Ванханен

Вступление Ирины Черновой

Гастон Бакеро, один из виднейших кубинских поэтов XX века, родился 4 мая 1914 года. Подчинившись воле отца, он выучился на агронома, однако по специальности никогда не работал. Бакеро рано почувствовал тягу к поэзии и, подобно Рембо и Элиоту, заявил о себе уже в юношеском возрасте. "Поэзия — не заблудившаяся собачка, чтобы ее искать, — писал он. — Она приходит тихо и без предупреждения... Просто берет твой карандаш и твою бумагу и записывает, что ей диктуют". К двадцати трем годам у Бакеро уже несколько публикаций в литературных журналах. В двадцать шесть он примкнул к авангардной группе "Орихенес", возглавляемой Хосе Лесамой Лимой, одной из ключевых фигур в мире латиноамериканской литературы. Первый сборник стихов Бакеро, выпущенный в 1942 году, был одобрительно принят знатоками поэзии. Впоследствии Бакеро скажет: "Лесама был зрением вселенной, ее глазами. Я — ее слух".

В 1945-м Бакеро возглавил журнал "Диарио де ла Марина" ("Судовой журнал") и несколько отошел от "Орихенес" и от поэзии в целом, все больше погружаясь в журналистику и, как следствие, в политику. В 1959-м Бакеро, не приняв Кубинской революции во главе с Фиделем Кастро, эмигрировал во франкистскую Испанию, где и вернулся к литературной деятельности. Начался тяжелый, хотя и весьма плодотворный, период в жизни поэта. Известность надолго покинула его. Только в последние годы

© Gastón Baquero
© Ирина Чернова. Перевод, вступление, 2015
© Наталья Ванханен. Перевод, 2015

жизни заслуженное признание пришло к Бакеро, стойко переносившему все невзгоды. Все это время его единственной опорой была поэзия.

Гастон Бакеро скончался 15 мая 1997 года, прожив почти сорок лет вне родины. На Кубе его имя оставалось под запретом вплоть до 2001 года.

Когда-то поэта спросили: "Тяжело вам писать вдали от дома"? Он ответил: "Мой дом всегда со мной. Моя страна здесь, внутри меня. Здесь мой Остров, моя семья и мое солнце".

Смех

Придвинувшись к учителю,
мы спрашивали: а как же вечность?
Старик долго глядел на нас с укоризной
и, наконец, чеканил, уставившись себе в ладони:
"Что такое вечность — науке неизвестно.
Мы уже целую вечность бьемся
над этим вопросом.
Ну что, ясно?"
И мы заходились от смеха,
и все хохотали, и хохотали,
и не могли угомониться целую вечность,
восхищенные
таким точным ответом.

Воспоминание о прошлых жизнях

Когда я плыл рыбкой в море
и видел лишь волны, да волны
да смутно помнил, как прежде, на берегу Карони,
я рос большим эвкалиптом —
я был счастлив.

И когда судьба
превратила меня в леопарда, —
что за стать, что за гибкость! —
я крался по лесу, опьяненному цветочной пыльцой,
и был счастлив.

И когда моя спина горела
под кнутом погонщика-эфиопа —
я ведь уже побывал и далеким предком альбатроса

и давным-давно сбросил кожу гремучей змеи, —
я был счастлив.

И вдруг я проснулся —
и захныкал в своих пеленках,
тоскуя по дальним просторам,
перебирая в памяти запахи индийских благовоний
и нездешних лесов.

В этой шкуре я так настрадался,
что только и жду: скорей бы исчезнуть
и опять родиться маленькой рыбкой
или деревом у Карони,
гибким леопардом,
или пращуром гордой птицы,
или змеей, свернувшейся у реки.
А может, — почему бы и нет? —
зазвенеть гитарной струной
под чьми-то пальцами,
чтобы танец не прекращался
и радовались
луна и солнце.

Анатомия осени

Грусть протянула мост от окна к окну.
Хочется спать в полутьме, не смыкая век,
гладить египетского кота, кутаться в одеяло,
допытываться: чему же равна усталость,
а, грамматик-лунатик?
В общем, не хочется ничего,
разве что всматриваться в дым,
в пустоту пространства
и выискивать взглядом профиль Сарданапала.
Знать бы еще, каков он!
Надо бы как-то себя пересилить:
научиться, не морщась, пить чай
и терпеть Бетховена, как бы ни было больно.

Запахло каштанами. Холод опять у власти,
листья венком ложатся на головы мраморным пиитам
и осыпают арки, не помнящие побед.
Ветер идет, как слепой ребенок, на ощупь
и, разогнавшись, летит, как мошка на свет,
в западню водостока,
где рождается осень и затихает Шуман.

Что-то серое, прелое, горьковатое,
забивает ноздри — и чувствуешь только сырость
земли, орошенной тягучей слюной рассвета.

Что это — осень? Не знаю, но только осенью
тянет растирать ступни камфорой,
подчиняясь священному зову домашних туфель.
И пусть Дебюсси играет себе на арфе.
Может быть, красный кит, проглотивший солнце,
изрыгнет его прямо на побережье.

Да, это осень. Ясно даже ребенку.
Она выдыхает холод, медленно, буква за буквой,
и вот, как пишет Уитмен, все ближе и ближе
подходит,
поступью мерной, с горделивым величьем,
папского нунция, героя или авгура,
тихое время горячего шоколада,
время смотреть через стекло на площадь
думать, что им, прохожим, должно быть забко,
нет им спасения: лишь прятать руки в карманах,
да, насвистывая, топтать золотые листья.

Я, конечно, не орнитолог, и я не знаю,
как оно тикает там, осеннее сердце,
но грех напоследок не вспомнить о ласточках,
о филинах и скворцах, ворующих оливки,
о сороках и горлицах — только не об удоде! —
все они такие летние,
как и всякое слово, дрожащее в воздухе,
точно звук лопнувшей воловьей жилы,
как все, что пахнет свежим сеном и парным молоком.

С точки зрения анатомии, осень естественна.
Встретить ее — как закутать ноги в грубое, теплое
одеяло
или почитать дурацкие стихи болвана-поэта,
помогающие болвану-читателю
легко и безболезненно
пережить приход это дивной дурехи — осени.

Г*ерой*.

Героя, который всю жизнь не слезал с коня,
соратники прозвали Кентавром,
жене и той казалось, что он кентавр,
а уж дети знали это наверняка.

Верхом день за днем, год за годом —
герой будто сросся с конем.
Чем не кентавр?
Так и доскакал он до старости, ни разу
не спешившись.
“Кентавр”, — завистливо шептались молодые
солдаты.
“Кентавр, — вздыхали девушки. — Был бы
помоложе...”
А герой не вынимал из стремени ногу,
и было не разобрать, где он, где конь —
чем не кентавр?
И вот он добрался до смерти — конечно, верхом, —
но не опустил поводья даже за гробом.
Так верхом на коне и снесли его на кладбище.
Его конная статуя стоит на площади,
и люди тычут пальцами: как живой!
И голуби боятся задеть героя,
чьи дети любили кентавра вместо отца,
чья жена так и не узнала, кого же она
любила: человека или кентавра.

Сцена на Монмартре: Уайльд диктует Тулуз-Лотреку рецепт коктейля, который накануне подавали у Сары Бернар

(*Ролан Даржеле рассказывал: как-то раз на вечере у Сары Бернар подали странного вида коктейль. Один из гостей спросил, что это такое, и хозяйка ответила: “Это секрет Оскара. Оскар, не поделитесь ли рецептом с моим добрым другом мсье де Тулуз-Лотреком?*)

“Выжмите в серебряную чашу — вот так,
двумя пальцами — дольку лайма с Мартиники.
Влейте сок барбадосского ананаса,
заговоренный мексиканскими колдунами,
немного мангового ликера
и полбутылки, не меньше, гавайского рома:
пусть наши моряки — достойные правнуки самого
сэра Уолтера Рэйли — напьются вдоволь!
Оставьте на полчаса у портрета божественной Сары.
Проследите, чтобы негр с фиалковым взором,
все хорошо взболтал.

После добавьте — только не увлекайтесь —
каплю юного семени, вязкого, как ликер,
чуть-чуть молока суринамской козы
и самую малость протертого кунжута.
Прошу прощения? Сезам? Как угодно. К слову,
Гарун-аль-Рашид
называл это тхиной.
Лед по вкусу — и можете подавать,
но непременно в кубках черного дерева, как вчера
у прекрасной Сары.
Вот и все, мсье Лотрек. Согласитесь, не сложнее,
чем плясать канкан на Монмартре".

Перевод Ирины Черновой

Рапсодия на тему фламенко

Разговоры со смертью — прекрасная
неосторожность!
Не безумье ли петь и петь возле края бездны
с колыбели до гроба?
Да и что такое танец и песня, как не исступленный
обряд отчаяния,
не урок преодоления, сперва под надзором матери,
а после —
под завороженным взглядом женщины, все той же
из века в век,
с чудодейственным амулетом за поясом —
отбросить бы его прочь, но нет: тут бессильны и
гибкие кисти,
и хриплый стон!
Ее пламя меж тем разжигает другой огонь, еще более
жаркий,
уж он никогда не погаснет и не даст душе
превратиться в пепел,
пока кровь закипает в жилах,
и бумажных святых бросает в краску.
Танец и песня — забытый язык богов,
луч маяка, тонущего в адской пучине,
яростная схватка со смертью, —
нет, не дождешься, не дамся! —
зов наслаждения и миг благодарности,
и служение древним кумирам,
разлетевшимся на куски под хохот своих жрецов.
Это вопль, рвущийся из нутра, пенье в час
погребенья,

древний голос — его донесло бесприютное племя
Давида,
неутешный плач синагоги — в нем тысячи лет
нищеты, обреченности, тайной любви,
реки красоты и крови, потоки запретных страстей;
это поет и пляшет беглый преступник, загнанный
в угол,
насильник под сенью непорочных лилий,
тот, кого травит судьба своими свирепыми псами.
Близнецы погибели, этот танец и песня вышли на
свет из черепа,
это адский праздник у райских врат,
стать, бьющая ниже пояса, триумф и полет —
что там пресловутое презрение к смерти! —
так взмывает в воздух подброшенная на одеяле
тряпичная кукла,
ватный клоун, обретший живую душу
в темной грешной любви к продажной уличной
девке.
Как безжалостно швыряют беднягу в небо и хохочут,
хохочут,
окропляя землю его животворной и белой кровью,
и, наконец, обессиленного, почти бездыханного,
предают его в руки высокомерной всепожирающей
пустоты.
Этот танец и песня — горячечный бред,
тощий остов прежней роскошной плоти,
и — во веки веков! — священные кошки Египта:
они прыгают в кольца воздетых рук
и жадно рвут тело танцовщика.
Это ядовитые стрелы соблазна, пронзающие святого
Себастьяна,
шабаш ведьм в пылающих чреслах.
А когда стихает языческий гимн плоти,
и безудержный плач гитары,
и зудящая страсть и боль,
и черты искажает предсмертный ужас —
этот танец и песня,
скрываются во чреве ночи,
улетают и спят до утра на далекой забытой могиле.
Эта песня
и танец, опять и опять, и до завтра,
до утра, до всегда, до конца,
до скончанья времен.

Перевод Натальи Ванханен

Дульсе Мария Лойнас

Перевод и вступление Натальи Ванханен

Кубинская поэтесса Дульсе Мария Лойнас родилась в Гаване 10 декабря 1902 года. Ее настоящее имя — Мерседес, однако в литературу она с самого начала вошла как Дульсе Мария. Семья была культурной и весьма состоятельной. Отец, Энрике Лойнас дель Кастильо, — генерал, герой Освободительной войны за независимость Кубы — был еще и автором слов национального кубинского гимна. Мать, Мерседес Муньос — натура артистическая, — привила детям любовь к искусству.

Здесь все писали стихи: брат Энрике Лойнас Муньос, сестра Флор. Сама Дульсе Мария начала сочинять очень рано, а первое стихотворение опубликовала в шестнадцать лет.

Училась Дульсе Мария на юриста, защитилась по Гражданскому праву и, хотя юриспруденция, видимо, никогда ее всерьез не увлекала, вплоть до 1961 года вела скромную частную практику.

У Лойнасов-Муньос был открытый дом, который всегда посещали интересные люди. В разное время здесь побывали Гарсиа Лорка, Габриэла Мистраль, Алехо Карпентьер, Хуан Рамон Хименес, Хосе Лесама Лима.

С Лоркой поначалу отношения не заладились. Дело в том, что Дульсе Мария показала ему свои стихи, а он раскритиковал их.

— Это я бы еще как-то пережила, — вспоминала поэтесса спустя годы. — Куда хуже другое.

© Dulce María Loynaz
© Наталья Ванханен. Перевод, вступление, 2015

Он выбрал мое самое проходное шуточное стихотворение и ткнул в него со словами: “Вот это у вас, пожалуй, самое лучшее”. Такого я уже простить не могла и долго на него дулась.

Лорка попал в этот дом, познакомившись с братом Дульсе Марии — Энрике, а потом очень подружился с ее сестрой Флор.

В молодости поэтесса с удовольствием путешествовала. Побывала в Северной и Южной Америке, в Европе, посетила Турцию, Сирию, Ливию, Палестину, Египет, а на Канарских островах гостила так часто и подолгу, что стала Почетным гражданином этого края.

Писала она в молодые годы очень много. Издала несколько книг стихов и прозы. Большой успех имел ее поэтический роман “Сад” (1951). Многие зачитывались ее книгой путевых заметок “Лето на Тенерифе” (1958).

Поэзию, в отличие от прозы, журналистики и эссеистики, Дульсе Мария всегда считала делом частным, глубоко личным — одиноким.

Ее стихи мелодичны, вдумчивы, почти всегда печальны. В них чувствуется тонкое религиозное переживание, и это роднит Лойнас с испанским поэтом-мистиком XVI века святой Терезой Авильской.

После Кубинской революции Лойнас осталась на Кубе, но печататься перестала. Похоже, что лет на двадцать пять перестала и писать. Как тут не вспомнить слова Анны Ахматовой, посетовавшей однажды, что целых шестнадцать лет, которые могли бы быть самыми плодотворными, она пролежала на диване, отстраненная от литературы.

Кстати в стихах Лойнас много общего с ахматовской поэзией, особенно ранней.

После смерти мужа Дульсе Мария одиноко жила в своем доме в районе Ведадо, окруженная многочисленными подобранными собаками и кошками.

“Я очень люблю животных, — говорила она и добавляла, — птиц тоже, но их не держу: не люблю клеток”.

Дульсе Мария собрала целую коллекция вееров. Почему веера? Потому что самые красивые вещи — бесполезные. На вопрос, не страшно ли ей в доме одной, отвечала: “Я дочь солдата и не должна ничего бояться”.

На склоне лет она снова вернулась к поэзии.

В эти годы ее книги печатались больше в Испании, чем на Кубе.

Член двух академий, Кубинской Академии Языка и Литературы и Испанской Королевской Академии, поэтесса дожила почти до ста лет. Она умерла в 1997 году в Гаване и похоронена на старинном кладбище Колон.

К ее столетию на Кубе была выпущена марка с ее портретом. С 2005 года в Гаване действует культурный центр имени Лойнас.

Стихи Дульсе Марии Лойнас переведены на многие языки мира, но больше всего на английский. Многие из них положены на музыку.

Баллада о поздней любви

Любовь, пришедшая поздно,
пошли мне просто покой.
Какими ты шла путями,
плутала тропкой какой?
Тебя не звала я вовсе
к последнему рубежу —
важней ли то, что ты скажешь,
того, что я не скажу?
Мертво холодное взгорье —
теперь я просто луна...
Пошли мне ночное море,
а роза мне не нужна.
Так долго ко мне не шла ты,
что ветер песни унес.
Любовь тишины, утраты,
не надо, не надо слез.

Розы

В моем саду есть розы
нездешней красоты.
Но розы быстро вянут —
их не полюбишь ты.

В моем саду есть птицы,
у них хрустальный звон,
но быстро он смолкает —
тебе не нужен он.

В моем саду есть пчелы —
летают день-деньской,
но мед их быстро тает —
на что тебе такой?

Ты любишь то, что вечно,
а смертной жизни дрожь
едва ли ты оценишь,
едва ли ты поймешь
и, верно, без подарка
из сада ты уйдешь.

Ступай своей дорогой,
не возвращайся впредь
и никогда не трогай,
что может умереть!

Сотворение мира

В начале была вода...
Ревущая, дикая.
Рыбы еще не раздували в ней свои жабры,
и берега не стесняли волн.
В начале была вода...
Земля
еще не воздвиглась из глубин,
не сделалась твердью.
Она оставалась илом и песком —
зыбкой тайной бескрайней хляби.
Не было ни полнолуний,
ни россыпи островов,
лишь в юном водяном лоне
уже изредка шевелились, толкая друг друга,
не рожденные континенты.
Рассвет мира! Первое пробужденье!
Гаснут последние подводные вспышки.
Какое море влажных всполохов
под черной бездной небес!
В начале была вода...

Цена

Бледнее губы стали.
Рука твоя легка.
И ночь в моем бокале
колеблется слегка.

Не обнялась с тобою,
не отпила вина.
Вот всё, чего я стою, —

низка моя цена.

Желание

Пусть вечно объятье длится,
вмещая и тень, и свет.
Окружность его — граница:
помимо-то жизни нет!

Пусть смерть, подивившись вчуже,
попробует сжечь меня,
нигде не сыскав снаружи, —
внутри твоего огня!

Синий кувшин

Лишь тень скользнет по вершинам
у тьмы и света на стыке,
пойду я с синим кувшином
собрать последние блики.

Вода у тропки отвесной
своею гладью покорной
поймает отсвет небесный,
поймает отсвет озерный.

Волна замедлит движенье,
последний луч обнаружив,
и я коснусь отраженья —
прозрачных шелковых кружев.

И пепельный свет прощальный
навесит по́лог обманный,
печали сделав печальней,
туманы сделав туманней.

А там и тьма заклубится,
чтоб мир из шелка и света,
и то, что снилось и снится,
и даже кружево это,
наполнясь жизнью иною,
исчезли в сумрачной стыни,
и только зыбкой волною
плескались в синем кувшине.

Синтио Витьер

Из "Записок Хасинто Финале"

Переводы Бориса Дубина, Натальи Ванханен

Вступление Натальи Ванханен

Синтио Витьер — один из самых крупных интеллектуалов испано-язычного мира. В юности примыкал к кругу авторов, сформировавшемуся вокруг журнала "Орихенес" ("Истоки") в сороковые—пятидесятые годы XX века. Творческими поисками тесно связан с Хосе Лесамой Лимой, который в его романах появляется под именем Мэтр.

С детства был дружен с другим замечательным поэтом — Элисео Диего.

Жена Синтио Витьера — известная поэтесса Фина Гарсиа Маррус.

В 1947 году Витьер окончил юридический факультет Гаванского университета, но юриспруденцией никогда не занимался, а увлекся журналистикой и издательским делом.

Его первая книга "Стихи" (1938) вышла с предисловием Хуана Рамона Хименеса. Много лет Витьер посвятил исследованию творчества Хосе Марти и кубинской культуры в целом. Он автор поэтических сборников "Субстанция" (1950), "Кануны" (1953), "Свидетельства" (1968), "Указанные даты" (1981), "Теряющиеся листки" (1988).

Публикуемые стихи взяты из его романа "Записки Хасинто Финале". Роман этот — вторая часть трилогии, чем-то близкой пастернаковскому

© Cintio Vitier, 1984
© Борис Дубин, наследники. Перевод, 2015
© Наталья Ванханен. Перевод, вступление, 2015

“Доктору Живаго”. В трех книгах — “Улица Бедной скалы” (1980), “Записки Хасинто Финале” (1984), “Песня о Теодоре” (1986) — рассказана целая сага, в которой и жизнь семьи, и жизнь страны, и созревание души, и тайна культуры. По сути, это роман-эпопея, роман-поэма в трех частях.

Стихи, включенные в книгу “Записки Хасинто Финале”, принадлежат погибшему герою, и, как и в романе Пастернака, имеют право на самостоятельное существование.

Не могу не сказать о драматической судьбе трилогии Витьера в нашей стране. Пока Куба была для СССР политическим союзником, Синтио Витьер не относился к числу авторов, активно продвигаемых кубинской стороной. После перестройки, когда самое время было бы его у нас напечатать, российская сторона перестала продвигать кубинскую культуру. Между тем все три романа переведены на русский, отредактированы и полностью подготовлены к печати. Только первая часть трилогии — “Улица Бедной скалы” — успела увидеть свет в начале восьмидесятых в издательстве “Художественная литература”. Две другие книги дожидаются своего часа.

Остается надеяться, что когда-нибудь у нас найдется издатель, озабоченный не только соображениями конъюнктуры с тем или иным знаком. Пусть этот смельчак, бескорыстно любящий литературу, скорее — пока рукопись не пропала! — объявится: этого заслуживает и Синтио Витьер, и Куба, и наконец мы, читатели.

Воспоминание

Я падал в глубину себя, не чуя
ни ног, ни крыльев,
в пустоту родную,
и сам был ею, систолою бездны,
сплетеньем нервов черного укрома,
мерцающего тленом.
Я был глазком зарницы, веком грома,
замерзший и всклокоченный ребенок!
И вверх, вовне, к своим хвощам безгласым
я день за днем карабкался, печальный
и гиблый сок, который бредит лазом,
чтобы смешаться в роковой давильне.
И... вновь упасть, уже теряя силы,
и выплаканной болью уместиться
в двух метрах ожидающей могилы.

* * *

Чеканка простертой тени,
чужой для меня, фантома,
под гулкой луной осенней!

Кто ей, нелюдимой, внемлет,
когда, в ночи вырастая,
к невидимому магниту
стремится она, пустая?

И слышу, как сердце глухо
толкается, обживая
пространства чужого слуха.

* * *

Ищу листка сухого:
не мысли и не слова, —
листка сухого.

Сон

Узкая ладонь,
делящая гранью
ветер и огонь.

Возвращая к собственной сути

Перерастая себя на нездешних взморьях,
захлебнувшихся пеной, в горящих дебрях,
где рожком новолунья таился глаз ягуара,
я скрывался за каждой скалой, за любою дюной,
пепеля негасимые яхонты ностальгии
и считая монетки, просыпанные колибри.

Я преломлял неостывший хлеб облаков
и хранил для себя нерастраченный пыл желанья,
арфу и сумасшедшую скоропись океана,
задремав на последнем утесе у края мира.
Разве праздник затмит поцелуи гиблых созвездий,
а могила — поминки души, ненаглядный
рисунок чаши?

И теперь я горжусь, что ровесник мира,
и любуюсь травой моего же роста,
и тянусь поправить неверную руку ливня.
Слышу, как пампа вторит своим началам,
как безутешно рыдают дикие мысы,
уходя в мою ночь со своим драконьим посевом,
поселяясь во мне, возвращая к собственной сути.

Е*динорог*

О, это небывалое созданье.

Райнер Мария Рильке

Единорог не задевает взглядом
земных лучей и блещущего бора,
сверкая от охотников заклятым
великолепьем брачного убора.

Не запятнают пика и борзая
невиданную белизну наряда,
когда, в родник сиянье погружая,
он рогом очищает ключ от яда.

Но сказочному зверю не сравниться
с той неподдельной, что к живому кругу
безгрешных приобщит единорога.

Он перед нареченною клонится,
ему печально подающей руку,
прислушиваясь к зову из чертога...

Н*ищета*

Не спрятаться за найденное слово
и не утешиться привычным делом,
когда минует день и видишь снова,
что жизнь — не здесь, а за глухим пределом.

И нет опоры ни в одной отраде,
что, ускользая между пальцев, мглится
или сверкает, бегло лихорадя
беспамятство, которое все длится.

И лишь в ночи, где разомкнутся недра
и смоет накатившеюся тьмою
черты и жесты отчужденной тени,

открою слух заветным звукам ветра
и песнопений брачному безмолвью,
и нищете, несущей утоленье.

Перевод Бориса Дубина

Страница

Над чистым листом бумаги
взволнована тайной силой —
и больше в тебе отваги,
чем в пышных стонах “Помилуй!”.

И белая та страница
белее райского хлеба,
белей небесной пшеницы,
но нет, не этого неба,

где звезды сравнений книжных
горят светло и сурово
с холодных и неподвижных
высот ученого слова, —

нет, Книга Мира иная
открыла тебе начала,
покуда, книги роняя,
ты мира не замечала.

И, времени не жалея,
нездешняя пишет сила,
но тем бумага белее,
чем гуще твои чернила

на чистой рассветной глади
штрихуют древо святое,
побеги строчек в тетради,
и нет меж них сухостоя.

Очнешься — твоя страница
сияет истиной сладкой.

И рады мы причаститься
гигантской этой облаткой.

Т*ам, внутри*

Там, внутри
и что все это значит?
Кто? О чем?
Но слышу: кто-то плачет.
Там, внутри,
под пеплом, подо льдами,
за минутной радостью,
за снами,

там, во тьме,
за горечью и тишью...
Кто, о чем?
Не знаю. Только слышу.

Н*агое время*

Без кожи время нагое.
И сердцу пустыня снится.
Лишь белый ожог страницы.
Откуда я... где я... кто я?..

А ночь во плоти, в расцвете,
и ясные звезды тоже.
И я ничего на свете
касаньем не потревожу.

Н*и бледного опала, ни тумана*

Ни бледного опала, ни тумана.
Кровоточит растерзанное время.

Поэты, поглядите:
ночь и ливень —
ни зги.
О чем ты, огненная лира?

В гостиничных пустынных переходах
то стук, то ругань.
Гаражи окраин
отсвечивают ирисом лиловым.

И продолжать писать,
пожалуй, стыдно.

Нам, верно, остается только
плакать.
Слеза-колдунья строит мир
нездешний.

Да, сотворенье мира —
наше дело.
А если отречемся,
все погибнет.

Как тот прохожий, раненный в потемках,
доставленный сюда молоковозом.
Переполох. Рассвет. Но, как ни странно,
мы помним: не мешает подкрепиться.

Ни бледного опала, ни тумана.

Как мало

Как мало я сделал — был.
Понять бы раньше, ясней.
Я слишком поздно подбил
итоги своих нулей.

Теперь
надежда одна:
забвенье,
но всласть, до дна.

Заря Рождества

Не заботьтесь...
Послание к Филиппийцам. 4:6

Как светло
над бедой испокон веков,
там, в резной листве облаков.
Как войти,
обретя простоту сперва,
в твой, лазурь, покой Рождества?

Ниспошли нам одну из своих крупиц
золотую слезинку вниз,
чтобы свет ее
в груди не угас —
так вот мать целовала нас.

Н*адежда*

Бывают дни,
такие я знавал:
все золото любви — сплошной обвал,
и выбранный рудник на этот раз
под осыпью пород хоронит нас.
Чадит очаг,
и пытка длится век.
И вот, когда ослабший человек
уже готов к отправке в никуда,
ослепшему, откроется ему,
что ледокол ломает глыбы льда,
сковавшего его холодной тьмой,
и молча киль прорезывает тьму.
И, как освобожденная вода,
заплещется надежда за кормой.

Р*ассвет*

Одинокий светофор
на пустынной улице
против огромной закатной луны,
среди замирающих шорохов ночи, —
кому он дает дорогу, кому закрывает,
кого вежливо приглашает
свернуть налево, направо?
Отчего-то вспомнилось море.

В *разгар страды*

В разгар страды
один глоток
из розовой плошки, по-дружески протянутой
чьей-то черной рукой, —
и я воскрес.
Ты знал это поле, Господи.

Перевод Натальи Ванханен

Рейна Мария Родригес

Перевод и вступление Натальи Ванханен

Поэтесса Рейна Мария Родригес — один из самых заметных голосов современной кубинской поэзии — родилась в 1952 году. Окончила филологический факультет Гаванского университета.

Она автор многочисленных сборников стихов — их около двух десятков — и нескольких книг прозы, среди которых можно выделить роман "Три способа описать слона".

В течение многих лет поддерживает жизнь своеобразного литературного клуба на крыше собственного дома под названием "Крыша Рейны". Тут игра слов: "рейна" по-испански означает "королева".

Ее поэзию отличает разговорность языка, доверительность интонации, тонкая самоирония.

В Гаване возглавляет культурный проект "Дом словесности".

Вечереет

вечереет над крышами Мадрида,
а на моих руках по-прежнему вода Балтики
обжигающе-холодная
вечнозеленая
как недозрелые фрукты
вот оно кратчайшее расстояние
от глазных яблок северных лебедей
до матовых плодов юга
вечереет

© Reina María Rodríguez
© Наталья Ванханен. Перевод, вступление, 2015

кажется мы с тобой всё еще рядом
в том странном доме
где под босыми ступнями
дремотная шероховатость древесины
а вокруг призрачный пейзаж
(мне вспоминаются твои слова
я вижу не то что перед глазами
ведь взгляд всегда скитается там где сердце
да и не на что здесь смотреть)
я торопливо ищу что бы такое полюбить
пока ночная тьма еще не разъела мне глаза
переполненные балтийской водой
кажется они впитали ее целиком —
вот-вот выплеснется
вечереет над крышами Мадрида
и всё чудится что у меня
твоя кожа.

Площадь Испании

я пришла на площадь Испании
исключительно ради той согбенной старухи
в черном
она показательно мерзла на апрельском ветру
скрючившись возле фонтана
и напоминая актера
который так переигрывает
что не вызывает у зрителя ни малейшего сочувствия
(вот сейчас он согнет ноги в коленях
чтобы удобнее было падать)
она принесла голубям кулек белых семечек
и в благодарность они закружились
прямо надо мной оставляя тут и там
свои отвратительные нашлепки
я пришла на площадь Испании
чтобы на своей шкуре испытать
пагубные последствия всякого “слишком”.

Эдгар дождь и девушки

вот и снова ноябрь
и еще одна морщинка у глаза
значит скоро зима
куда от нее деваться
бедный мальчик мой

мать твоя совсем помешалась
подавай ей лишь невозможное да и только
между тем мышей-то она не ловит
и стащить у нее можно все из-под носа
а боится она по-прежнему махаонов
и любви — уж это само собою

двадцать лет и двадцать секунд осталось
до начала нового тысячелетья
надо вырезать побольше бумажных птичек
и повесить на окна — хорошо от бомбежек
двадцать лет и двадцать секунд — послушай
вот тебе мое главное пожеланье
ты почаще — слышишь — смотри на звезды
очень страшно отвыкнуть смотреть на звезды

будешь жить ты в двухтысячном и увидишь
космодромы и бабочек и деревья
также флору и фауну какой сейчас нету
будешь спрятан ты внутри у большого дяди
как оно бывает со всяким мальчишкой

но молю тебя — спи всегда как сегодня
среди вскрытых банок и открывалок
даже если девушки тебя атакуют
даже если дождик
и очень сильный.

Т*айник*

в сундучке эбеновом — маленьком очень
возле саркофага Тутанхамона
множество сокровищ сына фараона
там-то и нашла я золотую куклу
или может персидскую миниатюру
мне ведь разрешили открыть и потрогать
эту драгоценность о которой мечтала
(всякая мечта отдаляет от детства
простоту младенцев у нас отнимая)
я Пигмалион в ожидании чуда
а когда мы очень о чем-то мечтаем
весь свой путь химерами вымостив на славу
все конечно сбудется только по-другому
с противоположным часто результатом
и однако верьте если бы хоть кто-то

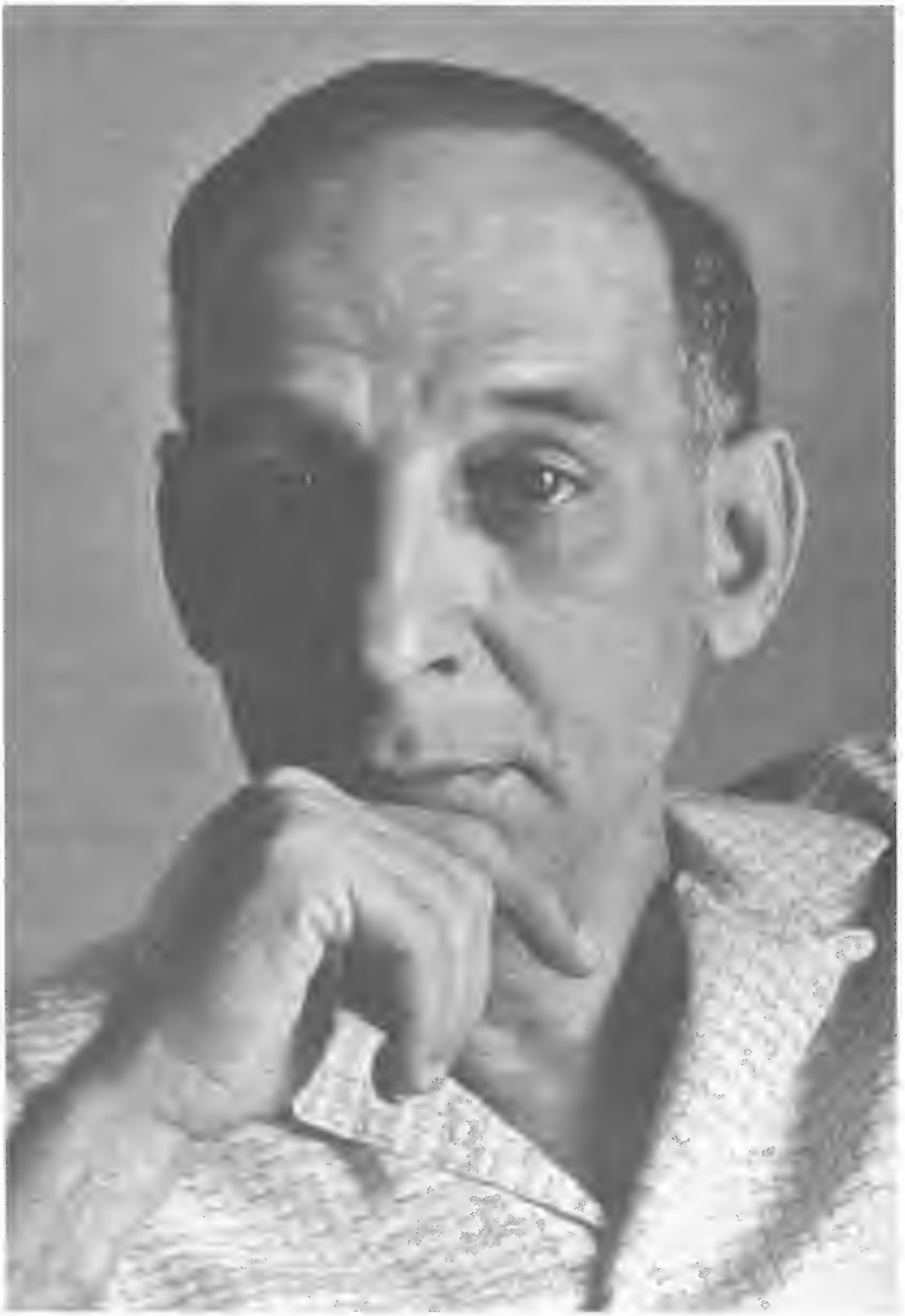
как-то незаметно — не мумия конечно —
возле сундучка прикорнул бы ненароком
и ему приснилось бы то что мне сегодня —
шар большой хрустальный с видом Атлантиды —
мы бы все и разом стали бы как дети
возвратив навеки простоту былую.

В *полдень*

в полдень голуби попрятались в тень
а парочки раскинулись вповалку
на выжженной зноем
недавно политой траве
я жду тебя мой никто
или если угодно некто
у фонтанчика под палящим солнцем
и как никогда понимаю
что в нашем переполненном лягушатнике
в любви надо быть проще
как вся эта мелюзга —
где плюхнулся там и ладно
(а кстати вчерашний-то дурачок вернулся —
дурачков и поэтов вообще тянет
на старое место)
пойду-ка и я поищу тенек
в конце концов можно ведь остаться и здесь
и не тащиться туда
где по моим представлениям
сподручнее будет
плюхнуться с кем-нибудь
на сухую или мокрую
летнюю травку.

Вирхилио Пиньера
Рассказы

Перевод Александра Казачкова



© 1956, 1970, 1987 Virgilio Piñera
© 1999, Grupo Santillana de Ediciones, S. A.
© Александр Казачков. Перевод, 2015

Г*ора*

ВЫСОТА горы — тысяча метров. Я решил потихоньку ее съесть. Гора как гора: растительность, камни, земля, животные и даже люди, которые поднимаются и спускаются по ее склонам.

Каждое утро я распластываюсь на ней и принимаюсь жевать первое, что попадется. Так провожу несколько часов. Домой возвращаюсь разбитый, занемевшие челюсти сводит. После краткого отдыха сажусь у подъезда и любуюсь горой в синеватой дали.

Если я расскажу об этом соседу, он наверняка зальется смехом, а то и примет меня за безумца. Но я-то знаю, чтó у меня на уме, и прекрасно вижу, что гора теряет округлость и высоту. Вскоре заговорят о геологических сдвигах.

Вот она, моя трагедия: никто не захочет признать, что это я поглотил тысячеметровую гору.

1957

П*утешествие*

МНЕ сорок лет. В этом возрасте любое решение приемлемо. Я решил путешествовать без устали, пока смерть не призовет меня. Из страны я не уеду, это не имеет смысла. У нас хорошее шоссе — несколько сот километров. Пейзаж по обе стороны дороги прелестный. Поскольку расстояния между городами и селениями относительно невелики, мне не придется ночевать в пути. Поясню: мое путешествие будет неспешным. Я хочу устроить все таким образом, чтобы в некой точке пути можно было сойти, поесть, справить прочие человеческие надобности. Денег у меня много, так что все пойдет, как по-накатанному...

Кстати о накатанном: путешествие я совершу в детской коляске. Катить ее будет нянька. Учитывая, что во время прогулки с ребенком нянька проходит по парку расстояние, равное двадцати кварталам, без признаков утомления, я расставил вдоль тысячекилометрового шоссе тысячу нянек из расчета, что двадцать кварталов по пятьдесят метров составляют в сумме километр. Каждая из этих нянек, одетая не нянькой, а шофером, катит коляску с умеренной скоростью. Пройдя положенную тысячу метров, она передает коляску няньке, стоящей в начале следующей тысячи метров, почтительно приветствует меня и удаляется. Поначалу люди толпились у шоссе, чтобы поглазеть на меня. Мне пришлось выслу-

шивать разного рода комментарии. Но теперь (вот уже добрых пять лет, как мой удел — колесить по дороге) им нет до меня дела: в конце концов я стал, как солнце для дикарей, явлением природы... Поскольку я обожаю скрипку, то купил вторую коляску, в которой восседает знаменитый скрипач X; он услаждает мой слух волшебными мелодиями. Когда это случается, я расставляю на шоссе десять нянек, которым поручено катить коляску скрипача. Лишь десять нянек, ведь я не выношу более десяти километров музыки. А в остальном все идет, как по-накатанному. Правда, порой устойчивости моей коляски угрожают огромные грузовики, проносящиеся подобно молниям, и как-то налетевшим потоком воздуха с очередной няньки даже сорвало часть одежды. Такие мелкие происшествия никак не могут поколебать моего решения продолжать пожизненный поход. Это путешествие показало мне, как я заблуждался, ожидая чего-то от жизни. Это путешествие стало откровением. В то же время я узнал, что не мне одному открылись подобные вещи. Вчера, проезжая по мосту, а их на шоссе немало, я увидел известного банкира Пепе, сидящего в кастрюле, которая медленно вращалась, приводимая в движение кухаркой. На следующей стоянке мне сказали, что Пепе, подобно мне, решил провести остаток дней в круговращательном путешествии. Для этого он подрядил сотни кухарок, которые сменяются каждые полчаса, с учетом того, что каждая кухарка может приготовить за это время, не утомляясь, одно блюдо. По воле случая, всякий раз, когда я проезжаю мимо в моей коляске, Пепе, вращаясь в кастрюле, обращается ко мне лицом, что побуждает нас церемонно раскланяться. Наши лица сияют откровенным счастьем.

1956

Спасительная нагота

Я сплю в некой камере. Четыре вполне голые стены. Лунный свет пробивается сквозь оконце. Поскольку у меня нет даже жалкого тюфяка, приходится спать на полу. Должен признаться, что я изрядно закоченел. Зима еще не пришла, но я гол, и в это время года температура на заре сильно опускается.

Внезапно кто-то прерывает мой сон. Спросонья я вижу перед собой человека; он, как и я, голый. Смотрит на меня зверем. По его взгляду я понимаю: он видит во мне смертельного врага. Но больше всего меня поражает не это, а лихорадочные поиски, которые человек вдруг затевает на

столь ограниченном пространстве. Неужели он что-то забыл?

— Вы что-то потеряли? — спрашиваю я.

Он не отвечает на мой вопрос, но говорит:

— Я ищу оружие, чтобы убить тебя.

— Убить меня?.. — внутри меня все холодеет.

— Да, я хотел бы тебя убить. И вошел сюда случайно. Но сам видишь, у меня нет оружия.

— Руками, — говорю я помимо своей воли и с ужасом гляжу на его железные руки.

— Я могу убить тебя только оружием.

— Сам видишь, в камере нет никакого оружия.

— Твоя жизнь спасена, — говорит он мне с покровительственным смешком.

— И сон тоже, — отвечаю я.

И принимаюсь блаженно похрапывать.

1957

М*ясо*

ВСЕ произошло очень просто, само собой. По причинам, которые здесь не к месту излагать, население стало испытывать нехватку мяса. Все встревожились, прозвучали минорные замечания и даже вынашивались планы отмщения. Но, как это обычно случается, протесты не пошли дальше пустых угроз, и вскоре удрученный народ принялся заглатывать разнообразную растительную пищу.

Лишь сеньор Ансальдо не последовал общим установкам. С величайшим спокойствием он взялся точить огромный кухонный нож и вслед за тем, спустив брюки до колен, отрезал от левой ягодицы славный филей. Промыв его, сдобрил солью и уксусом, подрумянил, что называется, на решетке и, наконец, пожарил на большой сковороде для воскресных омлетов. Уселся за стол и принялся смаковать свой славный филей. Тут в дверь постучали; это сосед пришел отвести душу... Но Ансальдо изящным жестом указал на славный филей. Сосед задал вопрос, и Ансальдо ограничился тем, что показал левую ягодицу. Все объяснилось. В свою очередь потрясенный и взволнованный, сосед вышел, не проронив ни слова, и немного погодя вернулся с городским головой. Голова высказал Ансальдо живейшее пожелание, чтобы его возлюбленные граждане питались, как это делал Ансальдо, от телес своих персонально каждый. Вскоре дело согласовали, и после пылких излияний, свойственных благовоспитанным лю-

дям, Ансальдо переместился на главную площадь города и устроил, по его характерному изречению, “практическую демонстрацию для масс”.

На площади он сообщил, что каждый обитатель отрежет от своей левой ягодицы по два филейных куска, совершенно тождественных гипсовому образцу ярко-красного цвета, висевшему на сверкающей проволоке. И подчеркнул: два куска, а не один, ведь если он отрезал от собственной левой ягодицы славный филей, резонно добиваться соразмерности, то есть чтобы никто не заглатывал ни одним филеем меньше. После определения этих пунктов каждый принялся отрезать по два филея от своей левой ягодицы соответственно. Зрелище выдалось восхитительное, но от описаний лучше воздержаться. Были произведены вычисления относительно того, как долго сможет наслаждаться народ дарами плоти. По прогнозу видного анатома, при ста фунтах веса и без учета внутренностей и прочих неудобоваримых органов индивид мог питаться мясом на протяжении ста сорока дней из расчета по полфунта в день. К тому же расчеты эти были иллюзорными. Главное — каждый мог вкусить свой славный филей.

Вскоре появились дамы, обсуждавшие преимущества, которые сулила идея сеньора Ансальдо. Например, те, кто уже поглотил свои груди, избавлялись от необходимости прикрывать тканью грудную клетку, и их одеяния заканчивались чуть выше пупка. Кто-то из дам, но не все, уже ничего не обсуждали, поскольку проглотили свой язык, а это, надо заметить, царское блюдо. На улицах имели место прелестные сцены: так, две давно не видевшиеся сеньоры не смогли расцеловаться; они использовали свои губы для приготовления жаркого, которое пользовалось большим успехом. А начальнику тюрьмы не удалось подписать смертный приговор осужденному, так как он съел подушечки пальцев, ведь, по мнению истинных гурманов (а начальник тюрьмы таковым являлся), именно от них пошло столь избитое выражение — “пальчики оближешь”.

Случались даже мелкие возмущения. Профсоюз работников индустрии женского бюстгальтера подал в надлежащую инстанцию протест, и та ответила: призыв к дамам о возобновлении его ношения полностью исключен. Но эти вполне безобидные протесты нисколько не нарушали хода потребления народом собственной плоти.

Одним из ярчайших событий того знаменательного и приятного дня стало отсечение последнего куска плоти городского танцора. Из уважения к искусству он оставил напоследок прекрасные пальцы своих ног. Его соседи заметили,

что вот уже несколько дней, как он чем-то глубоко взволнован. У него оставалась лишь мясистая часть большого пальца. И он пригласил друзей присутствовать при операции. Посреди кровоточащего безмолвия он отрезал заключительный ломтик и, не подрумянив на огне, отправил в полое отверстие, которое некогда было его дивными устами. Тогда все собравшиеся внезапно посерьезнели.

Но жизнь продолжалась, и это было главное. Разве что... Неужели поэтому балетки танцора выставлены ныне в одном из залов Музея достопамятных реликвий? Известно лишь, что один из самых тучных жителей города (он весил двести кило) израсходовал весь свой наличный запас мяса за краткий пятнадцатидневный срок (он был большой лакомка, да и его организму требовалось немало). С тех пор его никто больше никогда не видел. Очевидно, он скрывался... Но затаился не он один, многие стали вести себя аналогично. Таким образом, однажды утром сеньора Орфила, поинтересовавшись у сына — пожиравшего левую мочку уха, — куда тот положил неведомо какую вещь, вообще не получила ответа. Не помогли ни мольбы, ни угрозы. Вызванный эксперт по без вести пропавшим обнаружил лишь крохотную кучку экскрементов на том месте, где, как сеньора Орфила клялась и божилась, ее любимый сын находился, когда она задала вопрос. Но эти легкие переживания ничуть не омрачали радостного настроения обитателей. На что мог сетовать народ, обеспеченный пропитанием? Разве не была решена серьезная проблема общественного порядка, вызванная нехваткой мяса? Тот факт, что население постепенно пропадало из виду, не имел никакого отношения к основной задаче и являлся лишь заключительным аккордом, ни в коей мере не умалявшим твердой готовности этих людей добывать драгоценный продукт. Как знать, а не являлся ли данный аккорд ценой, которую требовала плоть персонально каждого? Но было бы низостью задавать бестактные вопросы дальше. И благоразумный народ был прекрасно накормлен.

1944

П*лавание*

Я научился плавать посуху. Плюсов здесь гораздо больше, чем от плавания в воде. Не боишься утонуть, ведь ты и так уже на дне, а потому заранее утоплен. Опять же — тебя не придется вылавливать при свете фонаря или в

ослепительном сиянии чудесного дня. Наконец, отсутствие воды не даст нам разбухнуть.

Не стану отрицать: в плавании посуху есть что-то от агонии. Первой приходит мысль о предсмертных корчах. Однако это непохоже на смерть: вроде ты и агонизируешь, но при этом жив-здоров, держишь ухо востро, слушаешь музыку, льющуюся в окно, разглядываешь червячка, ползущего по земле.

Поначалу друзья не одобрили моего решения. Они отводили глаза и рыдали по углам. К счастью, кризис уже миновал. Теперь они знают — мне удобно плавать посуху. Время от времени я погружаю руки в мраморные плиты и преподношу друзьям рыбку, пойманную в подводных глубинах.

1957

Б*итва*

БИТВА начнется ровно в одиннадцать часов утра. Генералиссимусы обеих армий расхваливали боеспособность и отвагу своих солдат, и, поддавшись воодушевлению генералиссимусов, вы впали бы в серьезную логическую ошибку, предполагающую неминуемость двух побед. Но, следуя тем же логическим заключениям, необходимо признать: нечто странное постепенно искажало данные представления. Например, генералиссимус армии, дислоцированной на возвышенности, проявил явные признаки нетерпения, удостоверившись с хронометром в руке, что в одиннадцать ноль пять все еще не произошло ослабления внешних оборонительных рубежей его армии под натиском авиации противника. Это было столь неслыханно, до такой степени противоречило духу правильного ведения битвы, что, не в силах скрыть своих опасений, он взял полевой телефон, дабы довести их до сведения генералиссимуса армии противника, в свою очередь, дислоцированной на просторной равнине, граничащей с упомянутой возвышенностью. Тот ответил не менее сокрушенно. Прошло уже пять минут, а ослабление внешних оборонительных рубежей даже не думало начинаться. Невозможно приступать к битве без сей подготовительной операции. Но положение осложнилось из-за отказа танкистов идти в атаку. Генералиссимусы решили отдать срочные приказы о расстреле без суда и следствия. Исполнить их также оказалось невозможно. Генералиссимусы согласились с тем, что отказ воевать не имеет под собой при-

чин, обычно сводимых к известной фразе: “Низкий боевой дух войск...”. Дабы явить пример дисциплины и верности воинскому долгу, генералиссимусы затеяли необычайную баталию: каждый сел за штурвал большого танка, и они сошлись, словно два гиганта. Бой был кратким, оба погибли. Перед зеркальцем, повешенным на треногу, брился солдат. Огромный кот разгуливал вокруг раскрытого парашюта.

Пес — питомец армии, дислоцированной на равнине, — вяло покусывал руку генералиссимуса армии, дислоцированной на возвышенности. Нетрудно было предположить, что в четверть первого битва так и не началась.

1944 г.

Мигель Анхель Фрага
В *уголке у самого неба*

Интервью и документальные свидетельства о СПИДе на Кубе

Перевод Дарьи Синицыной

...САНАТОРИЙ Сантьяго-де-лас-Вегас был создан в апреле 1986 года как одна из мер по борьбе со СПИДом, предпринимаемых кубинским государством. Цель работы Санатория – обеспечить лицам, зараженным вирусом ВИЧ, либо больным СПИДом, комплексное лечение, которое повысит протяженность и качество их жизни, а также гарантировать максимальный эпидемиологический контроль, препятствующий распространению ВИЧ среди здорового населения.

...В Санатории Сантьяго-де-лас-Вегас находятся на стационарном лечении граждане Кубы, у которых были диагностированы ВИЧ-инфекция либо СПИД, в соответствии с установленными международными критериями.

Приложение 3

7. Запрещен вход иностранцам вне зависимости от гражданства, а также представителям кубинской диаспоры.

8. Не допускаются контрреволюционное поведение и проявления стяжательства или религиозного прозелитизма.

Выдержки из Устава Санатория Сантьяго-де-лас-Вегас

Столько времени прошло...
И я готовился умереть.

В понедельник, 16 марта 1992 года, когда мне было двадцать шесть лет, я попал в Санаторий Сантьяго-де-лас-Вегас, розовый дом. Вме-

© Miguel Ángel Fraga
© Aduana Vieja Editorial, Valencia, 2008
© Дарья Синицына. Перевод, 2015

сте со мной привезли девятнадцатилетнюю девушку и молодого человека двадцати восьми лет. У подъезда КОБ-шник[1] осмотрел наши личные вещи. Мы, все трое, знали, куда приехали. Молодой человек казался взволнованным, говорил без умолку, рассказывал о своих предыдущих приездах в Санаторий. В частности, упомянул, что лежал в Институте тропической медицины имени Педро Коури (ИПК) и что диагноз ему поставили год назад.

Около получаса мы ждали в вестибюле большого здания, где находилась администрация больницы. Потом нас провели в кабинет комиссии по приему на лечение, состоящей из представителей Санатория: психолога, дерматолога, администратора, начальника социального отдела, главной сестры и директора. Нам разъяснили правила дисциплины и завели на нас истории болезни.

После обеда нам раздали то, что здесь называется комплектом одежды и основных личных принадлежностей: четыре простыни, подушка, две наволочки, две пижамы, пара банных шлепанцев, пара кедов отечественного производства, плед, тюбик зубной пасты, бритвенное лезвие, два бруска мыла – хозяйственное побольше, туалетное поменьше, – рулон туалетной бумаги, три вешалки и футболка со штампом Санатория. Девушке выдали пачку прокладок. Все постельные принадлежности и предметы одежды были помечены тушью. Как нам объяснили – чтобы в прачечной не перепутать, какому пациенту что принадлежит. У каждого на постельном белье и пижаме стоял номер. В этом розовом доме я – пациент № 525; меня поместили в корпус "Радуга".

Розовый дом. Записи из моего дневника

Иногда я забываю, что у меня СПИД. *Каридад Сесар*[2]

Каридад. Я мало что знала, потому что про СПИД мало говорили. Показывали зарубежные документальные филь-

1. КОБ – Корпус охраны и безопасности. (*Прим. автора.*)
2. До направления в Санаторий в июне 1986 г. работала главной медицинской сестрой поликлиники одного из районов Гаваны. ВИЧ-инфекцию диагностировали в сорок лет. Я помню Каридад состарившейся из-за болезни, но не теряющей отличного чувства юмора. Она всегда говорила просто, открыто и прямо; мне было легко подружиться с ней. Выражалась очень ясно и не оставляла вопросы без ответа. Ко времени нашего интервью ее состояние сильно ухудшилось, но со свойственным ей оптимизмом она предпочла не делать из этого мелодрамы. (*Прим. автора.*)

мы. Здесь умер один человек, но все это замалчивалось. Тогда просто жалели их, говорили: “Ах, они бедные”. Мы видели, как проявляется саркома Капоши, пневмоцистная пневмония. Нам рассказали, какие болезни со СПИДом связаны и что́ мы, как медсестры, должны предпринимать для безопасности. Я, конечно, боялась, тем более что мой муж только что вернулся из Эфиопии, он был воин-интернационалист[1]. Я даже старалась его избегать, потому что презервативом он не желал пользоваться ни в какую.

Мигель Анхель. Когда ты работала медсестрой, тебе приходилось контактировать с ВИЧ-инфицированными больными?

Каридад. Я знала многих больных СПИДом, потому что в феврале 1986-го работала в Военно-морском госпитале. Там я познакомилась с Рейнальдо, с Рамоном Костой, с Сырым, с Весной и с Хмырем. Ну, я-то их застала еще — сам подумай — здоровяками. Я тогда решила, не такая уж и страшная болезнь, просто нужно научиться с ней жить, как с диабетом. Диабетик же привыкает жить с болезнью.

Мигель Анхель. В каком году тебе поставили диагноз?

Каридад. В июне 1986-го.

Мигель Анхель. В тот момент ты еще жила с мужем?

Каридад. Нет, к тому времени мы уже разошлись. Меня сюда положили в июне, а разъехались мы в ноябре.

Мигель Анхель. Как ты отреагировала на диагноз?

Каридад. Я была в ИПК и из любопытства сдала анализ. И вот представь, врач из Корпоративного совета не хотела мне ничего говорить. Потом, наконец, звонит и говорит, нужно повторно сдать, потому что результат неясен. Все там было ясно, конечно. После второго анализа она сама с результатами приехала ко мне домой и при моих покойных родителях объяснила, что неизвестно — сколько мне нужно будет лежать тут: три месяца, четыре, может, год; тогда мало что знали про это заболевание.

Мигель Анхель. Какими были твои первые дни в этом Санатории?

Каридад. Довольно спокойными — зачем я тебе стану врать, — потому что я была подготовлена. Я уже видела таких больных, знала чуть-чуть, как вирус мутирует в крови. Знала,

1. Социалистическая Куба вела и ведет активную политику “интернационализма”. В частности, в 1970–1980 гг. кубинские военнослужащие и медики направлялись в страны Африки (в первую очередь, Анголу и Эфиопию) для участия в интернациональных миссиях. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.*)

куда еду, решила — буду представлять себе, будто я в доме отдыха. С первых минут все спрашивали, не скучаю ли я по родным. А как не скучать — родители и двое детей. Но я многое знала заранее, меня не обманывали, как других; многим-то говорили, например, что их за что-то арестовали или везут в суд давать показания. Я полностью осознавала свое состояние. Ну и конечно, сходу тяжело притираться. Тогда еще не было таких вольностей, как сейчас, чтобы, к примеру, выбирать себе соседа по квартире. Когда меня положили, нас в палате было восемь женщин, рядом в палате — еще восемь, а туалет был один на две палаты. Само собой, есть люди аккуратные, есть не такие аккуратные, кто-то вообще привык в грязи жить, и со всем этим приходится мириться.

Мигель Анхель. Расскажи об этом первом этапе.

Каридад. В то время все были еще плохо знакомы, и можешь себе представить, какие случались конфликты. Я вымою уборную, а за мной следом придет какая-нибудь и кинет туда незавернутую прокладку. Неприятно. Спали на койках, в ряд, есть ходили в обязательном порядке в столовую, в определенное время. Каждый день нам кололи интерферон и два раза в неделю — трансфер-фактор. Приходилось все время ходить с градусником, потому что температуру мерили каждый час. Постоянно в напряжении: ой, температура, ой, пора на укол, ой, обед. Выспаться никак, потому что интерферон ставили в пять утра. Мы верили, ходили на уколы, думали — вылечимся. Но потом вера пропала: все равно заболевшие рано или поздно умирают. Тогда мы еще не могли выходить из Санатория. Меня положили в июне, а первое разрешение на выход дали тридцатого ноября. <...>

Мигель Анхель. Сколько пациентов было здесь в первый год?

Каридад. Я номер шестьдесят два, то есть до меня лежал еще шестьдесят один человек. Но к концу года нас было уже сто один. Часть жила в здании, где теперь администрация, а гомосексуалисты — в корпусе "Радуга". Поначалу их сильно притесняли. Нам не разрешалось ходить к ним, а им — к нам. <...>

Мигель Анхель. Ты помнишь новогодние праздники в 1986-м?

Каридад. Роса Элена Симеон[1] сказала нам, что нас нельзя выпускать в город, потому что на свободе — мы все равно что

1. Доктор Роса Элена Симеон (1943–2004) — в момент создания Санатория — президент Академии наук Кубы. Позже — министр науки, техники и окружающей среды.

нейтронная бомба, и что, скорее всего, никто из нас не протянет и пяти лет. Она больше сюда не приезжала, но я ее жду. Приедет — скажу, что прошло уже восемь лет, а я все еще жива. Представь себе, такое она нам заявила тридцать первого декабря. Я попросила всю свою семью приехать, думала — это мой последний Новый год. Ливень в тот день был! А спрятаться некуда. Родственников не пускали в палаты, приходилось сидеть на скамеечках у входа или под манговыми деревьями. В дождь ютились у дверей в большой дом. <...>

Мигель Анхель. Ты помнишь, чтобы кого-нибудь наказывали?

Каридад. Сеспедес сошел с ума после того, как его наказали. Сеспедес был интернационалист, семь раз ездил в эти миссии. Из последней его доставили прямиком сюда, и он очень долго не получал письма ни от матери, ни от сына — у него сын есть. Он умирал как хотел разрешение на выход. Но тогда еще не давали — тем более он с востока, из Орьенте. Вот он и сбежал к семье. Вернулся в таком раздрае, что вошел через главные ворота и признался, что самовольно уехал повидать родичей. Оказалось, сын сидит, а мать умерла. Сестры не смогли ему сообщить, потому что не знали, где его искать, а он не знал их адреса в Гаване. Тогда его отправили в изолятор в "Радуге", потому что второй изолятор был переполнен после массового побега. Сам посуди — человек столько сделал для страны, стольким помог, а его в изолятор — за то, что хотел семью повидать... Он разбил молочную бутылку и порезал вены. Когда открывали решетку, рванул и добежал до самого Какауаля, а там упал в обморок от потери крови, тогда его и поймали. Потом отправили в тюрьму Комбинадодель-Эсте, а вернулся он уже такой, как сейчас; так в себя и не пришел. Говорят, мол, это у него слабоумие на фоне СПИДа, но я не думаю. Скорее уж, безумие на почве СПИДа. Здесь многих убивает не болезнь, а изоляция. <...>

Мигель Анхель. Правда, что вас заставляли ходить в пижамах?

Каридад. Сынок, нормальную одежду заставляли сдавать, а когда возвращали, она уже ни на что не годилась. Оставляли только трусы и лифчик. И выдавали пижамы. Больше ничего не позволялось. Чтобы в футболке и пижамных штанах — и думать нечего. Пижамный верх и низ — на Новый год, на Первое мая, на Десятое октября[1], если пришли навестить,

1. Десятого октября на Кубе отмечают годовщину начала Десятилетней войны (1868—1878) за независимость от Испании.

если не пришли навестить. Всегда в пижаме. Я отвыкла одеваться, приводить себя в порядок.<...>

Мигель Анхель. Ты иногда думаешь о смерти?

Каридад. Я думаю о болезни, потому что болезнь эта жестокая. У диабетика подскочит сахар в крови — и он умер; у гипертоника подскочит давление — и умер. А мы умираем потихоньку, каждый день у нас находят новые и новые непонятные инфекции. Я больше боюсь болеть, чем умереть. Если б у меня случился обширный инфаркт, это была бы хорошая смерть. Но чтобы медленно здоровье утекало, и все меня видели такой развалиной, и я сама себя видела тощей да с кругами под глазами? Не хочу, чтобы такой момент настал. И все-таки иногда я забываю, что у меня СПИД. Вот вчера случайно забыла, потому что такое похмелье было после воскресенья — не до чего.

Мигель Анхель. Что для тебя значит жизнь?

Каридад. Моя работа, мои дети, мой дом, мои друзья. Я всегда была очень веселая, а потом практически все потеряла. Хотя — я тебе говорила — ни одна моя подруга от меня не отвернулась.

Мигель Анхель. Ты кого-нибудь винишь в своей болезни?

Каридад. Никого. Заразил меня мой покойный муж, но он же не насильно меня заставлял заниматься с ним любовью. Он вернулся из Эфиопии уже больной и не знал об этом. Его положили в мае, а меня в июне 86-го. Все его ругали, что он меня выдал. Но что ему оставалось: я была на свободе, могла еще кого-то заразить.

Мигель Анхель. Что ты думаешь о социальной реинтеграции?

Каридад. Сынок, я тебе скажу прямо. В данный момент я против реинтеграции, из-за того, что творится в стране. Я тут восемь лет, у меня вторая группа, особых проблем нет (перенесла только васкулит, из-за комаров), и сейчас я уже вряд ли вернусь. В моем-то возрасте, ты думаешь, я смогу усесться дома на глазах у детей и уплетать мясо, которое мне по инвалидности полагается? Да ни за что.

Мигель Анхель. На тебя когда-нибудь давили, чтобы ты вернулась?

Каридад. Хорхе Перес и Ллойд[1] говорили со мной насчет этого, и я сказала, что не вернусь — из-за экономической ситуации в стране. Я так долго протянула как раз благодаря здешнему питанию. Дома иногда есть бывает нечего, сколько

1. Хорхе Перес Авила — директор Санатория Сантьяго-де-лас-Вегас; Альберто Ллойд — психолог Санатория.

ни ищи. У большей части вернувшихся возникли трудности. На меня тяжелое впечатление произвело то, что Франк и Тони скончались. Отсюда они вышли крепкими людьми, а когда я потом увидела Тони в ИПК, он уже никого не узнавал. Понятно, что у него были и депрессивные моменты — у матери рак. Да только мать жива до сих пор, а он умер.

Мигель Анхель. Что ты думаешь о беспорядочных связях? Считаешь, что это возмутительно или что это личное право каждого?

Каридад. Это выраженьице стало популярным, после того как появился СПИД, потому что кубинцы по своей природе очень охóчи до половых отношений. Раньше было куда больше случайных связей, чем теперь. Я так говорю, потому что у меня молодой сын. Раньше он знакомился с девушкой в "Тропикале" и сразу же в койку. Теперь он осторожнее, потому что знает, что со мной стряслось. С другой стороны, у какого гомосексуалиста не было беспорядочных связей? У них тоже свои потребности, иногда им трудно подобрать себе пару. Вот они и ищут, а пока ищут — ведут себя беспорядочно.

Мигель Анхель. Ты считаешь, что случайного любовника нужно ставить в известность о твоем ВИЧ-статусе?

Каридад. Нет. Я не собираюсь заводить случайных любовников, но, если вдруг такой появится, ему не обязательно об этом знать, потому что я не пойду на опасный секс. Может, у нас будут какие-то сексуальные игры, но от них СПИДом не заразиться.

Мигель Анхель. Твоя жизнь стала лучше в последние годы?

Каридад. Она изменилась с 1989 года, когда нас отдали в ведение Минздрава[1]. Теперь я чувствую, что меня больше уважают. Я могу сесть и поговорить с директором о моих проблемах, и он меня выслушает. Не всегда проблема решается, но, по крайней мере, я могу ее до него донести.

Мигель Анхель. Ты думаешь о бессмертии души?

Каридад. А как же.

Мигель Анхель. Ты надеешься достичь в иной жизни того, что не смогла сделать в этой?

Каридад. Очень трудно ответить на такой вопрос. В царствии Божием, как говорят католики, — я не католичка, я сантера[2] — ты отходишь на второй план. Тебе ставят стакан воды, читают по тебе панихиду, и все обиды остаются на земле.

1. Ранее Санаторий Сантьяго-де-лас-Вегас находился под контролем кубинских вооруженных сил.
2. Сантера — человек, исповедующий сантерию, — один из синкретических афрокубинских культов, смешивающий католицизм и верования йоруба.

Туда ты с собой ничего не унесешь. Считается, что в царстве мертвых наступает покой.

Мигель Анхель. Ты думаешь о счастливом конце?

Каридад. Я никогда не теряла надежды[1].

Я люблю свою работу. Иван Коралес[2]

В самом начале, когда я только поступил на работу в Санаторий, моя теща рассказала мне, что одна соседка видела меня с типом, который смахивал на голубого, и решила предупредить ее дочку, то бишь мою жену: если муж замешан в таких делах, уж лучше узнать пораньше. Меня такие сплетни сильно ранили, было очень неловко, потому что слухам недолго и по всему району разнестись. К счастью, теща сумела ей втолковать, что я работаю в Санатории для больных СПИДом и что это как раз моя работа — сопровождать этих людей всякий раз, как им нужно куда-нибудь выйти. Из-за этого в моей семье сложилась довольно напряженная обстановка, но на сегодняшний день я уже преодолел предрассудки и сопровождаю всех без проблем. Я осознаю, какова моя роль. Я готов к любым неожиданным трудностям и недоразумениям.

Я поступил на работу первого марта 1989 года. Как раз искал новую работу, потому что у нас сокращали штат, и я подпадал под увольнение. Случайно узнал, что в Санатории есть вакансии, пошел, и меня взяли сопровождающим. Первым делом мне сказали, чтобы с моей стороны не было никаких предрассудков, никакого неприятия к тем, кто здесь лежит, потому что сопровождать нужно всех, вне зависимости от их ситуации; так что психологически я был готов. Само собой, на улице, если пациент привлекал к себе внимание, если он попадался такой манерный, что все на него смотрели, я слегка стеснялся: меня ведь тоже могли принять за такого, и определенный комплекс у меня был. Со временем я это переборол, но пришлось нелегко, чего уж там.

В первые недели в Санатории я мало знал о том, как передается вирус, и боялся комариных укусов, боялся пить из больничных стаканов; обедать спокойно не мог в столовой

1. Каридад Сесар умерла через пять месяцев после этого интервью, 3 марта 1995 г., от СПИДа. (Прим. автора.)
2. Сопровождающий, сотрудник санатория. Его рассказ записан 23 июня 1996 г. (*Прим. автора.*)

для персонала, меня даже мухи пугали. Но, как я уже сказал, это все позади, коллеги помогли справиться. <...>

Первые мои выходы с пациентами были очень шокирующими, но многому меня научили. Я увидел много такого, о чем и понятия не имел, а про другое, если и слышал раньше, то сам никогда с ним не сталкивался. Попадал в кошмарные места, где проходят особые ритуалы сантерии, обстановка жуткая, низы общества. Я там болтался, как потерянный: задавался вопросом — а что я-то здесь делаю, как я оказался с этими людьми, в этой антисанитарии, в трущобах, где и стакан воды попросить боязно.

Узнал, что большая часть молодежи в этой стране курит марихуану, принимает кокаин и таблетки: паркинсонил, декседрин — словом, стимуляторы, наркотики. В Санатории наркотиками баловались многие пациенты из тех, что называют себя рокерами, — и мужчины, и женщины, — но на улице, когда их отпускали на выходные, это было просто массовое явление, и один человек за ними не в силах уследить. Всем известно, что от стимуляторов люди становятся агрессивными; и вот подходит полицейский — потому что видит, что человек странный, с длинными волосами, одет вычурно, как они это любят, творит незнамо что, — и спрашивает документы, а тот уже взбесился и лезет с ним драться. Я не раз попадал в полицию, прямо в наручниках забирали вместе с пациентом. Иногда и рта раскрыть не дадут, объяснить, что я сотрудник Санатория. Нажил с этими рокерами головную боль, шишек набил. Как-то раз меня просто вывели из строя: по шее и из баллончика в глаза. Я не успевал ничего сказать, меня сразу же причисляли к остальным. Однажды было такое, что в самом Санатории мне не поверили, засомневались. Я попросил, чтобы мой начальник с полицейскими поговорил по телефону, а он мне в ответ, что я пьяный, что за это меня и избили, что я, поди, денег им на ром дал. Да не пьют эти ребята, только таблетки принимают. Тяжело терпеть, когда ты все время в таких местах и с такими маргиналами, и твоя репутация под угрозой.<...>

Я здесь, потому что люблю свою работу и мне близки проблемы пациентов. Я думаю, что моя работа очень нужна, потому что некоторые не осознают своей болезни и не всегда сообщают тем, с кем у них половые отношения, о своей ВИЧ-инфекции. Я знаю многих, кто, будь у них такая возможность, и глазом бы не моргнули, не говоря уже об угрызениях совести; им плевать, что они могут кого-то заразить. Вот для этого и существует сопровождающий, чтобы такие вещи предотвратить.

И все же сопровождающий не всегда может вмешаться, он же сидит в гостиной, не имеет права заходить в спальню и

другие комнаты. Однажды пациент сказал мне, что приляжет. Я три часа, как дурак, просидел, а он, оказывается, был там, у себя, с мужчиной. Потом я узнал, что он за это время успел аж татуировку себе выбить, а я ни сном ни духом. Выходим мы из дома, и он совершенно спокойно показывает мне татуировку. И такое случалось не раз, у меня с несколькими пациентами были подобные ситуации. Поэтому даже не знаю, насколько важна роль сопровождающего, все равно же облапошат. <...>

Мне труднее всего с рокерами. С ними нужно быть очень внимательным, потому что они больше всех колются и оттого перестают быть собой, становятся другими людьми. В сексе не знают удержу, устраивают групповухи, меняются партнерами, даже шприцами с инфицированной кровью меняются. Рокеры — одна из тех групп, что быстрее всего распространяют эпидемию. Я знал одного фрика (рокера), так вот он явился радостный, потому что достал шприц с кровью ВИЧ-инфицированного и себе ее ввел, даже показал мне след от укола на руке. Сейчас он тоже пациент Санатория, а тогда ему было всего четырнадцать. Я спросил — зачем, а он сказал, что матери до него дела нет, а отец был адвокат, и его зарезал зэк в отместку за то, что он его от тюрьмы не отвел. На глазах у пацана. Тот остался на улице, никому не нужный, да еще скрывался от какой-то банды, которая обещала его почикать, ну, тоже зарезать, в общем, убить. Так что, как он сказал, за ним шла охота, и лучше ему жить в Санатории, где безопасно, где еда, кондиционеры, цветной телевизор; решил лучше пять-шесть лет прожить спокойно, чем так, как на улице.

Фрики обычно собираются на Малеконе, где Альмендарес впадает в море, у ресторана “1830”. Так вот там произошел очень неприятный случай с парнем, он работал сопровождающим в Санатории и был очень серьезный, а может, просто старался неукоснительно следовать инструкциям. По-видимому, он не нашел общий язык с пациентом. Ему было противно там находиться, и как-то он повел себя излишне требовательно, отгородился от них, пытался понукать. Ну и фрики его чуть не забили бутылками.

Поэтому я стараюсь поладить с каждым, кого мне надо сопровождать. Что касается явных голубых, про которых всем сразу же все ясно, потому что это бросается в глаза, то и с ними у меня случалось всякое. Вот недавно я поехал с пациентами. Вышли они из Санатория нормально одетыми, но вечером, “на променад”, как они сказали, нарядились женщинами, накрасились, туфли на высоких каблуках надели. В таком виде

я их и сопровождал, сначала пешком, потом на "верблюде"[1] до самого Парка Братства. Меня могли принять за мужа одного из них. <...>

И не только с рокерами, не только с голубыми; приходилось ввязываться в уличные драки, в драки на танцах, есть же такие обидчивые: чуть что — и затевают мордобой, и до крови дело доходит. В таких случаях начальство велит нам держаться подальше, но почти всегда ты встаешь на защиту пациента. <...>

Многие сотрудники Санатория считают меня ненадежным, потому что иногда, если замечаю несправедливость, я принимаю сторону пациента и стараюсь, невзирая на характер своей работы, чтобы пациенту было со мной хорошо. Я не хочу, чтобы то время, что мы проводим вместе, запомнилось ему чем-то неприятным, делаю свое дело как можно мягче. Стремлюсь вести себя не как охранник, а как друг, приятель. Тогда пациент чувствует себя спокойнее, рассказывает мне о своих проблемах. Иногда удается помочь, например, подстраховать в каких-то инстанциях, где-то договориться, где-то просто поддержать своим присутствием. Мне часто приходилось спорить с невежами, вставать на защиту наших ребят — иногда в личных конфликтах, иногда в каких-то учреждениях. <...>

В этом смысле, должен признаться, я не всегда четко выполняю свои обязанности. Пациента вроде покойного Уильяма Тамайо я бы ни за что не оставил одного и на секунду, потому что он был конченый наркоман и мог выкинуть что угодно. Его, к сожалению, нужно было держать под контролем все время, и даже в моем присутствии он умудрялся ввязываться в разборки с полицией. Но есть и другие пациенты, у которых прекрасные дом и семья, свои привычки, свои устои; с ними мне как-то неловко быть сопровождающим. Я знаю, что им можно доверять, что родственники о них заботятся. Минут через десять я говорю, что проведаю друга по соседству, а сам сажусь где-нибудь в парке или в кафе на углу улицы и жду, пока пациент пообщается с семьей без всякого сторожа, который только мешается и вообще ни к селу, ни к городу. Я знаю, что это запрещено и может стоить мне работы, но все равно считаю, что есть пациенты, не нуждающиеся в сопровождении, пото-

1. Общественный транспорт в Гаване, официальное название — метробус. (*Прим. автора.*) Представляет собой два сваренных между собой автобуса (отсюда — видимость "двугорбости"), приводимых в движение военным тягачом. Вмещает до 400 человек. Использовался в Гаване примерно с 1993 по 2008 гг., являлся частичным решением транспортной проблемы во время Особого периода. (*Прим. перев.*)

му что они люди серьезные, осознающие свое положение, и они не станут бездумно распространять вирус.

К большинству пациентов Санатория постепенно привязываешься, ведь мы проводим вместе целый день, и таких дней много, и часто узнаешь такое, чего ни врачи, ни психологи не знают. Это помогает найти общий язык, вникнуть в их жизнь. Мне очень больно, когда здоровье кого-то из пациентов начинает ухудшаться, когда они перестают быть прежними людьми, худеют, говорят вполголоса, ходят мелкими шажочками. Я не могу этого видеть. Даже стараюсь не подходить к палате наблюдения, где лежат самые тяжелые. Вот сейчас там один парень, мы с ним очень дружим; мне сказали, он совсем плох, а я все не решаюсь его навестить. Не хочу его таким видеть. Вот что самое страшное в моей работе, я человек чувствительный, и как навалится это — впадаю в тоску. Потом дома думаю-думаю, из головы не идет.

Хотя я тебе рассказал все больше о неприятных моментах, я думаю, что это прекрасная работа, когда ты рядом с человеком, которому нужна защита, прибежище. Я уже не стесняюсь сопровождать того или иного пациента; я уверен, что достойно справлюсь с любыми трудностями. Работа очень обогатила меня как личность: Санаторий — все равно что школа жизни. Я поступил сюда в двадцать шесть лет, тогда я не знал, что на Кубе столько гомосексуалистов, трансвеститов, наркоманов. Я думал, наркотики все в Колумбии. А после всего увиденного я по-другому смотрю на жизнь и на людей, конечно же. Ничему не изумляюсь, знаю свое место. Насколько позволяет должность, стараюсь помочь людям, отвести беду все равно от кого — будь он голубой, бисексуал, наркоман, палеро[1], сантеро, игрок. Главное, я научился уважать принципы любого человека.

1. Последователь пало — группы афрокарибских культов, восходящих к верованиям народностей банту.

Гильермо Кабрера Инфанте

Из "*Книги городов*"

Перевод Бориса Дубина, Дарьи Синицыной

Похвала городу

НЕ человек изобрел город, скорее город создал человека и его нравы. Испанское *urbanidad*, означающее "хорошие манеры", происходит от латинского слова "город". Каким мы его знаем, город зародился, возможно, между шестым и первым тысячелетием до нашей эры в Азии. Но лишь в Греции город-государство, или *полис* — то есть сама идея города — достиг пика развития в том, что Аристотель называл "жизнь сообща ради благородной цели". Город Рим, краеугольный камень Римской империи, выстроенный первоначально без всякого плана и порядка, дорос до того, что стал примером для многих других городов, созданных по его образу и подобию. При Антонинах Рим населяло почти два миллиона человек, причем богатые жили в роскоши, а бедные — в нищете, последние положили начало тому, что ныне зовется бараками, коммуналками или же *соларами*[1].

Но не раз город разрушался человеком, возомнившим, будто создал его. По легенде, Нерон сжег Рим, но Рим отстроился и живет в наши дни: уникальный город — пособие по истории. Римские эпохи обосновались в его руинах. Это, разумеется, Вечный Город. Другие города, такие, как Берлин и Гавана, были разрушены войной или бездеятельностью своих правителей. Вообще-то Гавана сегодня более всего напоминает город, подвергшийся бомбардировкам, только не с воздуха, а изнутри. И если Берлин, как Рим после пожара, восстановился, то Гавана хранит

© 1999 Guillermo Cabrera Infante
© 1999, Grupo Santillana de Ediciones, S. A.
© Борис Дубин, наследники. Перевод, 2015
© Дарья Синицына. Перевод, 2015

1. *Соларом* в Гаване называется старое здание, зачастую дворец колониальных времен, разделенный на множество маленьких комнат. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

странную красоту в развалинах. Хотя, вслед за Горацием, я всегда повторяю, что руины не возмутят моего спокойствия.

Поэтому в других городах я ищу великолепие того, что было Гаваной.

Мое теменное окошко

СОГЛАСНО чьему-то изречению, архитектура — это застывшая музыка, хотя никто никогда не называл музыку растаявшей архитектурой. Хорошо еще, что это всего лишь verbum non facta[1], а то ведь прародитель всех эстетов Патер[2] однажды сказал, будто любое искусство стремится перейти в состояние музыки. Так или иначе, все как будто напрочь забыли самое очевидное: если не говорить о нескольких книгах, архитектура — единственная возможная форма истории. В иных случаях никакой словесности не сохраняется, и тогда лишь архитектура остается немым, но красноречивым свидетелем происшедшего. Одно здание дороже тысячи слов, поскольку его стойкий образ наяву стоит перед нами. Можно вспомнить о Древнем Египте, Персии или том Китае, где первый император уничтожил "все книги", чтобы стереть прошлое, но где единственная человеческая постройка, видимая глазами богов, Великая Стена, — это не результат труда военных инженеров, а несокрушимое творение Безымянных Архитекторов.

От солидной викторианской эпохи в Англии остались разве что несколько сомнительных и устаревших моральных предписаний, многословные романы Диккенса и, последний писк, ожившая Викториана — бесчисленные комедии Чаплина. Но и сегодня перед нами все еще высится здесь и там архитектура, которой королева Виктория обессмертила своего почившего принца-консорта (Мемориал принца Альберта, Альберт-холл), а попутно и саму себя (музей Виктории и Альберта) в виде монументов, достойных именоваться королевским китчем и определивших стиль повседневной жизни в terraced houses[3], имеющих мало общего с их названием, в mews[4] да и просто в фасадах тянущихся вдоль улицы домов.

1. Слова, не дела (*лат.*).
2. Уолтер Патер (1839–1894) — английский искусствовед, идеолог эстетизма.
3. Блокированная застройка (*англ.*).
4. Группа зданий, изначально использовавшихся как частные конюшни, а затем превращенных в жилые дома, либо небольшая улица, аллея, застроенная такими зданиями (*англ.*).

Если дверь совершенно необходима, чтобы войти в комнату (и выйти), то об окнах того же сказать нельзя. Не бывает бездверных зданий, зато безоконные случаются: пирамиды и храмы майя и сушильни для табачных листьев на Кубе. Греки, по своему строю и устройству, предпочитали окошкам открытую агору. Никто, насколько известно, никогда не слыхал о налоге на двери, а в Англии вот вводили tax на окна вместо таксы на чай. Чтоб — буквально — не ходить далеко: у моего дома в Южном Кенсингтоне, выстроенного в викторианскую эпоху на расстоянии выстрела из рогатки от Долины Памятников (читай Гайд-парка), несколько окон замуровано в память о тех пораженческих временах.

Но есть в нем и одно достославное окошко — так оно и зовется: Глориана, — выходящее на череду арок, архитравов и голых кирпичных стен тех времен, когда кирпич делали еще не машинами, а вручную, и он превращался в произведение гончарного искусства, украшая внешний облик города. Это окошко, поверьте мне, просто откровение.

Я знаю лишь одно подобное окно, средневековое, но обращенное игривой волей безымянного архитектора в ренессансное. Это знаменитая фенестра на фасаде дома Якова Сердца (Жака Кера[1]) во Франции; оттуда высунулся нахального вида любопытный, разжигающий наше любопытство, — да так и застыл навечно. Или на пять веков. Этот зевака в натуральную величину — скульптура, а все окно, напоминающее скорее короткий балкон, — не более, чем искусный trompe d'oeil[2]. Любопытно: мое окошко в Лондоне — trompe d'oeil наоборот.

Английское окно, старое, как правление Тюдоров хладных (впрочем, и горячих: а как же Генрих VIII, как же Елизавета I), следовало бы изобрести во Франции на два века позже, когда доктор Игнас Гильотен предложил его Учредительному собранию в 1789 году. Это окошко, известное как sash window[3], — форменная домашняя гильотина, и не один несчастный сложил под ним далеко не аристократическую голову. Состоит конструкция, которой впору именоваться Луизеттой[4], из двух плотно подогнанных друг к другу отвесных рам, поднимающихся и опускающихся с помощью шнурка, снабженного скрытым противовесом, массивной железной гирькой. Открытие этого ро-

1. Жак Кер (1400–1456) — французский промышленник и государственный деятель.
2. Обман зрения (*франц.*).
3. Подъемное окно (*англ.*).
4. Неофициальное, бытовавшее в эпоху Французской революции наименование гильотины.

кового окна – скорее подвиг Геракла, чем часть домашней рутины. При малейшем воздействии (и без него) верхнее лезвие опускается с идеальной для обезглавливания скоростью, как того желал добрый доктор Гильотен, гуманный революционер. Артефакт, радикальное средство борьбы с кривошеей, надо сопровождать французской надписью: "Defense de se pencher au dehors"[1]. Или еще более уместным Дантовым предупреждением: "È pericoloso sporgersi"[2].

(Эта присказка с окнами на заднем плане – к сказу о моем окне, каковое – повторяюсь не я, а мой дом, – есть как раз окно на заднем плане.)

В отличие от выдуманных окон Хичкока, каждое из которых trompe d'oeil (кино вообще – не более чем trompe d'oeil плюс звук, то есть trompe d'oreille[3]), мое окошко – сама скромность: в нем никогда никто не толпится; всем происходящим оно обязано чужой воле или ее отсутствию. Это не жалкое лицемерное отверстие; оно не склонно к просопопее или, тем более, эпопее. Мое окошко инертно. За ним не разглядеть ни комедии, ни драмы, ни, паче чаяния, мелодрамы. Видно только чахлую английскую природу (или ее представителя: неизменно сухое дерево) и ту застывшую историю, которая есть архитектура (читай выше). Изредка можно заметить кого-нибудь (разве что астеничного каменщика в белом комбинезоне, неприметных соседей да вездесущих воробьев), а ведь человеческие существа оставляют след и собственным отсутствием, вроде той бледной тени на призрачных ступенях, в которую чудовищный фонарь Бомбы превратил безвестного хиросимца, взобравшегося на стремянку и красившего свой дом в тот миг, когда.

Мое волшебное окошко лежит в посюстороннем мире. Его две выкрашенные в цвет слоновой кости (или жемчужно-белый: зарегистрированные торговые марки в наши дни всякую краску возносят до небес) зловещие рамы состоят из восьми стеклянных полотен каждая. Не в пример книге, открывается окно с пресловутым титаническим усилием. Упражнение в этом дьявольском искусстве доказывает, что система враждебна не только природе, но и, увы, человеку (каждое "увы" воскрешает в памяти утраченный палец). Проветривание с помощью моего окошка равносильно приглашению в гости самых традиционных воздушных потоков, являющихся прямиком с

1. "Высовываться запрещено" (*франц.*).
2. "Высовываться опасно" (*итал.*).
3. Обман слуха (*франц.*).

Северного моря. Попытка открыть его представляет подчас опасную зарядку, но попытка закрыть неизменно угрожает членовредительством человеку несведущему — отсюда непременные пространные предупреждения со стороны сведущего. Не трогать его означает обречь себя на созерцание пейзажа из темницы. Мой пейзаж охотно работает на это наказание: я чувствую себя Казановой, пожизненно заключенным в Пьомби.

За окном встает сплошная голая кирпичная стена, с виду грязная, но в действительности траченная временем. Она напоминает Лондон с работ Доре, вечно угрюмый (может, оттого что гравюры черно-белые). За стеной простираются шесть головокружительных арок. Не знаю, косые они, поперечные или ланцетовидные (нота бене, не забыть: справиться у Оскара Тускетса[1]) под этими своими аркбутанами. Такой системы тензоров ожидаешь от храма или, по крайней мере, некоего грандиозного сооружения: музея, например. Но не тут-то было. Арки и аркбутаны поддерживают заурядный четырехэтажный дом, и вся польза их, как и у волют английской неоготической архитектуры (скажем, в этом храме науки — Музее естественной истории, тут же за углом), как сказал бы экс-эстет Теодор В. Адорно, вздорна, и только. Кирпичные арки перемежаются, будто в жестоком приступе горячки или опийном видении пиранезиевских "Тюрем". В глубине виднеется одинокая винтовая лестница (называемая здесь *spiral*, что, возможно, происходит от *spy*, — железный шпион), чьи повороты и завихрения ведут прямиком в никуда. Уходящие вдаль арки — повседневный вид, вызывающий вековое головокружение, если смотреть на них подолгу. А если вы — я — привстанете немного со своего — моего — стула, то увидите — увижу — в глубине высокую черную металлическую дверь, всегда закрытую. Что за ней? Лучше не знать, ведь в худшем случае там — я.

Справа, за голой, старой или траченной временем стеной возвышается здание без дверей и с окнами, замурованными не временем, но человеком, а именно англичанином, которому противна мысль об уплате налогов. За прочими окнами, всегда закрытыми, никого не разглядеть, а может, и некого разглядывать. Одно окошечко, видимо небольшой ванной комнаты, затянуто сплошным, как бы приморожденным стеклом, что зимой, под Рождество, создает прелестную зрительную тавтологию: снег на снегу. В недоброе лиловое время (осенью) вдруг проявляются вздутые желобки, возможно, от-

1. Оскар Тускетс (р. 1941) — каталонский архитектор.

ражения, старящие окно: внезапно оно становится произведением арт-деко. Весной на изгородях и стенах, между бурыми кирпичами, растет зеленый мох.

Выше, в четырех этажах над задним двором, — еще одна гладкая кирпичная стена, воспаряющая в счастливой головокружительной диагонали к каминным трубам. Дальше — только небо (если нет туч). Скученные каминные трубы напоминают горделивую выставку ненужной керамики. Из них никогда не идет дым, но не могут же эти черепки быть просто украшением. Летом, и только летом, тень другой стены, выходящей, вероятно, на боковую улицу, создает чистейшую полосу света, бегущую параллельно краю диагональной стены. И тогда кажется, что все это (стену, тень, рассекающий ее световой клинок) спроектировал верховный архитектор бесконечным невидимым угольником, будто наклонным горизонтом. Но это не линейка Бога, это линия жизни.

1991

Лидия Кабрера
Лес

Перевод Ольги Светлаковой

У кубинских негров их традиционные верования в лесных духов оказались поразительно прочными. Там, в глубине кубинской сельвы, — точно так же, как в африканских лесах, — живут те же могущественные духи предков, от благорасположения которых по-прежнему зависит вся жизнь племени, его победы и поражения, счастье и несчастье.

Негр на Кубе живет в плотном окружении тропического леса, заходит в самые его дебри, и он не сомневается, что там-то и расположились привольно, как в собственном доме, те невидимые сверхъестественные существа, которые всегда рядом с ним, которые прямо с ним общаются: боги и духи лесов. Эти невидимые — а порой и видимые — существа могут быть в любом месте леса, и потому любое его место священно. "Лес — священное место", потому что там всегда есть ("там живут") эти таинственные божественные обитатели. "Святые есть на небе, но есть они и в лесу".

© Centro de Estudios Martianos, 1985
© Editorial Letras Cubanas, 1993
© Ольга Светлакова. Перевод, 2015

Самая жизнь происходит от леса: "все мы дети леса, потому что там зародилась жизнь; святые — из леса, и наша религия тоже", — так говорил мне старый знахарь Сандоваль, потомок эггудов. "В лесу есть всё, там основа жизни, и, если тебе что нужно, проси у леса — он всё нам дает". Такие и тому подобные объяснения устройства мира ("жизнь вышла из глубин сельвы, мы дети леса" и прочее) показывают, что для кубинских негров лес заменяет землю-прародительницу, источник плодородия. "Земля и лес — это одно и то же".

"Там живут Элеггуа, Огун, Очоси, Око, Айе, Чандо, Алагуна. И там же все мертвые — эггуны. Элеко, Икус, Ибайес... Лес полон мертвецами! Все мертвые всегда уходят в лесную чащу".

"Еще в лесу живут все Эшу — нечистые духи; все Иви, и аддулум, и айе, и арадье; там же прячется Мразь, а еще Ийондо, зловредные сущности, порождение тьмы, все они замышляют дурное. И еще всякого рода странные чужие существа с того света, все они призраки, ужасные на вид. На том свете есть и жи-

вотные — Кенено, Кьяма, Колофо, Арони, спаси нас господи от встречи с ними!"

Ясновидящий негр-колдун, замерший в одиночестве в густой чаще леса, ясно различает в зеленой мгле растительности эти поражающие его воображение фигуры, этих карликов и демонов, порожденных лесом. Мой дорогой учитель Хосе де Каласан Эррера доверительно поведал мне однажды: "Клянусь своей бессмертной душой, я видел ее — эту голову здоровенного негра, волосатую, как паук, а из ушей тянулись ноги, переходившие в ветви, и он мне подмигивал". Не станем подвергать сомнению искренность говорившего и ужасающую подлинность этой головы, рожденной зеленым полумраком лесной чащи и человеческим страхом, как и своеобразную реальность других подобных видений, которые для верующей в них души негра ничем не отличаются от самой истинной реальности. Чтобы лучше понимать кубинского негра, рассказывающего свои байки, чтобы уяснить природу его необычной, но несомненной искренности, мы должны всегда помнить о его очень сильной склонности — и способности — к самовнушению; тогда нам станет яснее, как те нелепости, которые он говорит, когда-то в минуту такого самовнушения запечатлелись в его сознании с непреложностью истины, добытой опытом.

Достаточно ему пересказать другим несколько раз свои поэтические видения, как они тем самым незаметно становятся для него самого чем-то, что случилось реально, то есть фактом. Эта легкость самовнушения, строго говоря, характерна не только для негров; и все же именно она объясняет многие их особенности: их доверчивость, их пылкую религиозность, наконец тот постоянный и прочный контроль над жизнью племени, который имеют колдуны и колдовство.

Лес — это место естественного обитания различных сверхъестественных духов, которых мои информаторы разного возраста, люди серьезные и честные, убежденно уверяя меня в этом, "видели собственными глазами". Лес, конечно, опасен для того, кто беспечно входит в него, не приняв мер предосторожности. Всё природное и понятное таково лишь по видимости, в любую минуту оно может выйти за свои обманчивые границы и сделаться сверхъестественным: вот правда, которую не знали — или с течением времени забыли — белые люди. В большинстве своем эти ужасные на вид духи, что прячутся в кустарнике и подлеске, и лесные божества, что живут в гигантских фикусах и сейбах, — все они, и благорасположенные к людям, и вредоносные, отличаются, как положено языческим божкам, редкостной мнительностью и обидчивостью. Добавлю, с разрешения моих информаторов: и корыстолюбием тоже. Надо хорошо знать требования лесных богов и действовать в строгом соответствии с ритуальными процедурами, установленными как самими духами ("в лесу есть свой за-

кон"), так и африканскими предками креолов, когда-то передавшими им эту мудрость. Чтобы лес был благосклонен к человеку, чтобы помогал ему в его нуждах, надо уметь прежде всего "войти в лес". Лучше меня об этом скажет Габино Сандоваль, который по праву гордится тем, что понимает в предмете "всё до конца" и умеет хорошо подобрать примеры:

"Представьте себе, что Эго (лес) — это храм. Белый идет в церковь просить Иисуса, или Деву Марию, или других небожителей сохранить ему то, что он имеет, или дать то, чего он просит. Он идет в храм просить о насущном... ибо что может человек без помощи Бога? А мы, негры, идем в таком случае в лес, это и есть наш храм, там наши святые и наши мертвые, и мы просим их сохранить нам здоровье и помочь в делах. Ну так вот: вы же в чужой дом входите вежливо, соблюдая почтительность к хозяевам? Так еще больше почтительности надо выказывать святым и духам в лесу, в их собственном доме. Белый ведь не войдет в церковь, как Педро к себе на кухню? Что подумает Христос, если вы повернетесь спиной к алтарю, когда будете просить его о здоровье, да о помощи, да о том, да о сем? Он обидится; если и будет вас слушать, не обратит на ваши мольбы внимания. На всё есть своя манера... спиной ни к одному святому, ни к одному духу не надо поворачиваться. В лес, где так много святых, умерших душ, лесных божеств, тоже нельзя входить кое-как, не зная приличий и правил. И тем более, если вы намерены о чем-то просить". Только в лесу негр берет то, что нужно ему для его магии, без которой не сохранить здоровья и благополучия, не найти по-настоящему мощных средств защиты от врагов — а также средств нападения на них. Потому-то, прежде чем взять из лесу нужное ему растение, ветку или камешек, он должен благочестиво испросить на то разрешения, а главное — возместить лесу взятое: табаком, или ромом, или деньгами, а в некоторых случаях и кровью жертвенного животного — цыпленка, петуха. Такова дань лесу, и все должны ее платить. "Дерево — еще не лес", а в лесу каждый куст, каждое дерево и травка обитаемы, имеют хозяина, и границы их владений проведены очень четко.

"Если вы не будете почтительны, — наставлял меня Баро, — лес не даст вам даже травинки, от которой будет толк. Не забывайте, что наши негры все одушевляют, и лес тоже одушевлен: если с ним не считаться, не платить дань, не кланяться ему, *он рассердится*".

Самый наглый воришка в племени, находясь в полном одиночестве в лесной глуши, никогда не посмеет взять ни малейшего побега, потребного для колдовства, без исполнения полной процедуры принесения дани, без боязливого приношения своих медных монеток страшному и всесильному хозяину леса.

М. К., который едва ли не каждое полнолуние углубляется в лесные дебри, прежде всего приветствует лесной ветер

словами "Тие-тие масимене", то есть "Добрый день!". И продолжает: "Ндьямба лувенья, тие-тие. И ты, ндьямбо, которого я мбоба мпака мему сунансила яри-яри", и еще: "Самбьянпунго мои глубокие куна лембо Нзаси лумина. Тебе, Нгуе, мой поклон, куенда масондо, мбоба нсимбо. Нсаси Лукаса! Па куэнда мполо, матари Нсаси"... Что на языке конго означает: "Боги, позвольте мне войти". В общих чертах речь М. К., обращенная к лесу, гласит: "Смотри, что я тебе даю для того, чтобы ты мне разрешил взять все нужное для талисмана, или притирания, или чтобы мне взять несколько камешков у духа Нсаси".

Он знает, что без этих церемоний у взятого в лесу не будет самого главного — его волшебных свойств, его души.

Слишком уж важную роль играют деревья и травы в религиозной мистике кубинских негров, как, впрочем, и всех смешанных народностей Кубы, чтобы они могли себе позволить, по выражению Каталино, "изменять лесу".

Нет святого ("ориша") без Эве, и нет Нганга, Нкосо или колдовства без Витити Нфинда. Деревья и все растения имеют душу, разум и волю, как и все, что рождается, живет и растет под солнцем, как каждое явление природы, как все сущее. Именно так веруют, буквально так, все мои многочисленные собеседники. "Нынче мой "мар-пасифико" (кубинское название гибискуса) не захотел мне дать ни одного цветка. Ну ни одного! Он наказывает меня в этом году; посмотрим, что будет в следующем, — жалуется мне женщина. — А дело в том, что я, не подумав, дала соседям по их просьбе несколько его листочков, ему-то и не понравилось. Теперь он хочет, чтоб ему их возместили. Ну так он прав. Вы же знаете: нельзя давать листочки мар-пасифико просто так, даром, как и листочки серебряного дерева" (то есть лоха узколистного).

Пусть о каком-либо растении и не известно достоверно, что оно является престолом лесного духа, не беда: его владелица сама наделит это растение различными превосходными свойствами, как бы давая ему душу. Но ведь и христианские народные верования, вбирающие в себя огромную, универсальную предшествующую традицию, предполагают чудесные свойства трав и древес; одни растения обладают этими свойствами, потому что росли на Голгофе, другие врачевали раны Господа нашего, третьи были насажены некогда самой Пречистой Девой, восприняв от ее рук благодать. А иные вредоносны, ибо в их рост вмешался дьявол, который вечно во все вмешивается.

В глазах негра растения целительны, обладают магической силой, и он не может обходиться без их ежедневного использования, а стало быть, без постоянных молений духам леса, тем деревьям, кустам и травам, в которых лесные божества обитают. "Эве" и "Витити Нфинда" нужны ему всегда, каждую минуту. Магия — необходимая часть жизни наших негров, их не покидает надежда когда-нибудь

подчинить себе скрытые силы леса, заставить эту мощь слепо себе повиноваться.

Они колдуны, наши негры, и довольно часто — колдуны-индивидуалисты, идущие порой, хоть и не без страха, против традиционной магии, ритуалы и практики которой всегда имеют в виду интересы всего племени. Можно быть колдуном для личной выгоды и для того, чтобы насолить ближнему; можно угодить в колдуны, того не желая, для защиты себя и родных... "У нас здесь опасно жить без такой защиты. Куба! Здесь одно сплошное колдовство!" Перед лицом любой неприятности, любого несчастного случая, любого необъяснимого явления, да и объяснимого тоже, — мы всегда ведем себя одинаково, по ментальной модели, заложенной в нас предками: так сильно влияние среды, прямо-таки пропитанной верой в магию. Ни хорошая школа, ни университет, ни католическая церковь не искореняют ее, а лишь помогают приспособить свои учения к исконным верованиям абсолютного большинства. "Разве Иисус не родился на сене в яслях, то есть на траве, дарованной лесом, — говорил мне К., — и разве он не ушел на небо с креста, то есть опять же дерева, дарованного лесом? Господь наш всю жизнь был окружен травами и деревьями. Он был настоящий травник, колдун!"

Колдун, не меняя исторически сбереженный пантеон африканских лесных божеств, в этой нашей плотной среде всеобщего колдовства друг против друга, располагает большим выбором как приемов для защиты — превентивных, так и приемов для нападения. Нет числа заклинаниям, противозаклинаниям, порче и отведениям порчи, различным "нсаланга" ("заботам") и "эббос", и все они берут свою тайную силу у какого-либо дерева, лианы, травки. Надо ли просто унять боль в желудке, или вылечить застарелую язву — прибегают именно к "эве", как называют всю растительность, от травки до дерева, потомки племен лукуми-йоруба, или же к "витити нфинда", по названию, данному растительности потомками конго — тут уже имеются в виду только листва, стволы и корни деревьев. Но главное в растениях — не их медицинское использование, а то, что с помощью секретов "эве" и "витити" можно достичь сверхъестественных эффектов, которых никто никогда не достигнет, если будет опираться лишь на собственные слабые человеческие силы, без помощи могучих духов леса и их магии. Эве и витити нфинда отводят порчу, очищают человека от колдовских меток, противостоят дурному влиянию, "заграждают путь беде", не подпускают к дому зло, а заодно и неугодных людей, нейтрализуют насылаемые врагами злые силы и, что самое практичное и приятное среди всего этого, открывают пути в иные миры.

Деревья и травы в магии или же народной медицине, от магии неотличимой, отвечают на любой вызов, удовлетворяют всем требованиям. Совсем не удивительно, что наши негры — а может быть, и весь кубинский народ, в большинстве своем физически и

духовно являющийся результатом глубокого скрещивания рас, — почитают деревья драгоценными носителями здоровья и счастья и хорошо знают лечебные растения, называя их целительную силу магией, вообще присущей растениям. "Растения лечат, потому что они сами колдуны".

Конечно, больного надо избавить от физических страданий, но куда важнее излечить его от злой тени, от невидимого вредоносного влияния, от всех этих "малембо" или "ньеке": ведь в них-то и коренится источник болезни.

Каждой беде, насланной кем-то на человека, можно противостоять превентивной магией или противозаклинанием, и всякий раз не обходится без соответствующего растения, ветви или травы, так что в борьбе двух столкнувшихся колдовских сил победит сильнейшая: она нейтрализует или предотвратит тот вред, который желает нанести противная сторона.

Ветвь, называемая "муси" или "инкуния нфинда", может стать причиной наших несчастий, если какой-то дух хочет этого, а другая ветвь — защитить нас от них с помощью колдуна. Все зависит от того, кто и как срезал и использовал эти ветви.

Магический эффект их использования регулируют ритуал, слово, магические жесты, причем всякий раз есть возможность реализации как добра, так и зла. "Кто сумел, тот и сделал". "Ветвь послушна тому, кто ей прикажет".

Ни одна аптека — ни в селе, ни, с вашего позволения, в самой Гаване — никогда не сравнится с той натуральной аптекой, которая находится у всех нас на виду, на расстоянии протянутой руки в ближайших лесных зарослях, где растут под странными, порой темными именами дикие травы. Никакой бикарбонат натрия никогда не будет лучше фиолетового базилика Оггуна или майорана Обатала; и при самых ничтожных неприятностях или физических недомоганиях любая белая женщина "от земли" — необязательно "иялочи", то есть колдунья, — немедленно порекомендует вам немало проверенных растений, лечение которыми разгонит тучи, сгустившиеся было над вашей головой, куда лучше лекарств из аптеки, лишенных, в отличие от растений, мощной силы духов леса. Только живые растения, по глубокому убеждению людей из народа, могут справиться с бедой и отвести злые чары болезни.

В каждой травке живет святая доблесть и сверхъестественная сила. "Лекарства в лесу живые, — говорил мне один старик, которого так и не удалось склонить к тому, чтобы городской врач облегчил его ревматические боли. — Я травы знаю. Знаю, какие мне подходят, и сам их найду. Давайте его, вашего врача, сюда в лес, и пусть найдет хоть самую простую травку от насморка. Нет уж, я свои болячки травами буду лечить, а не уколами". — "Эти ваши доктора, — настаивал другой, — никогда дела не знают". Лечит по-настоящему только магическое заклинание. Например, нган-

гантаре или нгангула. Или магия аггуггу, или аво, или бабалаво. Причем в среде столичных негров, стоящих в социуме рядом с белыми и пользующихся всеми благами цивилизации, эти африканские атавизмы ничуть не слабее, чем у самых забитых и темных негров из дальних деревень. Как бы далеко мы ни ушли по пути несомненного прогресса материальной культуры, которую часто — чаще, чем в остальных частях мира, — путаем с культурой духовной, дело обстоит именно так.

Корни верований, пущенные в нашу землю в XVI веке, оказались на редкость живучими и сильными. Наши негры духовно не перестали быть африканцами и после того, как во второй половине XIX века их прямые связи с Африкой полностью прервались. Они не смогли ни отказаться от своих верований, ни забыть мудрость предков. Всё так же верно хранят они секреты древней магической практики, прибегая на каждом шагу к помощи леса; они молят о помощи все тех же примитивных лесных божеств, которые были им оставлены в наследство и по сей день пребывают живыми в раковинах, камнях, корнях и стволах деревьев и которые продолжают с ними разговаривать на родных африканских языках — йоруба, эве, банту. Городской негр, который умеет читать и писать, слушает радио и проводит много времени в кино, посвящает этим божкам свой фетиш, "свое приношение", точно так же, как его неграмотный деревенский сородич, до сих пор сидящий при коптящей лампаде в своей одинокой хижине.

Гаванский негр, более того, смотрит на обитателя хижины с полным доверием и уважением как на хранителя чистоты и верности традиции во всем, что касается магического целительства — ведь тот никогда не покидал деревни и леса и лучше помнит заветы предков. Именно к нему, деревенскому знахарю, спешат в случае нужды, а порой хвалятся близостью с ним и ученичеством у него, чтобы укрепить свой авторитет целителя (если городской и сам пробовал практиковать в этой области).

И в хижинах, и в городских комфортабельных квартирах стережет покой семейных очагов негров и мулатов бог Элегуа — камень с грубо вытесанным на нем лицом, заботливо натертый душистым пальмовым маслом. Глазами, выпученными, как у улитки, божок зорко следит за порядком, принимая раз в месяц или хотя бы время от времени неукоснительную дань кровью курицы, а если не курицы, то крысы или нутрии, и все это прямо в той же комнате, где стоят книги, где висит большая литография с изображением Сердца Христова под надписью "Господи, благослови дом сей". Религиозный синкретизм такого рода — а им затронуто и белое население — является отражением синкретизма социально-бытового, хорошо известного тем, кто знает Кубу; все эти явления проанализировал еще сорок лет назад Фернандо Ортис в его "Негритянском колдовстве".

На Кубе католические святые всегда тихо и мирно сосуществовали с африканскими племенными божествами, нынче же никто этого и не скрывает; и примерно так же всегда сосуществовали элементы научной медицины, вроде нынешних пенициллина и витаминов из аптеки, с традиционным лечением травами, предлагаемым колдунами-целителями. Как говаривала покойная Калиста Моралес, которая знала назубок христианский катехизис и при этом была самой знаменитой из колдуний-травниц ("иялочи") в Гаване: "Святые и здесь, и в Африке одинаково святы. Это одни и те же святые под разными именами. Только и разницы, что наши хорошо кушают и любят танцы, а ваши довольствуются ладаном да маслом, и не танцуют". Что до лекарств из аптеки... "в них и растения-то не узнать, до того оно, бедное, изувечено — а у нас в лесу все они живехоньки".

Словом, негр всегда лечится по подсказке Ифа или Дилоггуна, этих "витити менсу", или же "нкала" — магического зеркала, которым пользуются знахари-колдуны, или же следует советам того "существа", которое вызывает заклинатель духов в его деревне. Он идет в больницу только тогда, когда уже все остальные его ресурсы исчерпаны. Если его оперируют, он этим очень гордится и показывает потом шрам от операции как нечто священное, как знак отличия или почетную татуировку; он берет в поликлинике таблетки, охотно платит за них, причем особенно охотно, если они дорогие — к дорогим у него больше доверия, но в глубине души верит только в силу "эве де Конгве", в предписания жреца лесного культа, продиктованные тому прямо духами. Никогда негр не перестанет быть в истинном своем существе сыном "матушки-сельвы", таинственного темного леса, источника могучих сил природы, обиталища нездешних существ, которые легко пробуждают в его душе атавистические чувства — ликования и доверия, неотделимых от глубокого священного страха. И средства благочестивого лечения, и средства спасения души для него несомненно находятся в лесу: это илейги, игбо, юко, обоюро, нгуэй, араоко, эгго, он же нинфей — так они называются у потомков племени лукуми; или это мусито, мьянгу, дитуто, нфиндо, финда, кунфинда, или же анабутти — как зовут их потомки конго; потому что деревья — ики, нкини, муси — суть прежде всего обиталища духов, называемых ориша, мпунгу, нганга, и потому что в травах, напитанных таинственными целительными соками, также заключены живые священные силы, а может быть, и сами святые духи, те, что "правят всем миром" и судьбой каждого человека.

Фернандо Ортис

Кубинский контрапункт табака и сахара[1]

Перевод Юрия Гирина

<...> На Кубе противостояние между табаком и сахаром началось с момента их совмещения в умах конкистадоров. Когда в начале XVI века в страну пришли испанцы-завоеватели и стали насаждать европейскую цивилизацию, они сами оказались покорены этими удивительными растениями. Одно из них торговцы, прибывшие из-за океана, почитали как удивительное открытие и дар для услаждения плоти; другое — как дьявольский соблазн, посланный завоевателям за прегрешения, заставлявший их испытывать ощущение чуда, возбуждавший их чувства не хуже алкоголя и, тем самым, ввергавший их во все новые прегрешения. <...> Этот контрастирующий параллелизм имеет столь же социально-экономический, сколь и нравственно-религиозный характер — не случайно он на протяжении всей истории Кубы был предметом стольких пересудов со стороны твердолобых моралистов, восхвалявших одно и проклинавших другое растение.

Оба этих растения дельцы веками использовали для того, чтобы манипулировать нашей историей, использовать в своих интересах ее героев и вместе с тем держать нас в оковах. <...> К тому же противостояние табака и сахара постоянно находило отражение в народных поэзии, музыке, танцах, песнях, театре, постепенно приобретая значение диалектического отношения к самой жизни. Вспомним хотя бы такие яркие проявления этой диалектики, как чисто кубинские антифонные песнопения в храме или, с другой стороны, эротическую пляску парной румбы и рифмован-

© Editorial de las ciencias sociales, 1991
© Юрий Гирин. Перевод, 2015

1. Публикуется в выдержках. Величайший кубинский антрополог Ф. Ортис употребляет оригинальное слово “contrapunteo” не в его прямом значении (“контрапункт”) — хотя как музыковед наверняка держал его в уме тоже, но в сугубо кубинском смысле — как уличную перебранку, спор, соревнование в слове, то есть как метафору становления кубинской культуры за счет противоборства/сочетания двух основных этносов, представленных в аграрном контексте. Здесь же просматривается свойственное ему увлечение “черной” культурой. Определение “contrapunteo” в его специфичном значении Ортис дает в своем словаре “Nuevo catauro de cubanismos” (La Habana, 1974). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ные куплеты афрокубинского фольклора, не говоря уже о пресловутой перебранке (собственно, "contrapunteo") приблатненных негров!

Вот почему табак и сахар оказываются основными протагонистами истории Кубы <...>, и их поразительные различия (особенно в способе производства) отразились в формации самого кубинского народа, его социальной стратификации, политических перипетий и международных взаимоотношений. И тот и другой продукт растительного царства взращивается на плантациях, затем перерабатывается и продается, дабы в конце концов оказаться усладой и забавой человека.

Табак самороден, сахар производен. Табак рождается чистым, словно уже обработанным, и курение табака очищает; а чтобы добыть сахар, то есть очищенный сахар, нужно проделать массу сложных физико-химических процедур, чтобы в результате получилась некая жидкость, лишенная примесей. В любом случае, что касается табака, то все в процессе его выращивания, выделки и продажи отмечено тщательностью, чистотой и благородством, дабы ублажить тонкие вкусы множества ценителей; производство же сахара — это грубость, мешанина, давильня, перемалывание, смешение; биологическая масса просто преобразуется в химически однородную ботаническую массу с тем, чтобы удовлетворить запросы человеческих масс.

<...> Табак темный; по цвету он варьируется от негра до мулата; сахар же у нас белянка — от мулатки до чисто белой. Табак не меняет своего цвета: как он родится смуглым, так и умрет верным своей расе. Белянка же наша непостоянна: поначалу она вся бурая и лишь со временем белеет. Это такая сладенькая мулаточка, которой поначалу услаждаются все, потом она меняет форму и цвет, рафинируется и выходит в свет, где становится добычей любого сластолюбца, готового заплатить подороже, и в конце концов поднимается, уже совсем белая и рафинированная, к вершинам социальной лестницы.

"В одной и той же коробке не сыщешь двух одинаковых сигар; каждая настоящая сигара пахнет инаково", — так говорят табачники-эксперты. Ну а весь очищенный сахар не отличишь по вкусу. Сахар не имеет запаха, табак же ценится именно за свой аромат, который предоставляет обонянию бесконечные разновидности запаха, начиная с утонченной гаммы настоящей гаванской сигары, уносящей в иные миры, вплоть до смердящих иноземных подделок, словно предназначенных испытать, сколь низко может пасть человек в заблуждениях своего вкуса.

Табак и сахарный тростник являют собой контраст. Можно сказать, что с самого начала они соперничают между собой. Уже по форме это два совершенно разных растения. Тростник может похвастаться стройностью, листы же его опадают; табак богат именно листьями, но никак не стволом. Сахарный тростник — много-

летнее растение, а вот табаку природа отвела всего несколько месяцев жизни. Первый жаждет света, второй — темени; это солнце и луна. Тростнику для жизни нужна влага небесная, табаку — жар земли. Из тростниковых стволов выжимают сок, листья табака высушивают, потому что сок тут не нужен. Сахар достается человеку в жидком виде, табак ценен своим дымом, добываемым огнем. Две натуры: одна — белая, другая — черная. Сахар сладок и лишен запаха, табак горек и ароматен. Контраст во всем! <...> Сахар — женское начало, табак — мужское.

<...> Итак, если табак мужчина, то сахар — женщина. Листья у него гладкие, и даже под жарким солнцем они остаются светлыми; весь процесс изготовления сахара подразумевает постоянную приборку и прихорашивание, чтобы сахар стал чище и светлее. И сам сахар всегда был скорее женским лакомством, нежели мужским. Мужчины не признают сладости, почитая их недостойным соблазном, женской забавой. Но штука в том, что если курящая женщина напоминает мужчину, курящего сигарету, то ведь и сигареты — дети табака, а потому курящий сигарету мужчина более напоминает женщину, потребляющую сахар, хотя они и не потребляют всякого рода сласти, а пьют алкоголь — тоже отпрыск презираемого ими сахара.

Можно сказать, что выработка сахара — это производство, а создание сигары — это искусство. В первом случае главенствуют рубщики тростника и машины, во втором — необходим индивидуальный навык мастера.

Потребление табака — также процесс сугубо индивидуальный, на это и направлено его изготовление. Сигара или сигарета курятся порознь и по-разному. Курильщик ведь не курит по две штуки разом. И на самых больших табачных фабриках табак выходит из разных цехов, разный по форме и по качеству, и фасуется в зависимости от сорта, в расчете на определенный тип курильщика.

Другое дело — сахар: он варится в общей массе, фасуется в мешки и потребляется обезличенной массой. И даже когда современный рафинированный сахар стал выпускаться сформированным и уложенным аккуратными кубиками вместо прежних бесформенных "голов", которые приходилось дробить на куски, он все равно не стал от этого более индивидуализированным, а наоборот — стал напоминать ром без бутылки, поскольку все равно каждый потребитель отбирает от общего объема кубиков столько, сколько потребуется ему лично.

Когда рождается сахар, то он — просто сахар; у него нет собственного имени. Он зовется, как рабыня, — иногда по названию хозяина, или местности, или заводчика; и в дальнейшем своем жизненно-торговом пути ему уже не удастся хоть сколько-нибудь индивидуализироваться. Сахар — он и есть сахар, этим все сказано. Нет у него ни имени, ни фамилии. На плантации он все еще тростник, в давильне он уже сок гуарапо; при варке он загус-

тевает и тогда уже превращается в мелассу. А дальнейшая машинная переработка приводит к тому, что он делается сахаром. Вот и все. Это все равно, как если бы женщину назвать просто женщиной — женщиной, не имеющей ни фамилии, ни имени, ни родства, ни любовной связи. Сахар умирает так же, как рождался и как жил; он безымянен, как женщина, стыдящаяся своей фамилии; это сладость, которая варится в общей массе, растворяется в ней и исчезает во множестве вод, словно изначально зная свое предназначение быть поглощенной жизненным водоворотом[1].

Табак же с самого своего рождения — уже табак. Так его называли испанцы, позаимствовавшие это слово от индейцев; так он называется во всем мире и будет называться всегда. Табак — такое растение, смысл жизни которого состоит в ароматном горении/курении потребляющего его курильщика. У табака всегда много имен, фамилий, названий и марок, зависящих от местности, от хозяина плантации, от переработчика, от срока посева, срока уборки, характера сушки. Но главное — это его имя, навсегда запечатленное на опоясывающем сигару или сигарету ярлыке. Табак не только индивидуален — он национален, потому что табак — кубинец. И обвивающая его витола — не просто фабричный знак: во-первых, она держится на нем, как галстук на мужчине; он и носит его с гордостью до последнего, когда все его тело обратится в пепел, а дым вознесет прах его ввысь.

<...> Наш табак — это магический дар первобытия; сахар же — продукт цивилизации. Сахар был некогда в Америку специально завезен, а табак — первороден. Табак открыли европейцы, прибывшие с экспедицией Колумба, именно на Кубе, в самом начале 1492 года. Сахарный тростник здесь не рос. Его насадили завоеватели, и Колумб, после долгих опытов и странствий, посадил его в Антиллах в 1493 году. Табак был обнаружен на Кубе по воле случая, но сахар был частью стратегического плана.

В табаке всегда есть нечто сакральное, нечто, делающее его частью чуда. Табак — удел серьезных людей, людей, предстающих перед богами и обществом. Сделать свою первую пару затяжек (обычно втайне от родителей) — это что-то вроде причащения, по В. Тэрнеру, это первобытный обряд приобщения к миру людей, нечто вроде доказательства мужеской зрелости и посвящения в жизненные перипетии вместе с правом на соблазн и грезу, влекомые вьющимся дымком табака.

1. По-испански слово "сахар" ("el azúcar") — мужского рода. Но Ортис употребляет его в (редком) кубинском значении (для кубинского национального варианта характерно употребление этого существительного в женском роде — la azúcar, — особенно в профессионально-производственном контексте) и на этом противопоставлении строит всю свою дихотомию. Под табаком он обычно имеет в виду сигару, выступающую в испанском в мужском обличье — el tabaco, el habano; el cigarro; el cigarrillo.

Табак всегда был горделив; затем он сделался привилегией и гордостью самих конкистадоров, мореплавателей, разбогатевших индейцев, кичившейся новой знати, торговцев и богатеев, а в конце концов превратился просто в признак любого, кто хоть чего-то добился в жизни и разбогател настолько, что мог позволить себе наслаждение и похваляться им в открытую перед остальными, в силу общественных обстоятельств лишенных возможности такого наслаждения.

Сам процесс насильственного скручивания влажных табачных листьев, готовых принять испытание огнем, а затем — процесс вдыхания и вздымания ароматных витков к небу таил в себе нечто от революционных иллюзий будущего освобождения от насильственного рабства. Это было похоже на тайный ритуал, или кровное братание у древних индейцев, или пушечный салют на военных кораблях.

В курении табака есть нечто от пережитков религии и магии: это один из самых древних кубинских обычаев. Поглощающий его медленный жар напоминает искупительный обряд. Вместе с дымом к небесам вздымаются духовные устремления. Табачный аромат куда приятнее ладана, очищает душу пуще церковного. Остающаяся от горения нежная и пачкающая тело зола означает печальное напоминание о позднем раскаянии. Курение табака — это воспарение ввысь, это устремление к иллюзии, пусть временной, но мечте по иной доле. Поэтому у нас говорится, что "табак — утешение для бедных", он разгоняет грусть.

Дымящийся табак устремлен вертикально вверх; он предназначен для единоличного употребления, его не скроешь и не прикроешь — в этом его достоинство. Он всегда стремится к естественности и чистоте. Сахар же только развращает и отвращает своей слащавостью, поэтому ему нужно укрытие, прикрытие, обертка — нечто, что послужило бы ему завесой и одновременно сводницей. И он оплачивает оказанные ему услуги, умеряя свою слащавость посредством какого-либо другого средства: без вкуса, запаха и цвета. Возникает своего рода вкусовая метисация.

Сахар — нечто обыденное, у него нет ни формы, ни индивидуальности. Табак же всегда своеобразен, он разнится качеством, формой и обладает достоинством. Табак может быть хорошим или плохим, но он всегда различен. Сахар существует вначале в виде бесформенной массы, как любой другой продукт, потом ему придают ту или иную форму или, наоборот, превращают в песок, который можно насыпать в мешок, а уж затем он идет для услащения в качестве составной части в пирожные, джемы, варенье, конфеты, мороженое и прочие кондитерские изделия.

В любом случае, табак на всех этапах производства — начиная от выращивания и вплоть до реализации — предполагает тщательность, внимание, особую выделку, отбор и разделение по сортам; процесс этот начинается с аграрно-ботанического разделения и за-

канчивается бесчисленными способами, направленными на то, чтобы удовлетворить самые изысканные потребности и вкусы человеческих индивидуальностей. Производство же сахара неизбежно подразумевает топорность, смесь всего и вся, механическое перемалывание, измельчение в прах и получение однородного вещества; изначально ботанические формы преобразуются в химически однородную массу, предназначенную для самых элементарных и распространенных услаждений человеческого нёба.

Употребление табака, то есть собственно *курение*, предполагает акт *индивидуализации*. Потребление же сахара не имеет названия, это просто потребление сладости. Поэтому слово "курильщик" фигурирует в словарях, а слова "сахарильщик" — нет. Сахару место на кухне, в детской карамели и на обеденном столе; табак царит в салонах, у супружеской постели и за письменным столом. Табак взывает к работе и к творческой фантазии; сахар служит для отдыха и расслабления. Сладкая белянка — хозяйка дома; галантный табак — ее спутник и воздыхатель. Белый сладкий сахар — символ поглощения, табак ему служит подспорьем и дополнением; сахар употребляется как лекарство и участвует во внутренних процессах организма; табак же возвышает дух, словно катарсис. Конечно, сахар добродетелен и полезен; в то время как табак жаждет красоты и индивидуальности.

Поэтому нетрудно понять величайшее значение для всей культуры Кубы табака и сахара, различия между которыми начинаются с самого процесса взращивания. Велико различие между табачной плантацией и производством сахара, особенно в современных условиях. Табак принес Кубе совершенно особый образ сельской жизни. Табачные плантации не требуют участия большого числа людей, как это происходит даже при рубке сахарного тростника. Табак не нуждается в какой-либо технике производства — не то что сахар, требующий механической переработки, химической очистки и перевозки. Одно дело — табачная долина, *vega*, и совсем другое — сахарный завод, недаром именуемый *ingenio*[1].

В заключение следует сказать, что с самого начала сахарного прозводства, то есть еще с XVI века, вся история Кубы оказалась связанной с зависимостью от сахарных интересов иностранцев, которые всегда требовали добычи сахара для своего обогащения в ущерб интересам страны. Табак же, напротив, выделывал-

1. В контексте кубинского испанского языка слово *ingenio* имеет множество значений, среди которых "сахарный завод" — только частный случай. В самом общем смысле имеется в виду рациональность, работа ума, не исключающая блистающее оттенками смыслов итальянское "инженьо". Может трактоваться как "инженерия", "машинерия". В этом смысле *ingenio* и противопоставляется кубинскому табаку и сочетается с ним по принципу дуализма, созидая в совокупности особое явление: кубинскую культуру.

ся и скручивался ремесленным способом и лишь предлагался иностранным экспортерам как сугубо национальный продукт, декларативно заявляя о себе бумажными кольцами с логотипом, которые свидетельствовали о его кубинском происхождении — недаром кубинская сигара так и называется: *habano*[1]. В наши времена уже не всегда так. Часто за рубежом фабрикуются сигары, которым присваивается чужое имя, иногда слабо или очень мало связанные с Кубой, от которой требуется лишь выращивание зелени или поставка сырья. <...> Кроме того, и табак, и сахар напрямую связаны с теми, кто их производит. Скажем, сахар обычно не обходился без рабов; табак же требовал свободного человека. Сахар поневоле привлекал все новых рабов; табак стимулировал иммиграцию белых.

1. Когда Ф. Ортис пишет “табак”, он и имеет в виду собственно сигару (*el habano; el puro*), что означает для кубинца целый ряд высоких ассоциативных понятий, среди которых: честность, искренность, прямота (вертикальность), свобода. Читателю следует иметь в виду то обстоятельство, что в “кубинском” языке едва ли не каждое слово многозначно и отлично от нормативного испанского языка. Гавана (La Habana) — это не столько столица государства, сколько эмблематичное понятие для всей Латинской Америки.

Кубинская литература на страницах “ИЛ”

1955

Гильен Николас — *Родовое имя.* Стихотворение. Перевод с испанского О. Савича [6]

1957

Гильен Николас — *Элегия на смерть Эммета Тилла.* Перевод с испанского О. Савича [1]

1960

Поэты Кубы: Николас Гильен, Файяд Хамис, Роберто Фернандес Ретамар.Переводы с испанского М. Самаева, П. Грушко [12]

1961

Пита Родригес Феликс — *Винтовка № 5764.* Перевод с испанского М. Самаева [6]

1962

Гильен Николас — *Четыре стихотворения.* Переводы с испанского Н. Горской, Л. Чежеговой [7]

Гонсалес де Каскорро Рауль — *Кубинские рассказы.* Переводы с испанского Ю. Певцова, И. Череватой [11]

1963

Десноэс Эдмундо — *Возвращение.* Роман. Перевод с испанского Ю. Погосова под ред. Р. Сашиной. Вступительная статья Б. Полевого [7]

Маринельо Хуан — *Кубинская революция в творчестве Хосе Вентурелли* [11]

1964

Гонсалес Бермехо Эрнесто — *Колючая проволока между двумя мирами* [1]

Слово трех поэтов Кубы: Мануэль Наварро Луна, Файяд Хамис, Мануэль Диас Мартинес. Переводы с испанского Марины Тарасовой, М. Самаева [4]

Гильен Николас — *Новое.* Переводы с испанского Федора Кельина, Инны Тыняновой [11]

Маринельо Хуан — *Веселые плоды его фантазии.* Из воспоминаний о Федерико Гарсиа Лорке [12]

1965

Эскалона Хулия Агустина — *Мир будет цвести для нас!* Стихотворение. Перевод с испанского и вступление Инны Тыняновой [5]

Фернандес Ретамар Роберто — *Мужчина и женщина.* Стихотворение. Перевод с испанского П. Грушко [12]

1966

Жизнь дышит, наконец, свободой! Стихи поэтов Кубы: Эберто Падилья, Сесар Лопес, Мигель Бернет, Роберто Фернандес Ретамар, Рафаэль Альсидес Перес, Мануэль Диас Мартинес, Роберто Бранли, Файяд Хамис. Перевод с испанского Риммы Казаковой. Вступление Н. Булгаковой [1]

Ораа Педро де — *19 апреля.* Стихотворение. Перевод с испанского Павла Грушко [4]

Наварро Луна Мануэль — *Ода Южному Вьетнаму.* Стихотворение. Перевод с испанского Риммы Казаковой [6]

Эль Индио Набори — *Элегия о Нгуен Ван Чое.* Перевод с испанского Юрия Исаева [6]

1967

Аранго Анхель — *Три новеллы.* Перевод с испанского Нины Булгаковой [1]

Солер Пуиг Хосе — *Крушение.* Роман. Перевод с испанского и вступление Инны Тыняновой [10]

Гильен Николас — *Фрагменты.* Стихотворение. Перевод с испанского О. Савича [12]

1968

Хамис Файяд — *Из разных лет.* Стихи. Перевод с испанского Н. Булгаковой [8]

1969

Суардиас Луис — *Крупным планом.* Стихотворения. Перевод с испанского и вступление Павла Грушко [7]

Аухьер Анхель — *В мавзолее.* Стихотворение. Перевод с испанского Павла Грушко [11]

1970

Гильен Николас — *Новые стихи.* Из сборника "Зубчатое колесо". Перевод с испанского Павла Грушко [1]

Пита Родригес Феликс — *Ленинский Октябрь.* Стихотворение. Перевод с испанского Инны Тыняновой [11]

1971

Диего Элисео — *Из "Книги чудес дона Хосе Северина Болоньи"*. Перевод с испанского и вступление Павла Грушко [1]

Леанте Сесар — *Человек и гора*. Рассказ. Перевод с испанского Р. Похлебкина [3]

Фернандес Ретамар Роберто — *Стихотворения*. Перевод с испанского Сергея Гончаренко. Вступление Павла Грушко [8]

1972

Карпентьер Алехо — *Роман не умер* [1]

Раздумья оптимиста. Беседа Марио Бенедетти с Роберто Фернандесом Ретамаром. Перевод с испанского Э. Брагинской [8]

1973

Кофиньо Лопес Мануэль — *Последняя женщина и близкий бой*. Роман. Перевод с испанского и вступление Юрия Павлова [1—2]

1974

Гильен Николас — *В ритмах народных танцев*. Стихотворения. Перевод с испанского Инны Тыняновой [1]

Касаус Виктор — *Хирон в памяти*. Фрагменты книги. Перевод с испанского и вступление Н. Булгаковой [1]

Эгурен Густаво — *Тени на белой стене*. Повесть. Перевод с испанского Скины Вафа [1]

Пита Родригес Феликс — *Ленин*. Стихотворение. Перевод с испанского Инны Тыняновой [4]

Карпентьер Алехо — *Погоня*. Повесть. Перевод с испанского И. Линцер. Предисловие Юрия Дашкевича [8]

1975

Павон Луис — *Писатель и революция* [2]

1976

Крус Мэри — *Кровь и пламя Кубы* [12]

1977

Вальдес Виво Рауль. — *Ангола: крах мифа о наемниках*. Сокращенный перевод с испанского В. Волкова и В. Чиркова. Послесловие В. Волкова [3]

Карпентьер Алехо — *Превратности метода*. Роман. Перевод с испанского М. Былинкиной и Ю. Дашкевича. Предисловие автора [9—10]

Суардиас Луис — *Горы Таджикистана*. Стихотворение. Перевод с испанского Олега Островского [11]

1978

Молина Родригес Альберто — *Люди безмолвия.* Повесть. Перевод с испанского и вступление О. Дарусенкова [7]

Риверо Рауль — *Оружие революции.* Перевод с испанского Н. Булгаковой [7]

1979

Молодые поэты Кубы: Рауль Риверо, Карлос Марти Бренес, Элисео Альберто Диего, Феликс Луис Виера, Солейда Риос, Освальдо Наварро, Рейна Мария Родригес. Переводы с испанского О. Островского, Гр. Кикодзе [1]

Суардиас Луис — *Размышления о новой кубинской поэзии.* Перевод с испанского Н. Булгаковой [1]

Травиэсо Хулио — *Чтобы убить волка.* Роман. Перевод с испанского Г. Вержховской и А. Чигарова [1]

1982

Карпентьер Алехо — *Концерт барокко.* Повесть. Перевод с испанского Р. Линцер [4]

Отеро Лисандро — *Генерал на коне.* Повесть-памфлет. Перевод с испанского Ю. Дашкевича [7]

Аухьер Антель — *"Чистый, прозрачный, живой голос надежды..."* (К 80-летию Николаса Гильена). Перевод с испанского Вероники Спасской [8]

Диего Элисео — *Стихи последних лет.* Перевод с испанского Павла Грушко. Вступление автора [10]

1983

Аухьер Анхель — *Стихи.* Перевод с испанского Людмилы Щипахиной [10]

1984

Рассказы кубинских писателей: Николас Перес Дельгадо, Луис Рохелио Ногерас, Мануэль Кофиньо. Переводы с испанского В. Майорова, Ю. Павлова [1]

Карпентьер Алехо — *Арфа и тень.* Роман. Перевод с испанского Инны Тыняновой. Послесловие Юрия Дашкевича [11]

1985

Хосе Солер Пуиг о себе и о своих книгах [9]

Кофиньо Мануэль — *Любовь в тени и под солнцем.* Роман. Перевод с испанского Юрия Павлова [11—12]

1987

Мартинес Мануэль Диас — *Стихи.* Перевод с испанского и вступление Бориса Дубина [4]

Эгурен Густаво — *Возвращение.* Роман. Перевод с испанского Инны Тыняновой [11—12]

2003

Кабрера Инфанте Гильермо — *Страсть и поэзия.* Перевод с испанского Бориса Дубина [10]

2007

Травьесо Серрано Хулио — *В Гаване идут дожди.* Роман. Перевод с испанского Маргариты Былинкиной [11]

2010

Кабрера Инфанте Гильермо — *Три грустных тигра.* Фрагменты романа. Перевод с испанского, вступление и комментарии Дарьи Синицыной [12]

Элисео Альберто
Eliseo Alberto
[1951–2011]. Прозаик, поэт, публицист, сценарист. Лауреат Национальной премии критики [1983] и др. С 1989 г. жил в Мексике.

Автор романов *Красный костер* [*La fogata roja*, 1983], *Вечность, наконец, начинается в понедельник* [*La eternidad por fin comienza un lunes*, 1992], *Каракольбич* [*Caracol Beach*, 1998], *Басня Хосе* [*La fábula de José*, 2002], *Ретабло графа Эроса* [*El retablo del conde Eros*, 2008], а также ряда поэтических и публицистических сборников и книги мемуаров *Донос на меня самого* [*Informe contra mí mismo*, 1978].
Перевод романа выполнен по изданию *Эстер где-то там* [*Esther en alguna parte*. La Habana: Ediciones Unión, 2010].

Лайди Фернандес де Хуан
Laidi Fernández de Juan
[р. 1961]. Прозаик. Профессиональный врач. С 1988 по 1990 гг. работала в Замбии в рамках интернациональной миссии. Лауреат многих литературных премий, в том числе *Сесилия Вальдес* [1998].

Автор сборников малой прозы *Долли и другие африканские рассказы* [*Dolly y otros cuentos africanos*, 1994], *О, жизнь* [*Oh, vida*, 1998], *Дочь Дарио* [*La Hija de Darío*, 2005], *Ход на G* [*Jugada en G*, 2014], *Пребудет вечно* [*Será siempre*, 2014] и романа *Нет пророка* [*Nadie es profeta*, 2006].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Захваченная жизнь Марии Е.* [*La vida tomada de María E.* La Habana: Ediciones Unión, 2008].

Педро Хуан Гутьеррес
Pedro Juan Gutiérrez
[р. 1950]. Прозаик, поэт, журналист. Лауреат премий Испании и Италии.

Автор поэтических сборников *Великолепные серебристые рыбы* [*Espléndidos peces plateados*, 1996], *Огонь на головы еретиков* [*Fuego contra los herejes*, 1997] и др., романного *Центрально-гаванского цикла* [*Ciclo de Centro Habana*], куда вошли книги *Гаванская грязная трилогия* [*Trilogía sucia de La Habana*, 1998], *Король Гаваны* [*El Rey de La Habana*, 1999], *Тропический зверь* [*Animal tropical*, 2000], *Ненасытный человек-паук* [*El insaciable hombre araña*, 2002], *Собачье мясо* [*Carne de perro*, 2003], детективных романов, в том числе *Наш ГГ в Гаване* [*Nuestro GG en La Habana*, 2004].
Публикуемые рассказы взяты из книги *Гаванская грязная трилогия* [*Trilogía sucia de La Habana*. Barcelona: Anagrama, 2007].

Сенель Пас
Senel Paz
[р. 1950]. Прозаик, драматург, сценарист.

Автор сборников рассказов *Тот мальчик* [*El niño aquel*, 1980], *Ребята развлекаются* [*Los muchachos se divierten*, 1989], *Сестры* [*Las hermanas*, 1993], *Не говори ей, что любишь* [*No le digas que la quieres*, 2004], романов *Король в саду* [*Un rey en el jardín*, 1983], *В не-*

бесах с алмазами [*En el cielo con diamantes*, 2007]. По мотивам публикуемого рассказа *Волк, лес и новый человек* [*El lobo, el bosque y el hombre nuevo*] был снят фильм *Клубника и шоколад* [*Fresa y chocolate*, 1994] – это единственная кубинская картина, номинировавшаяся на "Оскар".
Публикуемый рассказ печатается по книге *Волк, лес и новый человек* [*El lobo, el bosque y el hombre nuevo*. México: Era, 1991].

Анхель Сантиэстебан
Ángel Santiesteban
[р. 1966]. Прозаик. Лауреат премий имени Алехо Карпентьера [2001] и имени Франца Кафки [2013, Чехия] и др. Сейчас находится в заключении по обвинению в "нарушении границ жилища и нанесении увечий". Вины не признает. В своем блоге (blogloshijosquenadiequiso.wordpress.com) поясняет, что его единственное преступление – "писать то, что он думает, о Кубе и кубинской диктатуре".

Автор сборников малой прозы *Сон в летний день* [*Sueño de un día de verano*, 1998], *Никому не желанные дети* [*Los hijos que nadie quiso*, 2001], *Блаженные плачущие* [*Dichosos los que lloran*, 2006], романа *Лето, когда Бог спал* [*El verano en que Dios dormía*, 2013] и др.
Публикуемый рассказ взят из книги *Новые кубинские рассказы* [*Nuevos narradores cubanos*. Madrid: Siruela, 2000].

Давид Митрани
David Mitrani
[р. 1966]. Поэт, прозаик. Теоретик кубинского "репентизма" – импровизационной поэзии.

Автор поэтических книг *Робинзон Крузо снова спасся* [*Robinson Crusoe vuelve a salvarse*, 1994, в соавторстве с Алексисом Диас-Пимьентой] и *Незамеченный еретик* [*Hereje inadvertido*, 2003], сборников рассказов *Лепить из глины* [*Modelar el barro*, 1994], *Святые места* [*Santos lugares*, 1997], *Сборище проклятых* [*Los malditos se reúnen*, 2003], романов *Ганэден* [*Ganeden*, 1999] и *Не буди зверя* [*Deja dormir a la bestia*, 2011].
Публикуемый рассказ взят из книги *Новые кубинские рассказы* [*Nuevos narradores cubanos*. Madrid: Siruela, 2000].

Мария Элена Льяна
María Elena Llana
Писательница.

Автор сборников рассказов *Решетка* [*La reja*, 1965], *Дома в Ведадо* [*Casas del Vedado*, 1983], *Карточный домик* [*Castillo de Naipes*, 1999], *Едва ли шепот* [*Apenas murmullos*, 2004], *Дозор на Малеконе* [*Ronda en el Malecón*, 2004], *В лимбе* [*En el Limbo*, 2009].
Публикуемый рассказ взят из книги *Современные кубинские рассказы* [*Narradores cubanos de hoy*. La Habana: Letras cubanas, 2005].

Наталья Юрьевна Ванханен
Поэт, переводчик с испанского. Лауреат премии *Иноллитл* [2000], обладатель почетного диплома критики *зоИЛ* [2010], кавалер ордена Габриэлы Мистраль [Чили, 2002].

Автор книг стихов *Дневной месяц* [1991], *Далекие ласточки* [1995], *Зима империи* [1998]. В ее переводе публиковались стихи испанских и латиноамериканских поэтов Х. Манрике, Г. А. Беккера, А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, Х. Гильена, Л. Сернуды, Р. Дарио, Г. Мистраль, Х. Лесамы Лимы, А. Сторни и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Гастон Бакеро
Gastón Baquero
[1914–1997]. Поэт. В 40-е годы входил в возглавляемую Х. Лесамой Лимой поэтическую группу *Орихенес*. После Революции 1959 г. эмигрировал в Испанию.

Автор поэтических сборников *Саул на своем мече* [*Saúl sobre su espada*, 1942], *Стихи, написанные в Испании* [*Poemas escritos en España*, 1960], *Невидимые стихи* [*Poemas invisibles*, 1991] и др., а также многочисленных эссе, например, о Д. М. Лойнас, Р. Дарио, Л. Сернуде.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Дульсе Мария Лойнас
Dulce María Loynaz
[1902–1997]. Поэт и прозаик. Среди ее многочисленных литературных наград орден Альфонса Мудрого [1947], орден Габриэлы Мистраль [1996], Национальная премия Кубы по литературе [1987], премия Гарсиа Лорки [1993] и самая высокая награда испаноязычного мира – премия *Мигель де Сервантес* [1992] и др.

Автор сборников *Игры воды* [*Juegos de agua*, 1951], *Последние дни одного дома* [*Últimos días de una casa*, 1958], *Тонкие сети* [*Finas redes*, 1993], *Суровая тропа* [*El áspero sendero*, 2001] и др., романа *Сад* [*Jardín*, 1951].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Синтио Витьер
Cintio Vitier
[1921–2009]. Поэт и литературовед. Лауреат Национальной литературной премии [1988] и премии имени Хуана Рульфо [2002]. Участник группы *Орихенес*.

Автор поэтических сборников *Стихи* [*Poemas*, 1938], *Странность быть* [*Extrañeza de estar*, 1945], *Догадки* [*Conjeturas*, 1951], *Свет невозможного* [*La luz del imposible*, 1957], *Свидетельства* [*Testimonios*, 1968] и др., романа *Улица Бедной скалы* [*De Peña Pobre*, 1980; рус. перев. 1984], книги *Кубинское начало в поэзии* [*Lo cubano en la poesía*, 1958] и др.
Публикуемые стихи взяты из романа *Записки Хасинто Финале* [*Los papeles de Jacinto Finalé*, 1984].

Рейна Мария Родригес
Reina María Rodríguez
Поэтесса и романистка. Лауреат премий Дома Америк [1984, 1998], имени Алехо Карпентьера [2002], Национальной литературной премии [2013], премии имени Пабло Неруды [2014].

Автор поэтических сборников *Дом на улице Анимас* [*Una casa en Ánimas*, 1976], *Белому агнцу* [*Para un cordero blanco*, 1984], *Travelling* [1995], *Черный лес* [*Bosque negro*, 2014], романа *Три способа описать слона* [*Tres maneras de tocar un elefante*, 2004] и др.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Вирхилио Пиньера
Virgilio Piñera
[1912–1979]. Прозаик, поэт, драматург. После Революции подвергался преследованиям и не печатался на Кубе.

Автор поэтических книг *Фурии* [*Las furias*, 1941], *Взвешенный остров* [*La isla en peso*, 1943, рус. перев. 2014], *Целая жизнь* [*La vida entera*, 1969], романов *Плоть Рене* [*La carne de René*, 1952], *Маленькие хитрости* [*Pequeñas maniobras*, 1963], сборников *Холодные рассказы* [*Cuentos fríos*, 1956], *Тот, кто пришел меня спасти* [*El que vino a salvarme*, 1970], пьес *Электра Гарриго* [*Electra Garrigó*, 1959], *Холодный воздух* [*Aire frío*, 1959], *Два старых паникера* [*Dos viejos pánicos*, 1968] и др.
Публикуемые тексты взяты из книги *Сборник рассказов* [*Cuentos completos*. Madrid: Alfaguara, 1999].

Мигель Анхель Фрага
Migiel Ángel Fraga
[р. 1965]. Писатель. Живет в Швеции.

Автор сборников *Ночь начинается сейчас* [*La noche comienza ahora*, 1997], *Рассказы о вероятном, возможном и невозможном* [*Cuentos de lo probable, lo posible y lo imposible*, 2000], *Не поддавайся гневу* [*No dejes escapar la ira*, 2001], *Рассказы о возмутительной любви* [*Cuentos del amor escandaloso*, 2001], романа *Он забыл, что любит меня* [*Olvidó que me quería*, 2008].
Публикуемый текст взят из книги *В уголке у самого неба* [*En un rincón cerca del cielo*. Valencia: Aduana Vieja, 2008].

Гильермо Кабрера Инфанте
Guillermo Cabrera Infante
[1929–2005]. Писатель, журналист, сценарист. Лауреат премии *Мигель де Сервантес* [1997]. С 1965 г. жил в Лондоне.

Автор сборников рассказов *В мире и не войне* [*Así en la paz como en la guerra*, 1960] и *Вид рассвета в тропиках* [*Vista del amanecer en el trópico*, 1974], романов *Три грустных тигра* [*Tres tristes tigres*, 1967; рус. перев. 2014] и *Гавана на смерть Инфанте* [*La Habana para un infante difunto*, 1979], книг о кино *Ремесло XX века* [*Un oficio del siglo XX*, 1963] и *Кино или сардина* [*Cine o sardina*, 1997], сборника политической публицистики *Мea Куба* [*Mea Cuba*, 2000]. Посмертно вышли книги *Непостоянная нимфа* [*La ninfa inconstante*, 2008], *Божественные тела* [*Cuerpos divinos*, 2010], *Карта, нарисованная шпионом* [*Mapa dibujado por un espía*, 2013]. В *ИЛ* опубликованы главы из его романа *Три грустных тигра* [2010, № 12].

Текст публикуется по изданию *Книга городов* [*El libro de las ciudades.* Madrid: Grupo Santillana de Ediciones, S. A., 1999].

Лидия Кабрера
Lydia Cabrera
[1899–1991]. Писательница, фольклорист, антрополог. С 1960 г. жила в Майами.

Автор фундаментальных трудов по афрокубинской культуре *Кубинские негритянские сказки* [*Cuentos negros de Cuba*, 1940], *Анаго: словарь лукуми* [*Anagó: vocabulario lucumí*", 1957], *Тайное общество Абакуа по рассказам его старых адептов* [*La sociedad secreta Abakuá, contada por viejos adeptos*, 1958], *Народная медицина на Кубе* [*La medicina popular en Cuba*, 1984], *Животные и фольклор на Кубе* [*Los animales y el folklore en Cuba*, 1988], *Священный язык ньяньиго* [*La lengua sagrada de los ñáñigos*, 1988].
Статья публикуется по книге *Лес* [*El monte.* La Habana: Letras Cubanas, 1993].

Фернандо Ортис
Fernando Ortiz
[1881–1969]. Антрополог, этнограф, историк, языковед, музыковед, писатель. Крупнейший теоретик кубинской идентичности.

Автор трудов *Негры-колдуны* [*Los negros brujos*, 1906], *Об афрокубинской музыке* [*De la música afrocubana*, 1934], *Человеческие факторы кубинского начала* [*Los factores humanos de la cubanidad*, 1940], *История кубинской борьбы с бесами* [*Historia de una pelea cubana contra los demonios*, 1959], *Новый короб кубинизмов* [*Nuevo catauro de cubanismos*, 1985] и др.
Публикуемый текст взят из книги *Кубинский контрапункт табака и сахара* [*Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar.* La Habana: Editorial de las Ciencias Sociales, 1991].

Переводчики

Дарья Синицына
Переводчик с испанского, галисийского и каталанского языков, преподаватель кафедры романской филологии Филологического факультета СПбГУ, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Инолиттл* [2010].

В ее переводах печатались произведения Г. Кабреры Инфанте, Э. Риверы Летельера, М. Делибеса, А. Сторни, Р. де Кастро, Ж. Кабре и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны фрагменты романа *Три грустных тигра* Г. Кабреры Инфанте [2010, № 12], роман Э. Р. Летельера *Фата-моргана любви с оркестром* [2013, № 3] и повесть М. Делибеса *Безумец* [2011, № 12].

Мария Непомнящая
Переводчик с испанского, кандидат филологических наук, латиноамериканист.

Автор ряда научных работ по колумбийской и гватемальской литературе.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Яков Подольный
Переводчик с английского и испанского языков. Выпускник Филологического факультета СПбГУ и Санкт-Петербургской Высшей школы перевода.

В его переводах печатались стихи Р. де Кастро. В *ИЛ* публикуется впервые.

Александр Лебедев
[р. 1992]. Переводчик с испанского и английского языков, гид-переводчик, преподаватель, студент 2-го курса магистратуры Филологического факультета СПбГУ.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Светлана Владимировна Силакова
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премий *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург, 1996], имени А. М. Зверева [2007] и *Иностранная литература* [2008].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Э. Энрайт, М. Фигераса и др. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Издательские планы*. В *ИЛ* печатались в ее переводе романы П. Теру *Коулун Тонг* [2002, № 4], Д. Делилло *Мао II* [2003, № 11—12] и *Падающий* [2010, № 4], рассказы Дж. Сондерса [2001, № 7], Д. Эггерса [2007, № 12], Д. Седариса [2011, № 1], Д. Шепарда [2012, № 8], эссе Т. Пинчона [1996, № 3], Б. Сарло [2010, № 10], путевые очерки П. Теру [2007, № 12] и Л. Даррелла [2007, № 12], автобиографические заметки М. Спарк *Curriculum vitae* [2007, № 4], *Письма из путешествий* Р. Киплинга [2008, № 11], интервью П. Гринуэя [2014, № 5] и др.

Ирина Чернова
Студентка Литературного института имени А. М. Горького.

В *ИЛ* в ее переводе опубликовано стихотворение Оскара Уайльда *Requiescat* [2010, № 12].

Борис Владимирович Дубин
[1946—2014]. Литературовед, переводчик, культуролог, социолог. Лауреат премий *ИЛ* [1992], *ИЛлюминатор* [1994], имени Анатоля Леруа-Больё [1996], имени Мориса Ваксмахера [1998], премии Андрея Белого за гуманитарные исследования [2005], Международной премии имени Ефима Эткинда [2006], кавалер национального ордена Франции *За заслуги* [2009].

Автор книг *Слово — письмо — литература* [2001], *Интеллектуальные группы и символические формы* [2004], *На полях письма* [2005], *Классика после и рядом* [2010], *Порука* [2014], многих статей по социологии культуры. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Портрет в зеркалах* [1995, № 1, 12; 1996, № 8, 12; 1997, № 4, 9, 12; 2000, № 1; 2003, № 10; 2004, № 12]. В *ИЛ* в его переводе публиковались стихи Э. Ади [1997, № 12], П. Жимфере [2010, № 11], миниатюры Х. Л. Борхеса [2005, № 10], эссе Ч. Милоша [1992, № 8], Э. М. Чорана [1996, № 4], С. Сонтаг [1996, № 4], И. Бонфуа [1996, № 7], Ф. Лежёна [2000, № 4], Б. Сарло [2010, № 10], отрывки из записных книжек Ф. Жакоте [2002, № 9; 2005, № 12] и др.

Александр Израилевич Казачков
[р. 1954]. Переводчик с испанского.

В его переводах выходили произведения М. Пуига, Х. Л. Борхеса и А. Бьоя Касареса. В *ИЛ* в его переводе опубликованы романы М. Пуига *Крашеные губки* [2004, № 2] и *Падает тропическая ночь* [2010, № 10], книги А. Монтерросо *Черная Овца и другие басни* [2007, № 7], фрагментов книги Х. Бенета *Тринадцать басен с половиной и басня четырнадцатая* [2009, № 12], рассказы Г. Ньельсена *Марвин* [2010, № 10], О. Бустоса Домека [2013, № 4] и А. Ди Бенедетто [2014, № 9], а также *Из сборника сценариев и сюжетов "Мелодраматическая судьба"* М. Пуига [2013, № 4].

Ольга Альбертовна Светлакова
Переводчик с испанского, доцент кафедры истории зарубежных литератур Филологического факультета СПбГУ, кандидат филологических наук.

В ее переводах печатались произведения Р. Де Маэсту, Х. Кортасара, Ф. Кеведо, Х. Л. Борхеса. В *ИЛ* публикуется впервые.

Юрий Николаевич Гирин
[р. 1946]. Литературовед, переводчик с испанского. Доктор филологических наук.

Автор монографии *Поэзия Хосе Марти* [2002], книг *Поэтика сверхпредельности. К интерпретации художественных процессов латиноамериканской культуры* [2008] и *Картина мира эпохи авангарда. Авангард как системная целостность* [2013], статей по истории латиноамериканской литературы и теории культуры. Переводил Х. Х. Ареолу, В. Уйдобро. В его переводе вышла книга Л. Сеа *Философия американской истории* [1984]. В *ИЛ* в его переводе напечатаны стихи в книге Пабло Неруды *Дом на песке* [2004, № 10], *Инвекции* Х. Х. Арреолы [2005, № 12] и рассказы М. А. Кироа [2006, № 7].

“ИЛ” *в 2015 году*

“Сценарий по Прусту” английского драматурга, режиссера, актера, лауреата Нобелевской премии ГАРОЛЬДА ПИНТЕРА написан по мотивам эпопеи Марселя Пруста “В поисках утраченного времени”. Этот сценарий, бережно сохраняющий стиль, замысел, образную систему французского классика, в то же время представляет собой самостоятельный художественный текст.

В 2015 году гостем “Иностранной литературы” впервые будет знаменитый американский еженедельный журнал **“Нью-Йоркер”**. В специальном номере мы предполагаем напечатать рассказы, стихи, документальную прозу, критику и публицистику “Нью-Йоркера” последних лет.

ВИКТОР КЛЕМПЕРЕР **“Из дневников 1946—1959”**. Читатель впервые познакомится с дневниками известного немецкого филолога, историка культуры и лингвиста КЛЕМПЕРЕРА, автора нашумевшей в России и в мире книги **“Язык Третьего рейха”**. Во фрагментах **“Из дневников 1946—1959”**, озаглавленных **“Между двумя стульями”**, описывается жизнь в ГДР со всеми печальными и забавными парадоксами страны, вступившей на тернистый путь строительства развитого социалистического общества.

В рубрике “Переперевод” читатель познакомится с новым переводом — и трактовкой — отрывка из поэмы **“Четыре квартета”**, наиболее значительного произведения крупнейшего англо-американского поэта-модерниста XX века ТОМАСА СТЕРНЗА ЭЛИОТА.

Номер, посвященный литературе Португалии, открывается дебютным романом известного португальского писателя АНТОНИУ ЛОБУ АНТУНЕША **“Слоновья память”**. Эта автобиографичная проза — художественный протокол тройной травмы. Ее боль и тоску пытается преодолеть силой воспоминаний главный герой, врач-психиатр, вернувшийся с колониальной бойни в Анголе, расставшийся с любимой женой и вынужденный приспосабливаться к несвободе и лжи обыденной жизни при диктатуре.

В том же номере публикуются фрагменты самого значительного, существующего уже на многих языках сочинения ФЕРНАНДО ПЕССОА, романа-эссе “Книга неуспокоенности”, которые сопровождаются сонетами поэта из цикла **“Крестный путь”**

ХАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР, МАРТИН ВАЛЬЗЕР, ПЕТЕР СЛОТЕРДАЙК, ХАНС-УЛЬРИХ ТРАЙХЕЛЬ и другие интеллектуалы — в Литературном гиде **“Немецкая эссеистика сегодня”**. Вот некоторые темы их эссе: “обитатели европейского континента и их брюссельские опекуны”, “массовое производство идиотизма”, “радости и горести бездетности”, “неистребимая живучесть поэзии” и “есть ли запасной выход у космического корабля Земля?”

“Письма к дочери” МАДАМ ДЕ СЕВИНЬЕ представлют собой образец блестящего стиля, искрометных парадоксов и тонких наблюде-

ний, касающихся различных сторон жизни Франции середины XVII столетия времен Людовика Солнце. Не случайно эпистолярное наследие МАДАМ ДЕ СЕВИНЬЕ считается вершиной французского барокко и классицизма, а сама МАДАМ ДЕ СЕВИНЬЕ – признанным классиком французской литературы.

В романе классика австрийской литературы XX века ЙОЗЕФА РОТА **"Исповедь одного убийцы"** завсегдатай русского ресторана в Париже рассказывает, как он стал убийцей. Впрочем, имя героя – Семен Семенович Голубчик – не очень вяжется с образом заправского злодея, да и само убийство оказывается ненастоящим.

Роман гватемальского писателя ЛУИСА ДЕ ЛИОНА **"Время начинается в Шибальба"** воссоздает жизнь индейского селения, где повседневность пронизана древней символикой, а мир людей не отделен от подземного царства мстительных богов. Опубликованный посмертно и ставший памятником новейшей латиноамериканской словесности, роман писателя, бессудно казненного в ходе гражданской войны, заставляет вспомнить новаторскую лирику Сесара Вальехо и мифопоэтическую прозу Хуана Рульфо.

"Рассеяние и собирание" – так называется номер, посвященный современной литературе Литвы. Современные литовские писатели размышляют о судьбе Литвы в советские и постсоветские годы, о связях и противостояниях Литвы с Россией и Польшей; читатель сможет познакомиться с уже завоевавшим мировую славу драматургом МАРЮСОМ ИВАШКЯВИЧЮСОМ, чьи пьесы с большим успехом идут и на московской сцене, с литовскими новеллистами, эссеистами и поэтами, а также с мемуарами "живого классика" ТОМАСА ВЕНЦЛОВЫ.

В рубрике "Статьи, эссе" – интервью нашего постоянного автора, писателя АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА, посвященное его размышлениям о болезнях современного мира; статья поэта, художника и историка искусства СЕРГЕЯ СЛЕПУХИНА о стилистической перекличке между Бруно Шульцем-художником и Бруно Шульцем-писателем; статья ТИМА ПАРКСА о Диккенсе: о том, каким отцом был писатель, прославившийся как певец домашнего очага и семейного счастья.

Подборка эротико-поэтических миниатюр из сборника современного бельгийского писателя ЖАН-ПЬЕРА ОТТА **"Любовь в саду"**, в которых поэт неизменно берет верх над энтомологом.

В оформлении обложки использован фрагмент картины кубинского художника Хорхе Луиса Санфиеля Карденаса [р. 1963] *Лодки* [1996].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая");
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске "Экспресс-хроника" (Страстной бульвар, д. 4);
в киоске "Лингвистика" (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в Санкт-Петербурге:
в книжном магазине "Все свободны" (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в Пензе:
в книжном магазине "В переплете" (ул. Московская, д.12),

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г.
ГК РФ по печати

Подписано в печать
15.12.2014
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 7787.
Тираж 3100 экз.

Отпечатано в ОАО "Можайский полиграфический комбинат".
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru, www.oaompk.рф
Тел.: (495) 745-84-28; (49638) 20-685.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

[2] 2015

“СЦЕНАРИЙ ПО ПРУСТУ. À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU” ГАРОЛЬДА ПИНТЕРА / СТИХИ ШЕЙМАСА ХИНИ / “ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ”: “КОЕ-ЧТО ИЗ НАПИСАННОГО” ЭММАНУЭЛЕ ТРЕВИ / “В УСТЬЕ ГУДЗОНА С АЛЕКСЕЕМ ЦВЕТКОВЫМ”

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 41

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2015, №1,1–288

ISSN 0130-6545 15001 9 770130 654770